



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

11-12 (441)

2012

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Аркадий Штыпель. «Триптих хореический» и др. стихи	3
Геннадий Каневский. «[говорят июнь]» и др. стихи	9
Наталия Черных. «Девочка» и др. стихи	15
Владимир Шапко. Графомания как болезнь моего серого вещества. Повесть	21
Дмитрий Филиппов. Билет в Катманду. Повесть	43
Сергей Дигол. Старость шакала. Повесть	78
Света Литвак. «тело тьмы» и др. стихи	126
Константин Комаров. «Однажды мы проснемся утром...» и др. стихи	130
Сергей Рыженков. Дворовые игры + (Записки о том, что было самым важным, и оттого, что безвозвратно ушло, важности не потеряло)	134
Алексей Александров. «О привет, – говорит в зазеркалье своем...» и др. стихи	173

ДРАМАТУРГИЯ

Марина Палей. Вольтижировка. Триптих.....	176
--	-----

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Вера Френкель. Стихотворения из сборника «Дожди. Книга городских пейзажей (1958 – 1961)». Подготовка текста и публикация Владимира Орлова.....	202
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Игорь Бондарь-Терещенко. А я люблю женатого. О неонowo-неновом реализме Николая Кононова.....	208
Сергей Трунев. Самодостаточность движения жизни.....	210
Олег Рогов. Кино, которое может изменить жизнь. Вашу?.....	211
Андрей Пермяков. Музыка на воде.....	213
Игорь Дуардович. Всегда женщина.....	216

КИНООБОЗРЕНИЕ

Два фильма, снятых на свои деньги: Иван Козлов. Бедный, бедный Коппола...;	
Андрей Пермяков. Цвет неба, цвет травы.....	219

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРОВ ЗА 2012 ГОД

Аркадий ШТЫПЕЛЬ

Триптих хореический

1.
черный ворон черный вран
вот звезда альдебаран
вот идут шагая в ногу
пролетарии всех стран
а куда зачем откуда
знают иней да туман

только иней да туман
да сыромятный барабан
да деревянный скрип обоза
где заноза и угроза
в царском имени иван

а имена идут как снег
а снег идет как богдыхан
за ним роятся вперевал
стаи белых обезьян
снег кружится безымян
упадает бездыхан
на дорогу и ночлег
на солому да на дым
на юдому да надым

да встречу ветра выгребает
черный ворон
черный вран

2.
залпом утренней зари
расточатся упыри
утопает атлантида
серебрятся пузыри

Аркадий Штыпель родился в 1944 году в городе Каттакургане Самаркандской области. Детство и юность провел в Днепропетровске. В 1965 году был исключен с 5-го курса Днепропетровского университета за попытку выпуска самиздатского литературного журнала. После службы в армии закончил университет по специальности «теоретическая физика». С 1968 г. живет в Москве. Поэт, переводчик с английского (сонеты Шекспира, Дилан Томас) и украинского языков, автор критических обзоров, неоднократный победитель турниров поэтического слэма. Публикации в журналах «Арион», «Воздух», «Новый мир» и др. Автор книг «В гостях у Евклида» (2002), «Стихи для голоса» (2007), «Вот слова» (2011).

занимаются пожары
сопли подбери
копеечку подбери

вот и ёкалэмэнэ
вот и шелково кашне
фиолетовые тени
на эмалевой стене
при лазеревой луне

утопает атлантида
просто ёкалэмэнэ

черный ворон черный фрак
черный стэк у черных краг
страшно ночью без нагана
задувай огонь дурак

на ветру хлопочет флаг
утопает атлантида
весь в черемухе овраг

3.
уходящая натура
чешский стол из гарнитура
на нем потертый плюш
жили-были
трали-вали
что стряслось у тети вали
у ней очки пропали
умер муж
объелся груш
все все поумирали

прытче прыскай райский душ
на павлины майских луж
на цветники
окрестных душ

и покойник по дороге
руки-ноги руки-ноги
дождь искрится в бороде
он повсюду и нигде

в неведомых краях
пионерских лагерях
пухлогубых кареглазых
с ямочками на щеках

трали-вали тили-тили
тетю валю сократили
обманули
обнулили

проявитель проявил
закрепитель закрепил
льется льется красный свет
встают тени из кювет

шорох радиопомех
тихий говор звонкий смех

осенний ветер
листву сдувает

солнце светит

сухарь ученый
в окруженье
шкафов и полок

или вот грибник в лесу
в сапогах резиновых
с ивовой корзиной

дождик сеет

или грудничок в коляске
смыслит ли уже чего
это все такие маски
сами знаете чего

Нескладухи

шли-шли
дошли
дошагали-дотопали
доплелись усталые
можно отдохнуть
-

стежками пришили
кой-как приметали
снежком припорошили
вроде незаметно

-
бомжуй бомжуй боженька
бомжуй серенький
покушай пошамкай
менты не тронут

-
тучки-нахлобучки
дождики-сапожники
в окнах света нет
все спать полегли

-
золотые часики
тараканьи усики
тикают-пиликают
прямо как живые

-
засиделись дотемна
позабыли и-ме-на
кошка мышку караулит
выйдем погуляем

-
тут и месяц
с ветки свесясь
после дождичка в четверг
сверк
сверк

прошвырнемся по спуску
точно перипатетики
и разложим закуску
прямо на парапетике

чудо летнего полдня
доступно уж и ежу
а про то что я помню
я вам все равно не скажу

Апрельский блюз

ап!
быстросохнувший пахнувший свежей землей и масляной краской
ап-
рель
почвенная прель
облачная гжель

трель-дрель –
бег железных трам-
ваев
по бесконечным проспектам железных
ге-
роев

по утрам вечерам
бег жизненных драм
голоногих голограмм
архаичных телеграмм

искры рассыпая
от рождества до первая

и весь этот джаз
золотой джазбанд
этот розовый бант
– станцуем?
– щас

довез
трамвай
ушел
пустой
давай
зевай
над водой
золотой

от рождества до первая

маленькую поэтессу
ждет смерть
как любого из нас
как какую-нибудь
мэри стюарт

потому что все моря
все звезды
все механизмы
работают на износ

и весь этот джаз
весь этот золотой джазбанд
и эта труба и этот сакс
и этот розовый бант
работают на износ

оплывает
тает выгорает
свечная восковая голова
новогоднего ангела

от рождества до первая

вот не осталось никого
кроме ветра одного

и стилем брасс
в вечерний час
на кривой не объехать звезде
не ушлепать босиком по воде

– станцую?
– щас

от рождества до первая

потому что
ап!
весь этот джаз
золотой залетный запинаящийся джазбанд
тромбон барабан труба обезумевший сакс
этот розовый газовый бант
все механизмы все звезды все моря
все пацаны
все девчонки
все сердца
все печенки
работают работают работают
работают
на износ

Геннадий КАНЕВСКИЙ

[говорят июнь]

*

говорят июнь

открываешь втекает
белое молоко

затворяешь скисает

ставишь в печь
говорит языками
ангелов и людей

а на третий день

*

говорят июнь

пух последних звонков

розоватых последних
времен

по вечерам

ну а утром
по диску солнца
проходит венера

всё проходит
и проходит
третий день
как в последний раз
в этой жизни

в следующей
она останется
в центре

Геннадий Каневский родился в 1965 году. Окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, работает редактором корпоративного журнала по электронике. Автор книг «Провинциальная латынь» (2001), «Мир по Брайлю» (2004), «Как если бы» (2006), «Небо для летчиков» (2008), «Поражение Марса» (2012). Лауреат Петербургского конкурса им. Гумилева (2005), победитель Московского Большого слэма (2007, в паре с Анной Русс).

в церкви

в маске

как тогда

*

говорят июнь

листригоны греческих бухт

лисистраты греческих яхт
не дают
пока не отдашь им яд

хранимый
на чёрный день

если ж нет
интернет
знает триста рецептов

как сделать
яд

*

говорят июнь

недолёт

пересвет

говорят

[***]

володе беляеву

отведи её в сторону – зрению мешает.
небогатый, но всё-таки вид.

в старом парке у нас есть страна небольшая.
и она говорит.
не воюя, не рея
на ветру, не кичась синевой, белизной.
и сигналы – неточное время –
да пребудут со мной.
там чубушник и жимолость, горы покаты,

невысоки дома муравьёв.
кулебяки её – дериваты её, предикаты,
смыслы в девять слоёв.
полустанки забыты.
полу-танки рокочут в траве.

нет, не в лондоне.

нет, не в москве.

[***]

летний день с грозой и с норовом.
летний вечер будет скоро вам,
зыбкий и нестойкий.
кипяток на дне фарфоровом –
радость землеройки,

что якшается с подонками,
и свои чулочки тонкие
подшивает леской,
и целуется под окнами
на площадке детской.

[***]

кате симоновой

это была фольклорная экспедиция
для пополнения словарной базы

просыпались с первыми птицами

засыпали с первого раза

медленно проводя по коже
концом травинки
распадались на две половинки
боже

записывали какие-то
матерные срамные
в графе «источник» указывали
«местные пацаны»
и

писали стихи
как пишут в истерике

в америке
в пубертате

на тот берег
за самогоном плавали к бабе кате

с леной и двумя ирами
всю ночь трепались возле колодца

не называй свою смерть по имени

вдруг она отзовётся

[все утра мира-2]

1.
свет утренний на потолке хлопочет
как будто за окном сидит наводчик
и водит беспокойным окуляром
по суматохе запятых и точек

мне кажется его зовут колянном

друзья его поклонники халявы
подруги его нежные оторвы

зэ энд оф таймз я говорю товарищ
слезай ты ничего тут не нашаришь
не передашь мои координаты

твои друзья по-прежнему упёрты
твои подруги глупые – пернаты
и ты от босса не получишь бонус
засёкши мои пыльные пенаты

но он блестеть и хлопать продолжает
не внемля этим полусонным пеням

и день уже восходит по ступеням

и ночь уже почти не возражает

2.
дни
на глазах обрастают ветром

ночью
мимо дома
носят флаги твоих бессонниц

подготавливаясь к параду

зависть к валериане
к овцам
которых ты недосчитался

это молодость

это нервы

станешь старым
сядешь в кресла
засыпая над каждой книгой
над каждым фильмом

говорят что в тифлисе
утром
до сих пор точильщик
искрами прогоняет
торговку мацони

говорят что в жироне
танцуют вальсы
на мосту через речку оньяр

почему-то вспомнил

это старость

засну-ка над этим текстом
в кресле
чтобы перед тобой
оправдаться

З.
в складках старого
лоскутного одеяла
ты очки свои потеряла

а по-старому – окуляры

в створках раковины
брезжит утро

и на столике пол-бокала
то вчерашнее из пакета

это лето

ночь пришла и оно дышало

день пришёл и его не стало
исчерпалось
выбрало квоту
я опаздывал на работу
я любил тебя мало
мало

[юг]

«загляни на рынок.
достали консервы».

что ж, ты готов на крюк.
невозможно найти удалённый сервер.
то есть север.
тут всюду – юг.
то есть, куда ни сунься – вот он.
плачь, бледнолицее существо.
юг этой жизни похож на воду.
воду для никого.

эй, опреснок, отрицатель соли,
всем, кто с земли, помаша «пока».
кинь в кофейные их настои
зубчик чеснока.
загляни в опреснительную установку,
может, осталось ещё на дне
на твою конечную остановку –

чашечку.
или две.

[дождь]

а. сен-сенькову

прятки

и вода́ –
вода

ищет
тебя сверху

капли –
лишь на твой
зонтик

беги

ты найден

Наталия ЧЕРНЫХ

Девочка

(Галине Николаевне)

Ведь я появилась быльём из земли,
нет у меня роду-племени, я лишь трава Подмосковья.
Я божья коровка, зимою светёлка коровья,
почти что никто, окоёмный песчанник у леса,
опушка задворок, куриная память.

.....
Я Божия память – я помню все лица на свете,
а девочке мелкой я сахару дам и конвертик,
чтобы не поглотила её окаянная новая замать.

.....
Мы все на морозе. Во вьюге. В пурге.

.....
У девочки был и тулупчик, и валенки даже.
Она воровала томаты, что грелись на печке и в саже,
все сливки съедала на зорькином молоке.
Не боль от побоев родных – неуклюжесть вороны,
какая-то гордость, на мыло, а прелесть жестка –
несётся она, лебеда с полугорстью песка,
топтать огродцы да веточек скушать зелёных.
И знала ль тогда та ворона, что есть сумасшедшая мать,
бредовое око, чумная кликуша владимирская,
что в мире подсолнечном её никому не догнать,
никому не любить, ни одной душе в мире не вынести –
не знала, мой Боже. Девчонку-ворону прости,
безумную, дикую, будто на стельке иголка.
Смердит её память и греет, подстилка на козьей шерсти,
но Ты её любишь, Ты будешь ей платьем из шёлка.

Наталия Черных родилась в 1969 году в Челябинске-65, ныне Озерск. Училась во Львове и в Москве. С 1987 года живет в Москве. В 2001 году – победитель Филаретовского конкурса религиозной поэзии. Куратор поэтического интернет-проекта «На середине мира». Автор девяти поэтических сборников. Публикации в журналах «НЛО», «Новый мир», «Сююз Писателей», «Знамя» и др. В «Волге» публикуется с 2009 года (стихи, проза, критика).

На Диком Западе

*(о котором я ничего не знаю
и где я никогда не буду)
поэма*

1.

Папа, я убила твой хлеб:
белую пресную плоскую булку.

...

Белый мальчик бежал по белому переулку.
Я люблю наш город и его остроскулые лица.

У неё индейские косы,
а ты белая девочка,
и у тебя индейские косы.

Никого здесь.
Запах пороха тяжёлый, кудлатый.

2.

Что же, стреляй в мужчин, стреляй в женщин,
население того, другого, беспечного света!
Жест приклада низвергнет тебя в кафе,

где четырнадцатилетний мальчик приносит кофе,
а на восемнадцатилетних девушек никто уже и не смотрит.
За кофе можно не заплатить,
а вот мальчику после ты плати доллар.

Впрочем, это если бы ты была сыном фермера.

Что же, стреляй и мсти за отца и мать,
убитых при перегоне скота в долине у Аппалачей,
иди по битым лампочкам, как твой белобрысый приятель,
дыши огнём (хотя здесь ещё хватает на кондиционеры),
да что я тебя учу.

Прокусив губу, сделала первый выстрел.
Упала навзничь, потому что приклад огромный.
Затем привыкла, и стала стрелять как дядя
по банкам от пива, и во всех по пять дырок,
ты не промахнёшься.

3.

Рухнула в музыку: ходят злые гитары,
длинноволосые, как индейцы, ходят ублюдки,

носят шприцы в подкладках, травкой дымят,
да когда это было. Теперь нет их – остались книги,
да аллилуйя, да глори, глори.

В этом мареве сонном,
полном столиков и напитков,
ленивых людей, плотных, потных, чуть сыроватых,
полном ссор, подозрений и сплетен –
что твоя – бисером шита – ярость.

Как ты смешна, маленькая сестрёнка;
не целуй его, он Элвис Пресли,
он скажет тебе, соблюдая постылую честность:
я сплю с твоей старшей.
Даже если её и нету, он скажет:
я иду к твоей старшей,
в офис, стихи послушать,
послушать Умку, Арефьеву Ольгу
или кого там, Псою Короленко.

А тебе – навоз и счета, переезды, глори,
аллилуйя, тяжёлые ноги, тяжёлый возраст,
и много что ещё. Всё то не важно:
ты стреляешь лучше всех в городе.

4.
Только сказка, что тебя помнит пьяница-маршал,
да рэнджер-красавчик, чувак понтовый,
да твои золотые индейские косы,
да чёрный мустанг, да ружьё отцово.

Папа, я твой хлеб погубила,
папа, я за тебя отомстила,
сожгла нашу сою, отпустила наших мустангов,
побраталась с негром, позвала индейца,
наплевала во все их новые драммашины,
на все их сибиджиби гитары,
да сатану так и не застрелила.

Левый край неба в хмарах. Надо мною ясно.
Так ясно, как на земле не бывает.
Но индейский зверь роет ход в одеяле:
будет дождь, будут ветер и холод.

А папа мой в Висконсине жив и весел.
У него семья, у него жилище.
У него дом, у него пища,
да всё это недорого стоит.

Виноград и клубника – дороже.
Плати, не скупись: всё равно обсчитают!
Никого рядом? Большое дело!
Вот земля моя, вот ружьё и пули.

Баллада

...а ты лучше всех, каков бы ни был –
теряю тебя человеком,
и пусть...

...ты как бог...

теряю тебя человеком – и не потеряю
никогда...

Сэр Бродерик Хаммерсворт, Бродерик Хаммерсворт –
как вам – в дожде на ночной дороге...

...у дома вашего друга Лэнса Хуллигэна...

...а вы пели в церковном хоре
белокурыми школьниками.

И Гвени Донхестер пела,
и Лиддли Донован пел...

как много стрелок и граффити,
как много стрелок и граффити,
железнодорожных стрелок...

...я ждала тебя – как я ждала тебя...
...что – и как свет – во мне расслоилась...

Мисс Кони Джейн Хэзлвит,
песни – обычное дело,
удивляться – обычное дело.

Давайте – о рыбе и о картошке,
давайте – о чае и свежей газете...

...

Кто сказал тебе, что это есть то, а то, к сожалению, это?
Неправда. Не слушай – но я лишь хочу, чтобы ты сам,
не превращаясь в наш сельский забор...

...Кони, если ты что-то не любишь из моего,
ты не любишь меня...

Да, но если я не люблю – то не любишь и ты...

...я писала бы письма тебе, когда нет тебя...
и не будет...

...
Он всё же доехал и остался на удивление жив.
Но крышу несчастную рвёт вдруг проснувшийся ветер,
рвёт крышу из рук
утомлённого разума.

– Кони, ах, Кони, какое несчастье,
что Леди Шалот вечно молода и прекрасна,
а мы с тобой слишком податливы снегу и жару.

Ей изменил Ланселот, как и нам изменили
(что? старая добрая Англия? родина?
мне твоя родинка не изменит)

...

...мне не изменит твой голос, когда говорит моё имя...

Сэр Бродерик, подавайте на стол всё, что есть.
Портвейн сохранился от девяностых,
картошка и нынешняя хороша.

Так мило и грустно,
как мило и грустно...

...Кони, не бойся людей... Пой...
Да где теперь Лэнси... Несчастное имя...
Где Гвенни и Лиддли...

Ты славно поёшь. Я не знал, что ты славно поёшь.

Две встречи и неудавшееся самубийство

Десять рублей на такси – а его уже выписали.
Везла гранатовый сок и сыр, большой кусок; а его выписали.
Медбрат (возможно, испуганное лицо было трогательным)
резко так отвечал: дали под зад пинка
и выписали... к бабушке.

Мы смотрели чёрно-белый фильм, и я надеялась.
Фильм «Франкенштейн», и я надеялась.
А потом – потом... Что за возраст – восемнадцать лет,
что за возраст – девятнадцать лет.
Говорят – потом сел, говорят – погиб.

Я привезла книги, сок и сыр – передала лично.
Удивлялась, как неустойчиво сердце – и моё тоже.
Будто он старик, и я выношу за ним судно,
и вся жизнь – неудавшееся самоубийство.
Даже подругой не была. Так, просто.

...

Много лет спустя его мне вернули. Уже другого.
Немного заботился обо мне, хотел бабу – конечно, другую.
Те же глаза полукровки, та же неразбериха.
В самую жару сидели в японском кафе торгового центра.
Город вымер, осталось двое. Остались мы,

да его длинная совесть...

как же она на меня похожа.

ГРАФОМАНИЯ КАК БОЛЕЗНЬ МОЕГО СЕРОГО ВЕЩЕСТВА

Повесть

I.

С начала сентября зарядили дожди, дорогу на Хлобыстино размывло, перестал ходить даже рейсовый, и Колпакову Федору Петровичу, директору заготконторы в райпотребсоюзе, пришлось отправить туда своего бухгалтера Недобегу Роберта Ивановича гужевым. Отправить с коновозчиком Аксеновым. С Михеичем. Для проверки тамошнего промыслового склада.

Выехали спозаранку, думали, развиднеет, но опять шел дождь, и над головой двигалось чугунное небо.

По грейдеру самой станции «Таёжная» тарабанькались с ветерком, лошаденка бежала споро. И по мостку через Калинку простучали бойко, оставив за собой чернильные пучки кленов по берегам ее. Но за станцией почти сразу дорога стала расплюйной, с колеями от телег похожей на разодранный кабель. Телега с ездоками ахала в обширные лывы, и бедная лошаденка начинала трепетать над грязью как пожар, как факел. Мотаясь на телеге позади Михеича, Роберт Иванович достал из-под плаща большой блокнот. На блокноте было написано – «Нужные Слова, а также Нужные Предложения». Несмотря на дождь, распустил блокнот как гармонь. Написал: *Дорога. Грязь. Телега моя раскачивается как по штормовой палубе. Эх, Россия моя, Россия! Куда путь держишь? Куда скачешь? Знать, у лихого татарина...* Телега вдруг глубоко провалилась в яму. Лошадь еле вытянула ее на бугорок. Больше Роберт Иванович не писал. Прикрыв мокрый блокнот полкой, только нахохливался под сеющим дождем. Однако подпрыгивая уже с горы к Хлобыстино, все же изловчился записать: *Ветер дул. Тополиные кусты в Хлобыстино митинговали.* Какая точная картина получилась! Честное слово!

– Роберт Иванович, не трясет? – пряча смех, оборачивался Михеич. – Может, придержать чуток? Эко она разошлась! – кивал на попёрдывающую лошаденку.

– Ничего, Михеич, терпимо, – трясся с блокнотом в руках Роберт Иванович.

Михеич от смеха уже падал вперед. Трещины на шее его меняли цвет. Как на высохшей луже становились белыми.

Бригадир заготовителей Кононов вел приехавшего начальника к складу. Предупредительный, загнувшись трубиной, даже туловом своим как бы указывал ему сухой безопасный путь. Однако Роберт Иванович был в болотных сапогах, шагал смело. Заводя начальника на крыльцо, Кононов шутнул курицу. «Пожалуйте, Роберт Иванович». За раскрытой дверью в склад черно зияла пустота. Но и тут Роберт Иванович смело шагнул внутрь.

К вечеру, после ревизии и обеда в доме у Кононова, прощались возле телеги с лошадьёю и покачивающимся Михеичем. На Роберте Ивановиче висел длинный рюкзак, набитый кедровыми шишками, в руках он держал портфель и берестяной туес с августовским медом.

– Может, останетесь, Роберт Иванович? – совсем загнул над начальником Кононов. – Куда же на ночь-то вам?..

Владимир Шапко родился в 1938 году. Окончил Уфимское музыкальное училище. Печатался в журналах «Уральский следопыт», «Урал», «День и Ночь», альманахе «Енисей». С 1997 года – постоянный автор журнала «Волга» (последняя публикация – повесть «Бич», №1-2, 2011). Живет и работает в Усть-Каменогорске.

- Нет, товарищ Кононов, пора. Доедем.
- Ы-ыхх! – смахнул слезу бригадир Кононов.

За хлобыстинской горой, уже в лесу, лошаденка еле тащилась. Пьяный Михеич что-то бубнил ей, вроде как понукал. Роберт Иванович лежал и мечтательно смотрел на плывущее темное небо с ежиками звезд. Описать бы сейчас эту картину ночи. Но жалко, что нельзя, в блокноте ничего не видно.

Въезжали на станцию уже в одиннадцатом. В Калининке журчала луна.

2.

Роберт Иванович Недобега считал, что романы и повести нужно писать с утра только натошак. Поэтому к столу садился прямо в майке и трусах, предварительно быстренько сбежав на двор.

Прежде чем приступить подаренным Ниной Ивановной золотым пером, Роберт Иванович оглядывал всё свое хозяйство на столе: всё ли на месте? Писчая бумага стопкой справа, вчерашний черновик и еще наброски – это слева. Перед ним, прямо в лоб – чистейший лист бумаги. Итак, приступим. Роберт Иванович начинал убористо, не торопясь, писать. Иногда прерывался. С любовью, как первоклаш, оглядывал работу. Снова приклонялся и старательно выводил – худые лопатки его слегка двигались в великой майке. Как у ангела. Коротко стриженная лысеющая голова как будто светилась. Так светится утренняя золотистая пашня.

Роберт Иванович писал: «*Фамилия?!*» – «*Мочилов*». – «*Ка-ак?!*» – «*Мочилов*», – *скромно потупился новобранец*. Роберт Иванович отстранился от написанного: хорошо, ёмко, и даже несколько с юмором. Так и надо всегда изображать.

В обед, похлебав вчерашних щей, вымыл тарелку и вернулся в комнату. Стал прогуливаться по ней. Было воскресенье, на работу не надо. Не мешал думать тихо работающий телевизор. Человек с Курильской грядой на лбу опять рулил за широким столом Съездом. Роберт Иванович остановился. Какое-то время смотрел. Бросился к столу, записал: *Мотивно говорит товарищ Горбачев! Хочется точно так же пропеть. Этак закурдывать*. Снова продолжил ходьбу.

Потом в телевизоре густой чередой бежали кем-то напуганные слоны. С развесистыми ушами – как быстро движущийся нескончаемый папоротник. Роберт Иванович опять остановился. Кинулся к столу: *Все слоны бежали. С яростными бивнями и хвостами! Здорово! Отличная картинка Африки! В романе может пригодиться*.

Закончил писать часов в девять вечера. Хватит, пожалуй, на сегодня. Широко зевнул, потянулся. Нужно беречь моё серое вещество. Да, беречь. Аккуратно прибрал все для утра. Для завтрашней работы.

Спал очень тихо, на боку. Настенные часы спокойно вышагивали над диваном. Раза два только за ночь глохли и тряслись от пролетающих сумасшедших товарняков.

3.

Летними тихими утрами солнечные большие пятна медленно переходили через широкую улицу Вокзальную от одного приземистого дома к другому. Утренние свежие облака словно приплыли из Средней Азии – висели корзинами с хлопком-сырцом.

Из своей калитки появился Недобега Роберт Иванович в рыжих штанах, схваченных у щиколоток резинками. Заглянув в почтовый ящик, закладывал вертушок на калитке и, повихливая плоскостопными ногами как горжетками, спешил в сторону Профсоюзной на работу.

С Робертом Ивановичем поздоровалась какая-то встречная усталая женщина с двумя хозяйственными сумками. Недобега застылся. Выхватил блокнот. И в единый дух написал: *Мимо меня прошла сейчас зрелая прекрасная девушка с двумя хорошими, надо сказать, дунями*.

– Здравствуйте, Роберт Иванович! – на этот раз Влазнев. Из Сельхозтехники. Улыбается. Прямо напугал. – Что это вы такой красный?

– Да так. Солнце.

Сложил блокнот, завихлял ногами дальше.

Гуляшова и Кадкина красили новый штaketник перед конторой Сельхозтехники. Увидели Недобегу, не сговариваясь, сразу запели частушку, приплясывая:

*Все тетери улетели, уточки закричали,
Мы с миленьком расставались – только счета брякали!*

Снова махали кистями. Смеялись.

Вот чертовки! Это потому, наверное, что я бухгалтер.

На фоне женских стонов и визгов со второго этажа барака – хахаль был молчалив. И, по-видимому, упорен.

Роберт Иванович опять остановился и записал: *И это – середь бела дня! О-о-о-о!*

Наконец поднялся на крыльцо потребсоюза, где находилась в двух комнатках и заготконтора.

4.

Когда входил в бухгалтерию Колпаков Федор Петрович, директор, вторая бухгалтерша заготконторы Золотова вылезала из-за стола поспешно и боком. Точно исполняла боковой танец слонихи в цирке. Имя носила соответствующее. Размером с усадьбу – Дарья. Однако, знакомясь, всегда называла себя Дашей. Я – Даша. Вроде как только печка из этой усадьбы...

– Здравствуйте, Дарья Сергеевна! – Роберт Иванович уже садился за свой стол.

Дарья пробурчала что-то.

Роберт Иванович улыбался. Недолюбливает. И всё из-за Нины Ивановны. Подруги своей. Да.

– Дарья Сергеевна, пожалуйста, квартальный отчет по грибам и шишке.

Золотова сидела в бумагах своих точно по груди в компосте, тем не менее мгновенно выхватила нужную папку и швырнула начальнику.

Недолюбливает, да, это точно – развязывал тесемки Роберт Иванович. У него на столе, как и дома, полный порядок, только необходимое. Начал читать. Сыграл на калькуляторе. Снова углубился в отчет.

Дальше в тесной комнатке только тихо возились, поскрипывали стульями мужчина и женщина.

Иногда Золотова вылезала из-за стола и печатала на машинке. За другим столом. У окна. Гро-моздкая электрическая «Оптимa» начинала работать как громогласный машинган.

Роберт Иванович осуждающе смотрел. У него дома прекрасная «Эрика». Прекрасный механизм.

В обед Золотова шла через дорогу. В библиотеку. От долгого сидения на стуле открытые полные ноги ее словно были поражены древоточцем.

В тесном помещении со стеллажами и без читателей сорокалетняя Золотова смотрела на свою сорокалетнюю подругу. Тяжело дышала. Рыжие цехины на ее груди были как *всё моё богатство*.

– Долго ты еще будешь с ним валандаться? А? Ведь два года уже прошло?..

Нина Ивановна Переверзева металась вдоль библиотечной стойки, нервно перекидывала библиотечные карточки, на подругу старалась не смотреть.

Дарья усаживалась на стул и укоризненно качала крашенным петухом на голове:

– А ты ему ручку с золотым пером даришь. А? Видела бы, как он готовится ею, прежде чем писать. Кругами, кругами водит. И еще говорит мне, главное, сейчас: «Передайте, пожалуйста, привет Нине Ивановне». А? Подлец...

– Замолчи! – не выдерживала Нина Ивановна. Венка на ее лобике разом наливалась кровью. – Замолчи сейчас же!

Дарья молча поднималась, шла, бабахала дверью. Нина Ивановна падала на стул. Белая квадратная оборка на ее груди дрожала. Походила на изрубленную капусту.

– Как там Нина Ивановна? – интересовался Роберт Иванович у Дарьи Сергеевны, перестав писать золотым пером. – Здорова ли?

Золотова не находила слов, искала их на потолке. Как землетрясение, лезла за стол.

5.

В прошлом году, тоже летом, Нина Ивановна подарила Роберту Ивановичу авторучку с золотым пером, купленную ею в Новосибирске, куда она ездила в отпуск к матери и отцу. Подарила на сорокалетие Роберта Ивановича, которое не без помпы отмечалось прямо на работе всем потребсоюзом. Профком дал денег, сам Роберт Иванович добавил, и стол женщины накрыли в коридоре на втором этаже.

Пригласили также некоторых товарищей из райкома и милиции. Всего шумело за столом человек двадцать пять. Попала на торжество и Нина Ивановна. Как образцовый на станции «Таёжной» библиотечный работник, ну и как (отмечающие юбилей перемигивались за столом) невеста (вроде бы) Роберта Ивановича.

Почти все вскакивали с бокалами и славословили юбиляра. Говорили, какой он прекрасный работник. Как скромен он в быту. Колпаков, его начальник, даже прослезился. Крепко обнял вскочившего невысокого юбиляра, оплеснув его вином. Его белую нейлоновую рубашку.

Когда пришла, чуть опоздав, Нина Ивановна – все встретили ее животным каким-то ревом. Однако Роберт Иванович не повернул даже голову, сидел мечтательный, задумчивый. И Нина Ивановна прошла в самый конец стола и там присела. Решительная Золотова начала было тащить ее назад, чтобы втиснуть рядом с Недобегой, но Нина Ивановна сумела отбиться. Тоже сидела скромно потупившись, почти ничего не пила, не ела. Однако когда изредка поворачивались к ней всё те же разом веселеющие лица – краснела. И жилка на ее лобике набухала.

Расходились уже в темноте. Запели инвалидными давящимися голосами:

Вот кто-то с гоорычки-и спустился-а...

Колпаков пел отдельно. Ревуче. Соревновался с гудком на станции. Золотова укрошала.

Нина Ивановна взяла, наконец, именинника под руку. Пошли мерно в ногу.

– Для писателя, Нина Ивановна, сорок лет – это самый плодотворный возраст. Ах, как много впереди работы! Как хочется жить!

– Конечно, Роберт Иванович. Конечно, вы будете много работать, – безотчетно говорила Переверзева, все думая, как и где вручить подарок.

Наконец вышли к фонарю, на свет.

– Вот, Роберт Иванович, – это вам. От меня. Примите, пожалуйста.

Недобега быстро развернул обертку, открыл футлярчик. Паркер! Настоящий! С золотым пером! Задохнулся даже на миг. Но опять как всегда высокопарно изрек:

– Вот теперь у меня будет отличное орудие труда, Нина Ивановна! Отличное! Спасибо! Тронут!

Возле штaketника Нины Ивановны остановились.

– Может, зайдете, Роберт Иванович? Я печенья напекла, чаю попьем?

– Нет, Нина Ивановна. В другой раз. У меня скопилось много впечатлений за сегодняшний вечер. Нужно срочно их перенести на бумагу. – Он вдруг засмеялся. Диковато. Как скалолаз: – Эх, и пойдет у меня теперь работа новым пером, Нина Ивановна!

Попрошавшись, он пошел. Плоскостопо. Повихливая ногами. Но быстро. И провалился в темноте.

Да-а. Права все же, наверное, Дарья. Просто больной. На душе у Нины Ивановны было нехорошо, горько. Открыла калитку, пошла к темному своему дому.

6.

В детстве Роба Недобега чурался сверстников. В начальной школе села Предгорного у него был только один товарищ – Гена Селезнёв. На уроках родной речи Робу всегда поражало, как может один человек (Гена) так много выучить дома наизусть. Гена просто вставал из-за парты и вместо пересказа шпарил все произведение, словно читая его. По учебнику «Родная речь». Клавдия Георгиевна хвалила Гену, ставила пятерку, но говорила, что столько учить дома наизусть не

нужно, лучше суметь изложить всё своими словами. Но Гена продолжал учить всё наизусть. Зато когда наступал урок арифметики, а с четвертого класса и алгебры – тут не было равных Робе Недобега. Любые примеры щелкал он на доске как орехи.

На переменах, заложив руки за спину, маленькие друзья гуляли по коридору школы, получая от веселых бегающих сверстников не совсем заслуженные шелобаны и тумак. («Н-на, Ропка Еропкин!» «Н-на, Селезень!») Иногда оба оказывались зачаточным клубком большой кучи-ма-лы. Но звенел звонок, начинался новый урок, и уж тут они показывали одноклассникам свои способности.

Они даже влюбились одновременно. Роба в Галю Поливанову, а Гена в Зину Зорькину. Но надменная Галя только фыркала, закидывая каждый раз косу за спину: «Этот Еропкин!» А Зина смеялась над Геной и почему-то его все время щипала. И на переменках, и на уроках. С соседней парты. Отвергнутые друзья нередко теперь шли к домику над рекой, где жили Недобеги, садились на пожухлую траву, грустили и смотрели на алтайские, долго стоящие в горах закаты. Выходила из домика мама Робы: «Гена, Роба, домой!» Ребята вставали и шли. В двух окнах домика слепо, вспыхивало солнце. Гена часто ночевал в этом рубленом невысоком домике. Дядя Ваня Недобега был зоотехником, образованным, а тетя Глаша работала простой дояркой.

После окончания предгорненской десятилетки дороги друзей разошлись: Гена поступил в Барнаульский пединститут, а у Робы Недобеги в это же самое время случилось большое несчастье – трагически погибли его родители... Перед отъездом сына на вступительные экзамены они решили купить ему настоящий мужской выходной костюм. Конечно, в городе. Вместе с сыном они стояли на остановке за деревней с другими сельчанами, тоже собравшимися в город. Роберт зашел в бетонную будку, чтобы завязать развязавшийся на ботинке шнурок. Успел увидеть только, как грузовик смел всех с остановки... Он кричал и бежал к завалившемуся ревущему пьяному самосвалу, к разбросанным по кювету тряпичным телам...

После похорон родная сестра погибшей Глаши Софья повезла племянника к себе в Красноярск. В автобусе Роберт трясся на последнем сидении и смотрел в окно на удаляющуюся свою деревню. Окна маленького домика на горе были заколочены досками. Походили на ослепшие глаза в повязках...

В Красноярске Роберт Недобега год работал на заводе. Тоже, как и Гена Селезнев, поступал в пединститут. В местный. Провалился. Снова вернулся на завод. В армию не взяли – плоскостопие. С детства. Наконец по совету дяди Коли, мужа тети Сони, записался на бухгалтерские курсы. Которые с успехом и закончил через шесть месяцев. Работал по сразу понравившейся специальности. И через три года, съездив пару раз *на повышение квалификации*, стал Робертом Ивановичем, главным бухгалтером Потребсоюза.

Карьеру поломала женщина по фамилии Кецельман. На которой женился, а потом долго разводился. Уехал из Красноярска с ободранной душой. Ладно, хоть детей не было. Уехал в глушь, на станцию «Таёжная», где взяли на работу сразу.

7.

Отдыхая, Роберт Иванович как всегда ходил по комнате. Не мешал думать мягко работающий телевизор. Теннисистка-негритянка била мячи очень сильно, с устрашающими криками. Казалось, мячи вылетали из ее паха, из ее широко раскидываемых, мощных, с кривизной ног. Вылетали – как из загона... Роберт Иванович остановился, какое-то время смотрел. Бросился к столу. Нашел тетрадь «Нужные слова и Нужные предложения». Быстро записал в ней: *Сокрушительные удары негритянки следовали с неимоверной силой. Ее противница уже изнемогала.* Всё это пригодится. В дальнейшем. Телевизор – это отличная тренировка моего ума и сердца! Да. Продолжил планомерно побалтывать плоскостопными ногами.

Ночью приснился странный сон. В депо на митинге рабочие походили на немую голую по-росль, ровно заточенную ураганом на одну сторону. А Роберт Иванович был живой, веселый. Почему-то оказался впереди всех. Перед самой трибуной. С вытянуто увеличенным лицом он

приседал и что-то толмачил трибуне руками. Пулял ими. Как пуляет руками певец на концерте в телевизионный экран... Потом с трибуны ему громко крикнули: «Уйди отсюда!» И он проснулся.

Утром Роберт Иванович не смог записать этот странный сон: никак не находились слова для передачи его на бумагу. Хотя Роберт Иванович всегда писал легко. И слова сами прибегали к нему. А тут – никак.

На работе он спросил:

– Дарья Сергеевна, как вы будете голосовать на референдуме? О будущем Советского Союза?

– Это мое дело! – буркнула Золотова.

– Да, конечно...

Вошел Колпаков. Еще трезвый. Поспешно исполнила слонихин боковой танец Золотова. Роберт Иванович тоже привстал с протянутой рукой.

Колпаков пожал руку.

– Вы определились с референдумом, товарищи?

Сотрудники молчали и словно бы чесали в затылках.

Тогда Колпаков вышел. Реденькие усы его пошевеливались. Напоминали заводные усы мыша. Идя к себе, он точно принюхивался к чему-то. Нехорошему, вонючему.

За столом косился на бутылку. Решительно задвинул ее в тумбочку. Постучав в стену, крикнул:

– Дарья Сергеевна, зайдите с отчетом!

Дарья забежала, напевая. Домашние тапочки на ее ногах походили на бисквиты. Повернула в двери ключ.

Колпаков встал, сразу охватил округлость. Всю. Голая округлость была как пиво в целлофане.

Роберт Иванович достал блокнот. Послушал приглушенный стук, идущий от стены. Быстро написал: *Какая могучая пара! Все-таки любовь творит чудеса!*

Заиграл на калькуляторе.

Дома вечером он много, плодотворно писал. Потом перед сном отдыхал, откинувшись на спинку дивана. В телевизоре чукча дергал железку во рту. Вроде как непроходящую зубную боль. Не удержавшись, Роберт Иванович дернулся к столу: *Гениальная музыка чукчи! Наше Северное сияние!*

Потом там же жирафы куда-то медленно шли. Как движущееся письмо каракулями. Эти Роберта Ивановича не заинтересовали. Никак не изобразил. Не пригодятся в романе. Да. Устал я что-то сегодня. Пора, наверное, дать отдых моему серому веществу. Да.

И все же снял трубку, набрал номер Нины Ивановны и еще долго рассказывал ей о новой главе, которую он сегодня записал. У его светящейся возле торшера золотой головы невнятно-громко бились восторженные слова женщины. Роберт Иванович улыбался.

8.

Утром он как всегда торопился на Профсоюзную в заготконтору. Уже хорошо поработавший за столом, радостный, оставив дома еще одну главу. Ножки Недобегги работали как бойкие костылики.

Две пожилые сестры Ерошины уже сидели на лавочке.

– Вон, смотри – палкает. Нинкин писатель, – говорила Катерина.

– Да зачем он ей такой кутельпятаенький? – возражала Парасковья. – Да и не выйдет она никогда за такого! Ровно не посуху идет, а по грязи ножками-то чапает.

– Не скажи, сестра, – смотрела вслед Роберту Ивановичу Катерина, – не побрэнгует. Херо-венький плетешок, да за ним затишок...

Сестры возвращали руки на животы. Величественные, зобастые, как бомбы.

Но пробежали Гуляшова и Кадкина из Сельхозтехники и крикнули, что в «Промтоваре» на площади порошок дают. Тетери!

И пожилые Ерошины сразу сдернулись. И заторопились, и заспотыкались. В широких коротких платьях полные ноги их спешили как какой-то панический опорос.

Нина Ивановна тоже торопилась. Но не за порошком, а собираясь на работу. Торопиться, собственно, не нужно было, но Роберт Иванович всегда появлялся у потребсоюза без пяти девять, и можно было поздороваться с ним с крыльца библиотеки. Вроде как тоже только что придя и открывая ключом дверь. А может, и поговорить немного.

Соседи Колупаевы возились в огороде. Сгребали граблями ботву, выдергивали помидорные палки. Нина Ивановна хотела прошмыгнуть к калитке, но Колупаева закричала: «Нинка, когда жениха заставишь в огороде работать? Вон у меня, вечером клавиши давит, а днем в огороде работает. Как миленький!»

Муж-Колупаев был опальный музыкант, изгнанный из музшколы. «Давил» теперь клавиши в кафе у вокзала. Зло выдергивал сейчас палки. На жену не смотрел. Телогрейка на нем была как на зэке. «Эко – обиделся», – уже удивлялась жена, забыв про «Нинку».

Нина Ивановна с облегчением заторопилась по Лесной. В плащике, как перевернутая рюмка.

Однако навстречу шли Кадкина и Гуляшова. Главные поселковые сплетницы. С порошками под мышками. И Нина Ивановна, шмыгнув в боковую улочку, побежала в обход. Почему-то в библиотеке все сразу забывают об ее отношениях с Робертом Ивановичем. Никто никогда даже не заикнется об этом. С книгами приходят всегда деликатные и даже слегка испуганные. Но стоит только выйти на улицу... Впрочем, от Дарьи не закроешься и библиотекой.

Конечно, Нина Ивановна опоздала. Роберта Ивановича уже не было возле потребсоюза, скрылся в своей бухгалтерии.

Приезжавшая летом мать говорила дочери: «Нина, ну зачем он тебе? Ведь глуп как тетерев! А? Где глаза-то твои?!» Дочь сразу нервно отвечала, что Роберт Иванович умный. Да, умный. Он просто ранимый, мама. Ему столько пришлось в жизни пережить. Если б ты знала!

Пенсионерка, бывшая преподавательница английского языка в мединституте не находила слов. В глазах ее словно начинал мелькать ломкий хаос. Дочь быстро наворачивала ей манжетку. Капала в стакан лекарство. Носик ее пошевеливался. Походил на живую пуговицу. Был такой же, как у матери.

На рыбалке Роберт Иванович стоял у озера с длинным удилищем, как аист. Совершенно недвижно. Блаженно говорил маме Нины Ивановны: «Какая чудная картина природы перед нами развернулась, Зоя Николаевна! Прямо хочется жить и плакать!»

Пенсионерка посмотрела на него, но ничего не сказала. Довольно ловко подцепила ершишку.

А Роберт Иванович так и продолжал стоять аистом, казалось, ни разу даже не вытянув из воды лесу.

У костра, подавая в чашке почищенную рыбу, мать шепнула дочери: «А ведь этот человек вырос в деревне!..»

– Широка-а страна моя родна-я-а, – вдруг запел Роберт Иванович.

Мать и дочь выронили чашку...

Но потом были высокая, остановившаяся в озере лунная ночь, женщины и мужчина у пегих углей костра, две горбатые палатки, поставленные рядом...

Роберт Иванович спал очень тихо, за всю ночь не всхрипнул ни разу, и это почему-то несказанно удивило Зою Николаевну, так и не уснувшую рядом с посапывающей дочерью, беззащитно уткнувшейся ей под мышку...

На прощальном обеде она спросила у него, накладывая себе салат оливье:

– Почему вы пишете, Роберт Иванович?

Роберт Иванович перестал пилить мясо, ответил почти сразу:

– По непоборимой потребности моей души, Зоя Николаевна.

– Как это?

– Мне необходимо отобразить всю нашу роковую жизнь, окружившую в данный момент нас! Зоя Николаевна посмотрела на дочь. Та сидела рядом с писателем в белых шифоновых хри-

зантемках на груди как какой-то подарок ему, как награда. Однако была красненькой, все время вытирала с лобика платочком пот.

Роберт Иванович спокойно отпиливал ножом мясо, потом тщательно пережевывал. Уши его двигались продольно. Как седла.

Мать снова переводила взгляд на дочь. А? Нина? Дочь опускала глаза.

Поздно вечером, когда прощались возле вагона, Роберт Иванович сказал:

– Я полюбил вас всей душой, дорогая Зоя Николаевна! Какой хороший вы человек! И это всего за четыре дня!

Он чуть не заплакал, но разом закаменел.

Пенсионерка обняла, похлопала его по спине. Держись, парень, борись и дальше! Поцеловала дочь. Полезла в вагон. Проводница, лязгнув плитой, закрыла дверь.

Зоя Николаевна продвигалась по вагону. Бросила сумку в пустое купе. Встала у открытого окна. Дочь и «жених» стояли под окном, смотрели на нее. Поезд почему-то не трогался, медлил. Остановились закурить два железнодорожника. Один сделал другому из ладоней теплушку. Потом сам прикурил. Пошли дальше.

– В августе приезжай. Ждем с отцом, – сказала мать дочери. «Жениха» даже не пригласила.

В свою очередь, дочь говорила, чтобы отец тоже приезжал в «Таёжную» этим летом. Отдохнул бы как следует. Походили бы за ягодами, на рыбалку. Верно ведь, Роберт Иванович?

Роберт Иванович нейтрально, но солидно подтвердил:

– Природа станции «Таёжная» благоприятно действует на организм пожилого человека.

Вагон, наконец, дернулся, поехал. Они сразу пошли за вагоном. Прощально махали. Убыстряли и убыстряли шаги. Ноги их словно уменьшались в длине, отставали от вагона. А туловища, наоборот, увеличивались, догоняли, были рядом с вагоном. Зоя Николаевна, борясь с собой, плакала, махала рукой.

Поезд набирал и набирал ход. И уже спотыкалась за ним в редком лесу только что проснувшаяся помятая луна.

9.

Из-за хлобыстинского леса солнце по утрам левой падало на поле перед станцией. Будылья кукурузы восставали с земли разом. Словно русское войско. Ручей ползал лазутчиком, вспыхивал, обнаруживал себя. Покатилась таратайка с лошадежкой на Хлобыстино. На таратайке – бригадир Кононов. Колотился прямо в солнце. Вспыхивал, обугливался как гвоздь с уже готовой шляпкой.

Сама станция словно пошевеливалась и потягивалась. Парила, отогревалась на солнце. Покрикивали проспавшие петухи. Из дворов выходили коровы. За пастухом шли сами. Как за сельским мессией. Плащ на пастухе выгорел добела, полы болтались тряпками. Ненужный бич за спиной везся по земле.

Потом похмельно засипел гудок на станции. Пойманной птицей захлопался было селектор, но сразу умолк. К восьми потянулись рабочие в депо, к девяти служащие в деревянный вокзал. В нескольких учреждениях самого поселка открывались форточки, начальники садились за столы.

Самохин, редактор местной газеты «Таёжные гудки», посасывал таблетку. Он был пожизненный гипертоник. Он был как персик с грустными глазами. Он говорил напряженно сидящему Роберту Ивановичу, что так, как пишет тот, писать нельзя, преступно. Прочитав какое-нибудь предложение из рукописи, он начинал горько смеяться. Махался рукой. Казалось, с ним тряслось, смеялось всё. Стакан рядом с графином, сам графин, товарищ Горбачев в раме на стене.

Из кабинета Роберт Иванович вышел с провалившейся душой. Вытирался платком. Но по коридору пошел быстро, держа портфельчик на отлете, как беду.

В библиотеке Нина Ивановна отпаивала его чаем, а он сидел и никак не мог понять – что смешного в предложении *Когда мороз ударил по поселку, дома огрызнулись куржаком*. Что, Нина Ивановна?!

– Не ходите больше к нему, не ходите, Роберт Иванович! Он ничего не понимает! – почему-то вместе с Недобегой разом дурела и Нина Ивановна.

Отойдя немного душой, Роберт Иванович начинал ходить по тесной библиотеке и читать с листов в его руке наиболее удачные, как он считал, места.

– Ведь правда, Нина Ивановна, неплохо? Как вы считаете?

Нина Ивановна тут же соглашалась, но предлагала немножко подправить. Например, в предложении *Иван побежал к реке, подъезгоривая себе*, лучше бы, наверное, написать *Иван побежал к реке, подпрыгивая*.

Роберт Иванович останавливался, думал.

– Суховато. Но пожалуй...

Пошлепывал ножками через дорогу, к себе, оставив листы Нине Ивановне. Чтобы она пошла по ним *зорким* глазом. И Нина Ивановна сразу же приступала к работе. Сначала робко, а потом все смелее и смелее вычеркивала, дописывала, правила. Благо, читателей в этот утренний час в библиотеке почти не бывало. Так, прогуливающий школьник какой-нибудь забежит, чтобы быстро пролистать журнал и исчезнуть.

В час дня, увидев, что Дарья пошла на обед, Нина Ивановна перебежала дорогу, отдала портфельчик с рукописью Роберту Ивановичу и так же шустренько прибежала обратно в библиотеку. И никто ее не увидел.

Однако через десять минут Роберт Иванович пришел возмущенный:

– Что вы сделали с моим произведением, Нина Ивановна?! Я доверил вам свой труд, а вы!..

Он даже ударил дверь, уходя.

Когда Золотова зашла после обеда в библиотеку, Нина Ивановна горько плакала.

– Я, я, Даша, ему, рукопись, а он, он мне, Даша!.. – икала Нина Ивановна.

Дарья в сердцах воскликнула:

– Да что за полудурок такой! Ни в п...у, ни в Красную Армию!

Нина Ивановна вздрогнула от ругательства, еще горше заплакала.

Большая Дарья гладила на своей груди горячую, как кипятик, головку.

А Роберт Иванович тем временем по-прежнему ничего не мог понять в рукописи своей. Словно в бурьяне!..

10.

В детстве Нина Переверзева приезжала с родителями к бабушке в «Таёжную» каждое лето.

Когда десятилетняя Дашка Золотова в первый раз увидела городскую Нинку в поселке – встала как вкопанная: девчонка не шла, а танцевала. В коротком платьишке, как трюфель-фантик, тонконогая, как паучок. Так и прошла мимо разинувшей рот толстухи – беспечно поддавая ножками.

Рослая Дашка закрыла рот и одернула деревенское рослое платье ниже колен. Платье из байки.

На другой день она стояла перед раскрытым двором Переверзевых и, ухватив в кулак острую штакетину, сердито покачивала весь штакетник.

Баба Катя Переверзева, таская на стол, посмеивалась:

– Нинка, никак к тебе гости пришли!

Отец и мать тоже повернулись к окну.

Нинка вышла к штакетнику:

– Чего тебе, девочка?

– Да ничего! – ломанулась от нее Дашка. Да еще побежала, оглядываясь.

На сеансе в кино «Железнодорожник» она умудрилась оказаться прямо за Нинкой и ее родителями.

– Ха-ха-ха! – громко смеялась в темноте Дашка над головами всех троих. Ее чуть не вывели.

После фильма она била ботинком угол киоска, где давно ничего не продавали.

Зоя Николаевна взяла ее за руку и подвела к дочери. Дашка обиженно пошмыгала носом, но маленькую ручку Нинки пожалала. И даже хмуро назвала себя: «Я Дашка».

Теперь она ни на шаг не отставала от маленькой Нинки. По утрам городские всегда спали до девяти в доме у бабы Кати, но Дашка уже часов с семи покрикивала: «Нин-ка-а! Выходи-и!» Покачивала штaketник. «Нинка-а!»

Нинка появлялась на крыльце. Жмурилась на солнце, потягивалась. Сонная утренняя головенка ее походила на разбитое пичужкино гнездо. Трусихи были как на кулѐнке.

– Ну, чего тебе?

– Айда на озеро. Договаривались же. Час уже ору, – радостно качала штaketник Дашка.

– Сейчас. – Нинка уходила завтракать. Звали всегда и Дашку, но та отказывалась.

На озере девчонки раздевались и какое-то время оглядывали весь поднебесный мир вокруг. Нинка была в ладном купальнике с цветочками, а Дашка в бабьих трусах в колено. Она всегда первая разбегалась и, как бомба, размахивающая руками и ногами, летела в воду. Нинка гальяном булькала следом. Девчонки кричали, хлопали по воде, пуляли друг в дружку водой. Орали на весь мир. Потом плыли к противоположному берегу, чтобы полежать там на песке. Девчонки обе плавали хорошо.

На том берегу лежали, опершись на локти, загорали. Песок сыпался из кулачков как из песочных часов. Потом переворачивались на спину. Прикрывшись рукой, смотрели в небо. Высокое небо было всегда как океан...

Дома наблюдали, как баба Катя сливает воду из ведра в лейку – как будто плавное блестящее стекло. А потом хрустелом, хрустелом рассыпает по грядкам!

– Чего уставились? А ну-ка за работу! Она сколько поливать...

Девчонки бежали в сарай за лейками и тоже поливали. Худенькая Нинка тащила полную лейку к грядкам, вся изгибаясь. Толстая Дашка с лейкой обращалась запросто. Поливая, перекидывала только с руки на руку.

На другой день с отцом и матерью Нинки пошли в Егорьев овраг по малину. Лазили в глубоком тенистом логу, все улепленные паутинами, обирали с кустов спелую осыпающуюся ягоду. На Нинке был спортивный толстый костюм с полосками, на Дашке – старшего брата комбинезон и кирзовые сапоги. Корзинки и туеса вчетвером заполнили быстро. Поели и попили возле холодной бороды кедр, выстрелившего хвоей в небо. Только начали выбираться наверх, как дядя Ваня вдруг крикнул:

– Дашка, Нинка – смотрите!

Метрах в пятидесяти по отвалу оврага быстро карабкались медведица и три ее медвежонка. От мощных лап медведицы отлетали назад комья земли, и отставший медвежонок совсем как человек брезгливо отворачивался от них. Однако тоже торопился, лез: куда ж тут денешься?

Семейство пропало наверху в кустах.

Дядя Ваня, отец Нинки, смеялся, а тетя Зоя, наоборот, стала бледной и торопила всех поскорей выбраться из опасного места.

Больше в Егорьев овраг не ходили. Но зато отправились вскоре в хлобыстинский лес по грибы. А там не опасно – дорога рядом, тархтят все время грузовики. Почему-то Нинка всегда набирала больше всех. Маленькая, шустрая, она бегала меж утренних, дымящихся под солнцем сосен, чертила треугольнички, квадратики, как какой глазастый живой кунчонок с палочкой в зубах. И маслята сами выбегали к ней, к ее ловкому ножичку.

Потом тетя Зоя кричала:

– Нина, Даша, Иван! – домо-ой!..

И так бывало каждое лето с приездом Переверзевых в «Таѣжную».

Лет с шестнадцати девчонки стали ходить на танцы. У них уже были кавалеры.

Танцы начинались часов с восьми в парке «Железнодорожник».

На эстраде работали три музыканта. Герка Колупаев (совсем пацан еще тогда) давил клавиши. Электрогитара Гинзбурга скакала и визжала будто черт с хвостом. Валера Гушин ворожил на барабанах щетками.

В твисте Нинка дергала к себе ножку, будто нитку с челноком. Дашка откидывала мощную свою ногу далеко, лягаясь ею как конь-тяжеловоз. Стелющийся во все стороны танец-твист напоминал неопасный рукопашный бой.

Потом за эстрадой, на свету луны, Валера Гушин нежно целовал Нинкино лицо. Дашка с Гинсбургом лезла в кусты. Долго трещала там, словно никак не могла найти места. Гинсбург пугался, дергался обратно на свет.

После прощаний с парнями девчонки лезли на стайку Переверзевых, ложились там на приготовленные постели. Закинув руки за голову, долго смотрели на небесные звездные города, на Млечный путь с его богатым песцовым хвостом.

Потом засыпали.

II.

После десятого класса Нина Переверзева поступила в Библиотечный институт. Благополучно его закончила, стала работать в новосибирском библиотечном коллекторе. И проработала там больше десяти лет.

Был даже жених одно время. Но в 82-м тяжело заболела, и жених растаял.

Сначала попала в больницу с воспалением легких. Но воспаление быстро опустилось ниже, и образовался гнойный плеврит.

Болела долго, тяжело. С высокой, неспадающей температурой, нескончаемым, рвущим легкие кашлем по ночам. За четыре месяца больницы были и нескончаемые уколы, и капельницы, и таблетки. Жесточайшие пункции в плевру, когда откачивали экссудат.

Недалекий врач Колесов постоянно приводил в палату белые консилиумы. И врачи стояли над раздетой по пояс, поникшей Ниной Ивановной, важно погрузив руки в карманы халатов.

Были и другие равнодушные и участливые врачи и грубые и мягкие медсестры. Была постоянная вонь боящейся сквозняков палаты. Властная старуха в ней, которая упала однажды прямо на пол и умерла. Была ее дочь в коридоре на стуле, льющаяся как ручей...

Только летом температура стала бродить около 37-и, и Нину Ивановну выписали домой. Родители, даже не спрашивая, сразу повезли ее в «Таёжную». На чистый воздух, к барсучьему салу, к прополису, пыльце, меду.

И Нина Ивановна ожила. *Одыбалась*, как сказала бы покойная баба Катя. Пропала одышка, появился на щеках румянец, Нина Ивановна прибавила в весе.

С осени начала работать в школе, но уехала библиотекарь, и Нина Ивановна сразу перешла на ее место, к своему делу, привычному. Жила все в том же бабушкином доме. Родители думали, что год-другой поживет и вернется, но дочь в Новосибирск не торопилась, приезжала к отцу и матери только в отпуск.

Дарья Золотова после десятилетки никуда не поступала. Хотя окончила ее без троек. На выпускное сильно ударила Колупаева Герку, который ее «соблазнил». Колупаев упал, серьезно ударился головой. В милиции дело еле замяли. Помог участковый Гальянов, родственник Золотовых. Аттестат Дарье вручали хмуро, приватно, в учительской. Уходя, Дарья шарахнула дверью.

Со слезами мать устроила ее в потребсоюз. Где Дарья была сначала счетоводом, а потом, как и Недобега в свое время окончив курсы, стала бухгалтером. Работа не нравилась. Сотрудники казались Дарье мышами, от голода грызущими бумагу.

Пьяный Герка Колупаев с городским дружком пришел однажды свататься. Он уже окончил музыкальное училище, и у него был диплом. Он размахивал синей книжицей перед носом Дарьи и звал «в даль светлую». Пьяный дружок в каком-то помещичьем высоком картузе походил на насекомое, важно двигающее на месте лапками... Дарья просто закрыла перед ними калитку.

В 80-м двоюродная сестра сманила на Север. В поселке Уренгой Дарья стала работать в небольшой гостиничке для нефтяников-вахтовиков. Горничной. В короткой юбке и кокетливом фартучке заправляла кровати. Широкою сдобною Дарью голодные нефтяники всегда встречали

как торт – восторженным ревом. Дарья не зло била по веселым рукам, никого всерьез не калеча.

Неожиданно для себя вышла замуж. За инженера Генкина. По вечерам часами смотрела, как Генкин с серьезным лицом каплуна сидел над диаграммами, схемами, чертежами... Через месяц ушла. Генкин не возражал.

После Генкина были в эти годы у Дарьи и еще два-три хахалька. Нефтяники с веселыми руками. Но все они задерживались ненадолго. Уплывали как поезда со станции, быстро набирая ход.

Дольше других задержался очень злой на любовь ненец Коля. Местный. Из тундры. При нем Дарья даже научилась гонять на оленях, покрикивая по-ненецки и ловко орудуя палкой длиною с версту. Но тоже: узнав про связь Коли с *толстухой Дарьей*, примчалась на оленях его жена в шурах. Кружа вокруг гостинички, выкрикивала угрозы, грозила палкой. Однако когда Дарья вышла к ней, подбежала и разом заревела – молодая, некрасивая, вогнутолицая, как миска – просила Дарью пожалеть детей. А их у любвеобильного Коли оказалось четверо... Дарья сама отшила ненца. Вскоре переехала в Новый Уренгой. Где работала еще с год в речном порту на разных неквалифицированных работах.

В 85-м приехала в «Таёжную» к умирающей матери. Которую вскоре и похоронила. На Север больше не вернулась. Родной брат с семьей перебрался жить в Красноярск. Дом переписал на нее. Генкин в паспорте остался, и стала Дарья жить в доме том соломенной вдовой.

А потом приехал в «Таёжную» Роберт Иванович Недобега...

12.

Когда он в первый раз вошел в бухгалтерию вместе с Колпаковым, Золотова поспешно станцевала слонику вбок и радостно затрясла ему руку: «Золотова, Дарья Сергеевна, можно – Даша! Добро пожаловать, Роберт Иванович!» С восторгом смотрела на *молодого человека*.

Новый сотрудник почему-то сразу начал смеяться. Как будто был больной. Как будто был больной внутри.

Дарья посмотрела на Колпакова: что это с ним, Федя?

Однако Федя молчал и только слегка покачивался. С пьяным носом, как с пемзой.

Приобняв, увел работника к себе.

В обед Дарья побежала через дорогу. «Слушай, Нинка, – приехал! Шикарный мужик! Не пьет, не курит! У Колпака не выпил ни рюмки!»

Упала на стул, затрясла на груди платье. Глаза ее не вмещали события.

Нина Ивановна спокойно писала за стойкой. Маленькая и далекая, как капитан.

– А мне это зачем?

Карандашиком ловко бросила в пластмассовый стаканчик.

Через неделю она сама восторженно рассказывала подруге, какой хороший Роберт Иванович читатель. Не муслякает пальцев, не хлыстает ими по листам. Представляешь? Сидел у меня за столом, вдумчиво читал весь вечер. Правда, почему-то только «Охотничье хозяйство». Четыре журнала прочитал. Узнай у него: не охотник ли он?

– Сама узнавай! – непонятно отчего рассердилась Дарья.

Еще через несколько посещений бухгалтером библиотеки Нина Ивановна уже поведала подруге, что, оказывается, Роберт Иванович пишет. Писатель. Представляешь?

Дарья сразу разгадала загадку:

– Ах, вон оно что! Знаешь, о чем он спросил у меня вчера? – помедлила: рассказывать или нет?

– Ну, ну!

– «Дарья Сергеевна, что чувствует полная женщина, такая как вы, когда кушает?» Ну, не козел ли, а?

– Вот, вот, это нужно ему, наверное, для романа!..

Роберт Иванович стал приходить в библиотеку, но не часто. И читал теперь почему-то только журнал «Советский воин». Нина Ивановна предлагала ему новинки. Из «Нового мира», из «Знамени», из других московских журналов. Раскрывала страницы, показывала, называла авторов.

– Ерунда! Все подкуплены, – коротко сказал Роберт Иванович.

Странно. «Все подкуплены...»

– Но как? Каким образом? Зачем?!

Роберт Иванович только хмыкнул. Продолжил читать «Советский воин».

Поджидая его теперь вечерами, Нина Ивановна сидела за стойкой допоздна. Однако говорила себе, что просто работает. Вот же: пересматривает каталожные карточки. Дописывает сам каталог. Подклеивает к новым книгам кармашки. Вкладывает в них книжные карточки.

При шагах на крыльце – вздрагивала. Но почти всегда входил пенсионер Предыбайлов и требовал *про штипонов*.

В десятом часу, топчась на крыльце, закрывала библиотеку. Посматривала вверх. Луны не было. В небе как будто висело седое дерево.

Переверзева, торопясь домой, оступалась в темноте.

13.

В Новый год тюльпаны люстры в доме Нины Ивановны матово светились.

– С наступающим Новым годом, дорогие наши женщины! – сказал Роберт Иванович Нине Ивановне и Дарье Сергеевне.

Он стоял у стола и улыбался. Шампанское удерживал у бедра.

Пимокат Зуев скатал ему валенки в пах, и теперь Роберту Ивановичу никакой мороз не страшен. Сейчас он был в выходном костюме, заправленном в эти валенки.

– Извините!

Он кинулся в прихожую и стащил валенки. Быстро надел лакированные штиблетки тридцать шестого размера и вернулся в комнату. Шампанское поставил на белую скатерть. Как взнос. Только после этого дал усадить себя за стол.

Приближалась полночь. Когда заговорил человек с уверенно-глупыми глазами проповедника – Роберт Иванович встал. Прослушал человека стоя. Болтнувшись, сразу заиграла Спасская башня. Ему сунули бокал. Пошли мерные чугунные удары. Женщины вскочили, начали пить. Роберт Иванович стоял. Вдруг зашел: «Со-юз нер-руши-мый респуб-лик свобо-дных!» «Рано, рано еще! Роберт Иванович! С Новым годом!!» А он всё пел. Его посадил на место только первый, оглушительно-протяженный аккорд настоящего гимна. Слово разом порушивший весь Новый год в комнате.

Женщины поздравляли его, лезли с бокалами. Он удерживал свой бокал у груди, словно удивляясь звону его. Дернул все же шипучки. И задохнулся. «Бьет, однако!» Женщины смеялись, как бы говорили: привыкнешь!

Дарья все время пыталась плеснуть ему в пустую рюмку водки – он всякий раз успевал прикрыть рюмку рукой. «Благодарю. Мне достаточно». Иногда только чуть-чуть отпивал шампанского. Хорошо, вдумчиво ел. Вроде как один за столом. Всего было много.

Говорил мало. Жевал. И прямо-таки наглядно думал. Двигались уши и вертикальные мускулы по краям лба. Большой ложкой Дарья черпнула и скинула ему на пельмени *кобру*. Жгучий соус. Чтобы вывести его как-то из ступора. Нормальные люди после Дарьиной кобры с минуту махали бы у рта рукой. Под хохот за столом. Этот – нет. Этот только кивнул. И стал спокойно есть пельмени, предварительно вымазав их Дарьиной коброй. И опять думать. С пошевеливанием ушей.

Вдруг заглядывался: «Хорошо у вас тут, девушки. Чисто». И снова вернулся к еде и своим думам.

Внутренний истеричный смех уже душил Дарью, она еле удерживала его, но Нина Ивановна словно не обратила внимания на последние слова Роберта Ивановича о комнате – всё подкладывала ему на тарелку и пыталась разговорить.

Потом от скуки женщины сдвинули стол и открыли танцы под проигрыватель.

На удивление, Роберт Иванович тоже танцевал. Но странно. В аргентинском ядовитом танго он просто ходил и углубленно шмякал ножками пол. Один. Слово убивал тараканов. Потом

скромно сидел в углу возле елки. Вроде зайки серенького. Который под елочкой недавно не очень удачно скакал.

Зато девушки в танго ходили классически. На манер паровозных тяг. Иногда Дарья откидывала Нину от себя на вытянутую руку, как марионетку, вновь припечатывала к себе, и девушки опять ходили, слаженно двигая руками и ногами. Кивнув на сидящего танцора, Дарья шепнула подруге: «Он глупый. А глупые все добрые». Принялась хохотать. Уже откровенно. Чуть не уронив подругу на пол.

В час ночи он вдруг засобирался домой. Женщины не поверили: как?! Роберт Иванович! Ведь новогодняя ночь! Бывает раз в году! Голубой огонек идет! Завтра выходной! Останьтесь!

Но через минуту он уже стоял перед женщинами опять в валенках в пах. Счастливый, как Дуня в поддутых штанишках.

– Ах, какой я чувствую прилив моих творческих сил! Нина Ивановна! Дарья Сергеевна! Я горы теперь сворочу! Не иначе!

Он смеялся, когда шел в прихожую. Как всегда диковато. Как все тот же скалолаз, сорвавшийся и болтающийся над пропастью. Он так же замороженно смеялся во дворе. И на улице, идя вдоль штакетника. Он смеялся, проходя под высокими, густо обеленными морозом деревьями. Как напуганный пожарный колокольчик, он смеялся и оглядывался под ошарашенной луной!..

– Да он же ненормальный! Нина! – не чувствовала даже холода на крыльце раздетая Дарья. (Нина запахивалась в шубейку.) – Он же выпил только полбокала шампанского!..

Женщины вернулись в дом. Женщины остались одни. Тянуче пели за столом. Потом грустили, подпершись руками. Дарья предложила позвать Колпака. Он опять сейчас без жены. Прижмет что надо! Набрала номер. «Федя, ты?» Трубка яростно забурилась, забормотала. «Пьяный в шишки, черт», – отложила трубку Дарья. «Эх, Нинка, как встретили Новый год, так его и проведем».

Нина Ивановна чуть не плакала, тыкая белый сопливый гриб вилкою.

14.

Поселковая почта находилась в двухэтажном деревянном домике с краем площади.

Если залезть по крутой лесенке на второй этаж – попадешь в переговорный пункт, где в кабинке кричит в трубку клиент. Если скатиться обратно и откроешь в бревенчатой стене дверь – сразу увидишь трех женщин в черных халатах, занятых за тремя столами почтовыми отправлениями. Их отделяет от тебя деревянная стойка с длинным стеклом.

Летними утрами почта грелась в солнце, как утренняя дощатая глухая голубятня со спящими еще голубями. Но приходила главная «голубятница» Калинина, освобождала от ставен крайние два окна первого этажа.

И, увидев это действие, к почте сразу спешил Недобега Роберт Иванович. Оставлял на площади даже Ленина с ревматозной рукой.

Калинина смотрела, как писатель готовит папки на стойке, развязывает-завязывает тесемки, уточняет на папках карандашом – Первая, Вторая – и не могла скрыть досады. Господи, ну чего ходит к нам! Сейчас начнет опять учить, как нужно правильно паковать, завязывать. Тщательней, тщательней, Вера Петровна! Не ближний свет – Москва!.. Придурок.

Калинина отходила с папками к столу. Готовя бандероли, отворачивалась от писателя. Но тот все равно заглядывал, поучал.

Чтобы забрать газеты, входил на почту редактор Самохин. Сразу поворачивал назад. Но, поборов себя, возвращался. Вставал за Недобегой.

– И не надоело? – кивал на папки, которые Калинина уже опутывала бечевками. – Ведь только время попусту, деньги...

Как коллеге Роберт Иванович важно говорил, что у него уже семь ответов из семи журналов.

– И что?..

– Пока отрицательно. Но вода точит всю несокрушимость камня, Павел Семенович!

Самохину смешно даже не было. После таблетки с побледневшими персиковыми своими щеками он печально смотрел на писателя. Возможно ли вылечить его? Лечат ли где таких?

С тоской переводил взгляд к окну. Словно долго искал ответ там, на улице.

По площади мимо Ленина таратайка Аксенов на телеге. Лошаденка, как всегда, бежала споро. Семицветно шла единственная на весь поселок поливалка. Ливнем хлынула бабья очередь к «Промтовару». С гитарой в чехле, как с орудием, в музыкальную школу шел разбираться Герман Колупаев, в очередной раз изгнанный из нее.

Чистота и грязь, – думал Самохин, глядя на шагающего надменного музыканта. Всегда одет с иголочки, лощеный, как денди – и он же: пьяный, в резиновом фартуке, присадистый как кобылка, кривым окровавленным ножичком бьющий снизу орущего борова Гришку...

– Вот бы о чем нужно писать, уважаемый Роберт Иванович, – поворачивался Самохин. Но Недобеги возле стойки уже не было.

В библиотеке он торопливо говорил Нине Ивановне: «Смотрите, вот в этом месте письма они написали мне, смотрите, письмо с почты, сейчас дали, смотрите, вот в этом месте: “Нам очень понравилось ваше предложение: *Завивали, задували, не могли завить пургу сибирские снега*”. Видите, Нина Ивановна, они написали. Им понравилось. У меня много таких отзывов. Еще до “Таёжной”. Теперь мне надо только работать. Только много работать!»

Нина Ивановна стояла красная. Точно пойманная на нехорошем, на измене...

У себя Роберт Иванович долго не мог понять бухгалтерских бумаг на столе. Бумаги казались ему шевелящимися аэропланами. Дарья хмуро смотрела на начальника: Нинка, что ли, отшила, наконец?

15.

Море было во все глаза. Море было во всё небо. Бездонный, налитанный солнцем, молочным румянцем ребенка висел воздух. Внизу море звездилось парчой. Все время кудрявыми динозаврами нарождались волны и боком-боком выцарапывались на берег и пропадали, растворялись в песке...

Роберт Иванович кинулся от телевизора, записал: *Море дьявольски смеялось! Как всегда!* Отошел, продолжил ходьбу. Все-таки телевизор в доме – это здорово! Не перестаешь даже удивляться.

В кинозале, между Ниной Ивановной и Дарьей Сергеевной, Недобега сидел как в осаде, тем не менее поглядывал на пустое белое полотно, быстро записывал: *Все-таки киноэкран отличный соглядатай! Как много он знает!*

Погас свет, и ударили «Новости дня».

Весь киножурнал Роберт Иванович просмотрел спокойно. Но после него вдруг задергал руку Нины Ивановны: «Папанов! Папанов!» Папанов не сказал еще ни слова, а Недобега вскочил и громко засмеялся. Как бы призывая всех засмеяться тоже.

Сразу заспешила билетерша Ляшева. Бубнивая, как базар. Роберт Иванович тут же вжался в кресло, замолчал. И, не найдя хулигана, Ляшева перестала бубнить только на стуле своем.

С руками вразброс Папанов все время бегал по вокзалу с большими чемоданами, как просто с двумя пустыми коробками. Весь зал покатывался. Роберт Иванович смотрел. Сказал Нине Ивановне: «Папанову, наверное, тяжело бегать с такими чемоданами. Он пожилой уже. Ему бы сдать их в камеру хранения. Удобно. Я бы сдал». Нина Ивановна опустила глаза, стесняясь за свой смех. Зато Дарья хохотала. И над бегавшим за бывшими невестами и женами Папановым, и еще больше над комментатором, пришипившимся рядом. Который вдруг тоже начинал смеяться, как когда-то она сама в детстве, будучи Дашкой Золотовой. Причем смеяться в полной тишине. И зал истерически рушился в хохот, всегда поддерживал заводилу. Да-а, Дарья не знала своего начальника. Почти два года просидела с ним в одной комнате и не знала. Честное слово.

Когда толклись со всеми на воздух, Роберт Иванович старался смещаться вбок от потока, чтобы его не увидела Ляшева, бубнящая возле раскрытой двери.

Вышли из зала, отираясь платками. Дарья сразу пошла домой. Не слышала никаких протестов подруги. Просторные свои одежды уносила как знамена.

Тогда Нина Ивановна предложила Роберту Ивановичу отведать крошки. У нее, на Лесной. Всё приготовлено. Квас есть. Холодный. А, Роберт Иванович?

Недобега сразу согласился. Заширкал даже ладошками. В предвкушении заторопился за Ниной Ивановной. Белая рубашка его была вся в пятнах пота.

Однако возле штакетника Переверзевой – разом остановился. Не слышал, о чем говорит ему Нина Ивановна. Разом оглох. Глаза его стали безумными. Он повернулся... и пошел назад. Чуть не побежал от дома Нины Ивановны. Крикнул только: «Я потом, Нина Ивановна! До свидания!» На ходу уже дергал из заднего кармана брюк свой идиотский блокнот...

Нина Ивановна зашла во двор. Постояла. Потом зачем-то прошла в огород.

Упершись в край осклизлого сруба руками, долго смотрела в колодезь. Потом швырнула колодезное ведро вниз, разбила и себя, и небо.

Нина Ивановна плакала. Просто лежала на диване и плакала. В тюле меж штор строил рожи солнечный свет. Во дворе Колупаевых лаяла Жулька. Потом сама Колупаева начала что-то выбивать: ватное одеяло или ковер. По двору закувыркалось эхо. Вредная Жулька всюду прыгала за эхом, видимо, пыталась укусьить его в воздухе.

Вспомнилась почему-то спальня Колупаевых. Их супружеская кровать, высоченная, как эшафот. Ненасытная толстая Галька, наверное, заползала на нее. А Колупаев – обреченно запрыгивал. Как состарившийся джигит на пролетающую лошадь.

И ведь живут. Детей нет, ругаются, дерутся даже, а живут. А тут... Всё для него готова сделать. А он даже в дом боится ко мне зайти... Нина Ивановна снова начинала плакать.

К вечеру пришла Дарья. Увидела лежащую, даже не переодевшуюся подругу – сразу заходила по комнате:

– Долго он будет тебя изводить? Долго? Сколько ты будешь реветь из-за него?!

– Он не изводит. Он ранимый... – нежно сказали ей с дивана.

Дарья остановилась:

– Кто-о? Этот идиот – ранимый? Да он же выхолощен, он же как... как копыто, в которое бьют гвозди. Он же пустой! Без чувств, без эмоций! Да его же на лекциях надо студентам показывать! В мединституте! И ты к нему лезешь, унижаешься... Да гони его в шею из библиотеки!

– А ты? А твой Колпаков? – С дивана смотрели на Дарью нежные «мокрые броши». – А ты с Федором Петровичем?

Дарья сразу нахмурилась. «Там другое». И почти сразу ушла.

Как-то Дарья и Недобега спокойно работали в своей бухгалтерии. Было часов двенадцать дня. В окне колыхались листья, сквозь них пробивалось солнце.

Вдруг за стенкой что-то громко упало и покатилося. В кабинете Колпакова.

Дарья и Роберт Иванович вскочили и замерли.

Сразу же в бухгалтерию ворвался Колпаков, отбиваясь от маленькой женщины, от маленьких ее кулачков, как от пчел. Женщина разила кулачками точно: в нос, в лоб Колпакова, по ушам.

Роберт Иванович как размазался по стене, даже не думал броситься на помощь. Тогда крупная Дарья сказала:

– Ну уж этого нам не надо!

Схватила бабенку за шиворот и выкинула в коридор. Закрыла дверь на ключ.

Бабенка наскакивала на дверь, била в нее кулаками, кричала:

– Выходи, жирная сука, выходи! И тебя порешу! А, спряталась! – Вдруг саданула чем-то тяжелым в дверь.

Дарья распахнула дверь, уперла руки в бока:

– Ну?

Бабенка бросила огнетушитель, покатилося от нее по коридору, выкрикивала угрозы, мате-

рясь на всю организацию «Потребсоюз». Из дверей никто не выглядывал. Огнетушитель припадочно катался по полу весь в пене. Дарья брезгливо оттолкнула его ногой. Подальше от бухгалтерии. Снова закрыла дверь.

Колпаков уже сидел на стуле, бормотал: «Ничего, ничего. Всё в порядке. Бывает». Он был весь исцарапан. Пемзовый нос его разбит. «Ничего, ничего. Порядок. Надеюсь, между нами?»

Дарья театрально развела перед ним руки: «Да какой разговор, Федор Петрович! Только между нами! Никуда из этой комнаты! Могила!» – «Прости, Даша, прости! – все бормотал Колпаков. – Подвел я тебя. Прости!»

Роберт Иванович сидел весь красный. Не знал, куда смотреть. Золотой лысеющий черепок его вспотел. Он его отирал платком.

А вечером Федор Петрович Колпаков находился у Дарьи. Сидя на стуле в майке и трусах, пел, по-студенчески затачивал на гитаре. Нос его был залеплен пластырем.

*Заливайся, пой, гитара, как в последний раз,
Я сегодня словно пьяный вижу Вас...*

Дарья смотрела на него, подпершись ладошками, и не знала, что с ним делать. Не прикрытые ею груди в кружевном бюстгальтере походили на кексы.

Продолжая затачивать, Колпаков не без опаски поглядывал на темное незанавешенное окно. Опасался, наверно, оттуда камня.

Но над «Таёжной» в тот вечер висела чернота и тишь. Порёвывала только изредка маневрушка на станции, да заливались собачонки.

16.

Золотова ворвалась в бухгалтерию:

– Роберт Иванович! Деньги привезли!

Главный бухгалтер заготконторы оторвался от работы, спокойно сказал:

– Ну, что ж, Дарья Сергеевна. Очень хорошо. Объявите всем.

Продолжил сличать цифры в бухах.

Золотова исчезла.

Кассирша уже сидела в закутке. Стоговала купюры. Все быстренько выстроились в очередь. Двадцать семь человек насчитывалось в организации Потребсоюз. Включая и подразделение ее – заготконтору.

Два главных бухгалтера, Недобега и Зотов, как капитаны потонувших кораблей, получали последними. Пока кассирша считала Зотову деньги, тот нервно ходил возле стола. Левая рука его не разгибалась в локте. Он двигал ею, как пилой. Или крюком, который хочет что-то подцепить. Быстро расписался, схватил деньги и пропал.

– Вот, Роберт Иванович, – пододвинула ведомость Недобега кассирша. – Распишитесь. Ровно за четыре месяца.

Оставалось еще два часа до конца рабочего дня, но двухэтажный потребсоюз уже был пуст. Получив долгожданную получку, сотрудники разом разбежались. Кто в магазин помчался, кто на базар, кто побежал с деньгами прямо домой. Внизу осталась только Семеновна. Вахтер. Как всегда за столиком над развернутой едой, будто дожевывала свое лицо. Она любила на дежурствах *закусить*. Приняла от Недобеги ключ. Пошла, заложила за ним дверь на брус. Снова жевала. При двух огнетушителях на стене.

С крыльца Роберт Иванович почему-то не уходил. Пробежал Влазнев из Сельхозтехники: «Роберт Иванович, деньги ляжку жгут! – похлопал себя по карману. – Только надолго ль собаке блин, Роберт Иванович?» Роберт Иванович улыбнулся. Сошел с крыльца. Хотел перейти дорогу и узнать, получила ли Нина Ивановна деньги. Давали ли в райисполком, где она их получает. Но... вынул блокнот и написал ее золотым пером: *Люди, не забывают Михаила Сергеевича! Поддержи-*

те его! Он один знает! Он один ведет наш ледокол к свершениям и проявлениям ума. Сквозь бурю, лед и холод! Не забывают Михаила Сергеевича. Люди!

Роберт Иванович пошел по Профсоюзной в сторону дома. На глазах его были слезы. Он обегал блокнот у груди. Как что-то хорошее, чистое. Вышел на площадь: *Люди, не забывают Михаила Сергеевича!..*

На площади вместе с чьей-то пьяной фигурой вяло поколыхивалось время. На лысине Вождя крутил свой бесконечный полоумный танец голубь.

Однако уже через минуту остановившийся Самохин с удивлением следил за странным каким-то Недобегей. Возле памятника и пьяного мужика. Недобега словно призывал мужика маршировать. Был всего лишь октябрь месяц, до праздника еще три недели, облака над площадью тащило как грязные паруса, а маленький человек бегал вдоль сельского Ленина и показывал пьяному, как надо маршировать. Раз-два! Раз-два! Потом вдруг стал и замер. Будто в почетном карауле возле вождя. Или собираясь отдать ему почесть. В плечистом сером плаще, перетянутый поясом, как крест.

Пьяный погрозил ему пальцем. Однако пошел с площади довольно бодро. Растопыренным раком. Самохин покачивал головой, заходя в редакцию.

Не снимая плаща, Роберт Иванович дома долго сидел на кровати. Потом включил телевизор, хотел найти, посмотреть Съезд. Не нашел. Сняв плащ и переодевшись в домашнее, пошел на кухню. Вернулся с тарелкой творога и куском хлеба.

В телевизоре тем временем показывали американский старый немой фильм. Перевозимые заключенные на палубе парохода походили на возящихся полосатых тигрят. Стальными цепями были опутаны сплошь, как ожерельями... Перестав есть, Роберт Иванович ничего не мог понять: для чего они на палубе, куда их везут? А полосатые всё переваливались клубками, цепями утягивали друг дружку, казалось, просто весело играли на палубе. И весело шлепали воду плечами высокие колеса, и белое слепое солнце бежало по воде, не отставало от парохода ни на шаг...

Роберт Иванович отставил тарелку, раскрыл блокнот. Обнажил золотое перо... Ничего не смог написать! Ни слова! Не всегда, оказывается, телевизор мой помощник... Надо выключить его и дать отдых моему серому веществу. Слишком много на сегодня было всего. Переживания мои. Болел за Страну.

За стенкой ругались Ломтевы. Муж и жена. Хозяева жилья Роберта Ивановича, оплачиваемой заготконторой. Плакал их пятилетний Валерка.

Роберт Иванович хмурился. Больше не буду у них покупать молоко и творог. Постоянно пускают Валерку.

17.

С некоторого времени пятилетний Валерка Ломтев стал приходить к дяде Роберту Недобеге почти каждый день. Как к себе домой. Дядя Роберт подхватывал его под мышки и сажал на стул. Ставил перед ним *машину*. С уже вставленным листом. «Давай, Валерик!» И пальчонки Валерки начинали мелькать как крючки. Быстро-быстро. «Машина» трещала как тетерев на току хвостом! Валерка резко обрывал и кидался к двери. «Отличная машина!» – успевал крикнуть ему вслед Роберт Иванович.

«Да гоните афериста в шею! – кричала Надька Ломтева из огорода. – Роберт Иванович! В шею!» Роберт Иванович удивлялся: почему «афериста»? Да еще и «в шею»?

Летними затихающими вечерами, после работы за столом, Роберт Иванович любил для отдыха выйти и посидеть на крыльце. «Аферист» сразу начинал нарезать неподалеку круги. Ножонки перемещали независимые штаны – как пароход на лямках. Роберт Иванович шмякал ладошкой о крыльцо. Валерка сразу подбегал и садился рядом. Так и сидели они и смотрели на далекое маленькое солнце. Малышу, наверное, солнце казалось яблоком, висящим в красном сиропе в маминой банке на окне. Писатель выхватывал блокнот, заносил в него коротко, четко: *Закат был как дьявол! Как всегда!* Потом гладил стриженую, немного стесанную назад головку Валерки.

Сам Ломтев, отец Валерки, мужик с глазами как у коня, был вроде бы промысловым охотником. В пивной на площади он рассказывал: «Сижу высоко на пихте, на слегах – жду. Луна – как сатана: всё видно. Снизу, с земли тухлятиной наносит – заначка медведя. Прикиданная им листьями. Ладно. Час жду, второй. Вдруг слышу из оврага треск. Ветки ломаются. Идет, значит, карабкается Миша. Мама моя! Да их двое! Двухлетки к пихте выкатились! Но здоровенные оба. И уже листья раскидывают. Уже урчат, мясо тухлое жрут. Тут я свою промысловку осторожно опускаю, целую в крайнего – и жаканом его бац! Миша отпрыгнул от собрата. С изумлением. Мол, ты чего делаешь, козел? Кинулся и раз! раз! его по башке лапой. И пошли они драться! И заревели! И пошла у них драка! И покатились клубком в овраг!..»

Возвращаясь после таких «охот» домой, Ломтев, наверное, бывал зол как черт. Потому что жена его Надька сразу же с воплями скакала по огороду к соседям уже в порванном платьишке, удерживая за собой орущего Валерку. Сам медвежатник из дома не выходил.

Несколько раз Надька приходила к Недобеги. Молчком садилась в прихожей на табуретку. Подминала под табуретку ножки. Молодое, но спекшееся на огороде личико ее было изрезано тонкими морщинками.

– Что, опять гонял? – спрашивал Роберт Иванович, оторвавшись от своей работы.

– А вы будто не слышали! – обижалась Надька.

– Так ведь не пьет. Вроде трезвый. Зачем это ему?

– Ревнует, – вздыхала Надька.

– К кому?!

– Ко всем. И к вам тоже.

Ну, уж это! Роберт Иванович не находил слов.

Надька просила посодействовать, повлиять на мужа.

– Вы, Роберт Иванович, такой умный. Холостой. (Однако довод!) Он вас послушает.

Роберт Иванович даже краснел от слов Надьки, но всё же отказывался. Чужая семья, знаете ли, потемки. Советовал обратиться к Гальянову, участковому.

Иногда, идя утром к калитке, Роберт Иванович спиной чувствовал, как на него пристально смотрит Ломтев. Из своего двора. Роберт Иванович оборачивался, здоровался, продолжая спотыкаться. Ломтев ни слова в ответ, ни кивка. Стоял сутулый, сильный, исподлобья смотрел. Одной рукой, не глядя, как индеец томагавк, швырял топор. И топор врезался в столб сарая. Роберт Иванович покрывался потом. Однако на улице быстро записывал: *Какая небывалая мощь русского промысловика-охотника! Сколько удали и широты! Какая точная траектория полета топора! Небывалое дело!* А Ломтев сгребал своими клешнями дрова в беремя и нес их в сарай.

Всё менялось, когда он приходил в заготконтору за деньгами за квартиру. Он шел по коридору второго этажа и заглядывал почти во все комнаты. Как ученик, выгнанный из класса. Что он хотел увидеть в кабинетах потребсоюза – было непонятно. Он просто заносил свое лошадиное лицо за дверь – и выносил обратно в коридор. Как большой муляж, как неживой экспонат, который должны увидеть все.

В бухгалтерии у Недобеги он вдруг оскаливался в улыбке:

– Здравствуйте, Роберт Иванович!

От неожиданности Роберт Иванович вскакивал и замирал, но Ломтев опускал крупные свои глаза и уводил их за дверь. Он был смурнее самого Роберта Ивановича! В этом Дарья была всегда уверена!

Он выглянул как-то из-за угла своей половины дома и сказал Роберту Ивановичу, который сидел с Валеркой на крыльце:

– Ремнем его, афериста! Ремнем! – и захохотал. Но исчез. Как будто был кем-то удернут за дом.

Тем не менее Валерка мог ходить к Роберту Ивановичу когда захочет – Ломтев разрешал. Но стоило только Роберту Ивановичу появиться в своем дворе одному, да еще если Надька раком над грядами ходила – Ломтев сразу темнел лицом. Сжимал в руке топор или вилы. Роберт Иванович торопился поскорее выскользнуть за калитку.

Ну а бесстрашный Валерка однажды побывал у Роберта Ивановича даже в бухгалтерии. Роберт Иванович привел его, чтобы показать всем как чудо-ребенка, как вундеркинда. Посаженный на стул, Валерка сразу же застрекотал на громадной электрической «Оптиме». Пальчики-крючочки его быстро стукали клавишки. Ни один пальчик не цеплял соседние буквы. Это был профессионал. Дарья в изумлении привстала. «Оптиме» гремела в бухгалтерии как Кононовская таратайка на дороге! Роберт Иванович с гордостью смотрел на ученика.

Однако в библиотеке Валерке не понравилось. Валерка держал Роберта Ивановича за руку и на Нину Ивановну не смотрел. А та присела к нему и во все глаза разглядывала. Как будто это был неожиданный-негаданный «подарок» Роберта Ивановича. Привезенный от другой жены. И папаша стоял рядом с сыном и смущался. Дескать, вот: пришлось привезти, показать. Куда его ж его теперь, афериста?..

18.

Роберт Иванович сидел в библиотеке. Читал подсунутый Ниной Ивановной литературный журнал. *С новинкой*. Был хмур, недоволен. Иногда громко хмыкал и крутил у виска рукой: дурдом!

Нина Ивановна старалась не шуметь, мягко ходила возле библиотечной стойки, переключала на стеллажах книги по алфавиту.

Он повернул от настольной лампы свою черную щеку: «Вот, послушайте, что пишет ваш хваленый автор! “По дну ходили шуки. Закамуфлированные, как солдаты”. А? Как могут шуки быть солдатами? Да еще закамуфлированными? Шуки плавают как палки! Как бревна, в конце концов! Да просто плавают, и всё!» Он снова отворачивался к лампе. Он словно заглатывал её всю.

«Или вот: “Сосны стояли по горе как прихожане в храме”. А? Темная щека его даже потрясывалась от возмущения. «И такое на каждом шагу! Нет, читать это невозможно! И вы такое рекомендуете читателям. Странно!» Он отбросил журнал. Отвернулся, забарабанил пальцами по столу. Волоски на его макушке жарились в свете. Наверное, как и его мысли.

Нина Ивановна густо покраснела. Как бывало уже не раз. Точно опять пойманная им на нехорошем. Разоблаченная... Вдруг подумала: да он же бездарен. Просто бездарен! Но как бывает у верующих людей, когда они *усомневаются вдруг на миг*, только на миг, так же ужаснулась своему «открытию», сразу отшатнулась от него.

– Нет, нет! Что вы, Роберт Иванович! Вы не так меня поняли! Я ведь хотела вам... – начала было Нина Ивановна.

Но он вдруг повернулся. Глаза его были черны. Чуть не со слезами спросил:

– Почему вот таких печатают? А меня – нет? – Он потряс журнал и опять бросил на стол. Он был неузнаваем. Никогда не видела его таким Нина Ивановна.

На улице он сразу попрощался и пошел к себе на Вокзальную. Нина Ивановна смотрела с крыльца: наверное, устыдился своих чувств. Милый!

Она закрыла библиотеку и тоже заспешила домой. С новыми надеждами. С женскими своими надеждами. Всё будет хорошо. Он возьмет себя в руки. Он сильный. Сейчас у него кризис. Да, творческий кризис. Он преодолет его. Он сильный...

В окне стоял лунный свет. У Колупаевых лаяла Жулька. Заливалась. Тявкала, по-видимому, на луну. Нина Ивановна никак не могла уснуть. Перекидывалась то на один бок, то на другой. Тарашилась в потолок. И вновь поворачивалась к окну. Лежала, словно растворив взгляд в лунном свете...

...Колпак опять стал приставать. С носом своим. Как со шлемом. Красавец. Писанный. Уже откровенно пристаёт, нагло. Садится на стул прямо напротив меня. С развернутой ненужной газетой. И лыбится. Откровенно разглядывает. Читатели тут, не читатели, ему все равно: глаза веселенькие. Как у опрудившегося на именинах пацана. Бросает газету на стол и уходит. Довольный. Крепость под названием Нинка в полной осаде. Никуда не денется теперь чертовка. Гад. Говорить Дарье или не надо? Роберту может нагадить. Впрочем, все держится в конторе на главном бухгалтере. Колпак это понимает, отлично понимает. Как ходит такой алкаш в директорах – непонятно.

Да ладно о нем. Роберту Ивановичу что говорить, как держаться с ним? Не видит, не слышит слова, фразы. Фантазии ноль. Зачем писать? Самохин говорит, больной. Да и Дарья всегда хохочет. А тут плакать надо, жалеть. Как помочь ему? Зачем продолжает упорно писать? Неужели не понимает? Ведь смеются все, а я только подпеваю: пишите, Роберт Иванович, дорогой, работайте, у вас все получится. Журналы подсовываю, править пытаюсь его галиматю. Ведь из всех журналов уже отлупили. По второму, по третьему разу пошел. О господи-и...

В окно пришел месяц. Торчал. Как клык. Как африканский амулет.

...отец был в Африке. Строил Асуанскую ГЭС. На фотографии большое молодое лицо смеется на фоне плотины просто как на фоне расчески, сунутой в реку Нил. Ваня из Таёжной, ставший первоклассным инженером. Баба Катя гордилась сыном, поглядывала на подружек свысока. На тех же сестер Ерошиных. Там-то пьянь, а не дети, а тут инженер. Одна вырастила-выучила. Пока Ерошины-сестры мужиков меняли. Не приехал отец этим летом, болеет. Никак не соберусь в Новосибирск, звонками только отбиваюсь. И всем понятно из-за кого. Дашка стыдит постоянно: забыла родителей с этим придурком. Права подруга. Забыла. Но как помочь, как вывести его из этого полудурства. Ни разу не обнял, не поцеловал. Ведь был женат. Любил, наверное. Спал с женой. Сейчас как внук. Одно в башке: «Нина Ивановна, послушайте: *Кони шли подпрыгивая. Весело кидали за себя грязь.* Правда, отличная картина, Нина Ивановна?» О боги! И ведь этот человек много страдал. Трагически потерял родителей. Скитался, работал на заводе. В горячем цеху. С больными своими ногами. Учился потом, работал бухгалтером. С ободранной душой бежал от стервы-жены. Хотя очень любит детей и мог бы стать хорошим отцом. Ведь не забыть мне, как он держал Валерку Ломтева за руку. Как стеснялся за это передо мной...

Нина Ивановна заплакала. И еще долго перебирала в душе всё. Вспоминала, казнила себя за что-то и опять плакала.

На стене в углу тихо умирали часы.

19.

Она пришла к нему через два дня. 4-го ноября. Поздоровавшись, сразу сказала:

– Роберт Иванович, одевайтесь для леса! Идем по грибы! Погода отличная. Воскресенье. Дарья ждет на улице.

Сама уже в штормовке, в резиновых сапожках, толстом свитере, берет на голове.

Недобега как будто не услышал приглашения. С каменным лицом слепого он перебирал в руках какой-то шнурок.

Поднял на нее глаза и впервые по-человечески тихо спросил:

– Может быть, мне не хватает чего-то, Нина Ивановна? Может, у меня просто нет таланта? А? Может, мне бросить все это?..

Нина Ивановна задохнулась на миг, к ней мгновенно подступили слезы... Но опять предавая и его, и себя, забормотала:

– Что вы, Роберт Иванович! Что вы! Способности у вас есть, есть! Вам просто нужно много работать. Как и любому писателю. У вас всё впереди...

Пока она говорила все эти пустые слова, он смотрел на нее неотрывно, напряженно. Верил и не верил. Как верят и не верят неизлечимые больные... Она замолчала, и он сразу потух.

– Нет, Нина Ивановна... Сегодня я не в состоянии куда идти... Простите...

Она говорила еще что-то, шла к прихожей. Взглянула на него в последний раз... и вышла.

Он остался один.

Через час, одетый для леса, он посмотрел на блокнот и ручку с золотым пером на столе... Подошел, нагнул колпачок на перо, ручку и блокнот опустил в боковой карман плаща.

Во дворе подбежал Валерка Ломтев, чтобы тоже идти в лес. И одет был как надо: в пальтишко, в резиновые сапожки, папкин кемель на голове. Роберт Иванович погладил, потрепал его голову, но за калитку вышел один.

Уходил от станции к хлобыстинскому лесу. Из облаков к земле пробивались дымящиеся лапы солнца. Недобега зыбился в белом тумане, исчезал, снова появлялся. Как белый подбитый лунь, коротко перелетающий и бьющийся на дороге.

В лесу ходил, ворошил на земле палкой павшую листву. Вокруг березок, возле сосен. Изредка кричал: «Нина Ивановна! Дарья Сергеевна! Ау-у! Где вы-ы?» Меж сосен тоже дымились столбы белого света. Вверху, в кронах, резко вспыхивало, сгорая, солнце. Однако Роберт Иванович оставался возле невысокой березки, похлопал ее по стволу, потом записал в блокнот. По-своему: *Милые русские березки! Мне не забыть вас никогда! Вы незабываемы!*

Снова ходил и искал грибы. Глубоко вдыхал лесной воздух, лицо его раскраснелось, в ушах стучало сильное сердце.

Нину Ивановну с Дарьей так и не нашел, но в лесу оставался до вечера.

Уже в шестом часу он вышел из сосен в подлесок. С корзинкой на руке, где было десятка два грибов, и палкой, как с посохом.

Какие-то парни уходили к закату и с дикими воплями, кидаясь, убивали длинными толстыми палками ольховые деревца, березки. Вламывались в карликовые ивы. От ударов палок ветви ломались с сырым хрястом.

Роберт Иванович хотел повернуть назад, в кусты, в лес, но стоял как вкопанный. Неожиданно крикнул:

– Молодые люди!

Парни обернулись.

– Вы почему нарушаете экологическую систему леса? Ведь подлесок – это необходимый компонент любого леса! – голос Роберта Ивановича дрожал, по-петушиному срывался.

Парни уже подходили.

В следующий момент его сильно ударили по голове. Почему-то сзади. Он скукожился, зажался, ткнулся в траву. Из упавшей корзинки рассыпались грибы...

Большие черные парни долго плясали в низко сквозящем закате. Взмахивали палками. Потом расшатались и исчезли. В красном закате остались покачиваться черные шляпки крестовника...

Только утром наткнулись на Роберта Ивановича...

Нина Ивановна плакала в больнице у его кровати: «Вот письмо, Роберт Иванович. Из «Нового мира». Вот конверт, посмотрите. Сама Калинина с почты принесла. Даже не стала бросать к вам в ящик, а сразу ко мне побежала. Вот здесь написано: “Ваше произведение *Дом на железной дороге* мы переслали в “Литературную газету”. В отдел “13 стульев”. Ждите оттуда ответа. Творческих вам успехов!” Вот видите, Роберт Иванович. Поздравляю вас, поздравляю...»

– Спасибо, – прошептал Роберт Иванович и закрыл глаза.

На рассвете другого дня долго висела в голых деревьях за площадью белая луна. Внизу, подтопля деревья, бежала речка Калинка. В хлобыстинском лесу осторожно гулял у земли близорукий первый снег.

БИЛЕТ В КАТМАНДУ

Повесть

I.

Когда эта дрянь выходила замуж, я лежал под обстрелом. Она позвонила недели за две и поделилась радостной новостью; а в голосе было столько счастья, что у меня не хватило сил прервать ее монолог... Да, нужно было сбросить вызов, нужно было разбить телефон, напиться в этот же вечер и послать ее к чертовой матери! Но вместо этого я глупо улыбался и мямлил: как здорово... поздравляю... а когда свадьба?.. Я словно видел ее воочию в тот момент: рыжие густые волосы непослушно спадали с плеч, она размахивала руками, вся внезапная и увлеченная; и еще хохотали от радости ее глаза... Ни у кого больше не видел таких смеющихся глаз! Мы мило попрощались, она поклялась, что лучшего друга, чем я, у нее не было и нет. И все! Нет, было потом ожидание, вязкое, как моя слюна на последнем километре инженерной разведки: не сплунешь, обязательно на маскхалате повиснет. Каждое осознанное мгновение было завязано на мобильном телефоне – вот сейчас он заверещит, затрясется, засветится милой и родной фотографией, а на другом конце страны самый узнаваемый на свете голос скажет, что это все шутка, розыгрыш, что никакой свадьбы нет, что меня любят и ждут...

Только в кино воюют красиво. Командир кричит: «Вперед, пацаны, прорвемся!» И они, конечно же, прорываются. Ну а что им остается делать? Нельзя обманывать ожидания зрителя. Он должен сопереживать и гордиться. Молча скорбеть и яростно проклинать страшных бородатых людей. У нас до черта таких фильмов снято.

Реальный бой противен и страшен. Все кочки кажутся маленькими. Отстреливаешься не глядя, абы куда. И шепчешь про себя спасительную мантру: «Только не меня... Только не меня...» Я даже весь боекомплект не расстрелял.

По нам долбили из полуразрушенных зданий по краям дороги, а потом выдвинулись вперед наши БТРы из группы прикрытия и расстреляли эти дома из КПВТ. Это такой пулемет, только очень большой. Патроны толщиной с два пальца. Деревянные стены были разорваны, как листики испорченной бумаги. Через минуту все было кончено.

А бородатых людей не было. Мы выносили из домов и грузили в «Урал» детей лет по шестнадцать. Черт возьми, на что они надеялись? У них даже гранатометов не было. Я запомнил одного. У него судорогой свело пальцы, и мы тащили его прямо с автоматом, я за ноги, а Немец поддерживая за плечи. Я запомнил его только потому, что в тот момент подумал о ней...

...Машина подъезжает к загсу. Это не лимузин, но какая-то иномарка. Белая. Обязательно с колесами. Вера выходит из нее, светлая и воздушная, словно дюймовочка выпархивает из бутона розы, какой-то принц берет ее на руки, а она обнимает его, смеется и что-то шептывает ему на ухо...

– Давай, Филя, на раз-два-три закидываем.

Я держал труп за ноги, а он мертвыми глазами смотрел на меня... Ничего нет страшнее мертвых

Дмитрий Филиппов родился в 1982 году в городе Кириши Ленинградской области. Закончил филологический факультет Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. Работал педагогом-организатором, грузчиком, продавцом, подсобным рабочим, монтажником вентиляции. Служил в армии на территории Чеченской республики. Печатался в журналах «Знамя», «Север». Сборник прозы «Три времени одиночества» (СПб: Геликон Плюс, 2011). Живет в Санкт-Петербурге, работает заведующим студенческим отделом ЛГУ.

глаз. В них можно утонуть и никогда больше не выплыть на поверхность.

– Давай! Раз... Два...

Мы закидываем его в кузов, но автомат цепляется за раскрытый борт и тело падает.

– Твою мать! Уроды безрукие! – это Авдей кричит нам из кузова.

– ...Согласна ли ты, Вера Громова, взять в мужа...?

– Да.

Ни тени сомнения в голосе. Как она прекрасна в этот момент! Я стою незримым свидетелем. Не среди гостей, нет, – в уголке у двери, готовый уйти в любой момент, если меня заметят.

– Объявляю вас мужем и...

– Спиной! Спиной его подавайте!

Вторая попытка оказывается удачной. Тело в кузове. Это не человек уже, это кусок мяса. Мне его не жалко. Ничегошеньки не шевелится. Таким же куском мог оказаться и я. Мы с ним были на равных. Может быть, это я его убил...

Он очень долгий, этот первый законный поцелуй. Родители смотрят и умиляются, гости понимающе перешептываются, а я стою, смотрю и вспоминаю наш с ней первый поцелуй на балконе Дома вожатых. О, Вера умела целоваться: сладко, нежно, игриво и как бы делая одолжение, так что каждый поцелуй считался наградой, его надо было заслужить, вырвать с боем!.. Но его она целует по-другому: доверчиво, неумело и даже стыдливо. И эта детская робость сказала мне все, чего она сама не посмела произнести.

На шее убитого висел какой-то амулет. Я небрежно сорвал его и жестом мародера сунул в карман.

– На хрена тебе? – спросил Авдей.

– Трофей на память.

– Ну да, уши резать устав запрещает.

Мы весело смеемся. «Урал» трогается, увозя тела убитых детей.

В части нас встречают как героев.

– Молодца, мужики!

– Двухсотые есть?

– Нет, только Краву зацепило...

– Хуйня, оклемается! Шрамы красят мужчин.

– Писанины вам до хрена предстоит. Рапорты, объяснительные – все посекундно.

– Это уж как положено! Только завтра. Сегодня бухать будем.

Мы с Немцем сели в курилке. И вдруг оба поняли, что совершенно не о чем говорить. Во время боя просто не успеваешь все осмыслить. Мысли несутся вереницей, страшно до чертиков, но в то же время понимаешь прекрасно, что если запаникуешь, если страх окажется сильнее тебя – все, крышка! Он – страх – продолжает ухать еще в животе, а мозг уже отключается, и тело само принимает решения: перекачивается, вскидывает руки, открывает огонь. А ты как бы со стороны за этим всем наблюдаешь... Но это все там, это когда опасность! Грохот выстрелов тогда стоял безумный, но не было времени на него реагировать. И только в курилке треск очередей вдруг обрушился во всей своей первозданности. У Немца затряслись руки, слезы появились из глубины глаз. Он задыхал часто-часто и глубоко.

– Сейчас... Это чего-то накатило... Сейчас все пройдет...

Но слезы не проходили.

– Да что за... Твою мать! Вот ведь... Плачу! Филя, реально плачу! – он полувсхлипнул-полусмехнулся.

– Давай водки накатим?

– Давай.

Я бы тоже заплакал, если бы не думал о ней...

Праздник в самом разгаре. Но нет шумихи, нет традиционного тамады, никто не напивается. Гости все интеллигентны, аккуратны и своей внутренней культурой словно подчеркивают

ответственность момента. Молодые не пьют совсем. Берегут силы для ночи...

– Друзья, а не кажется ли вам, что грибочки горчат?

– Да, да, горьковаты...

– Горь – ка! Горь – ка! Горь – ка!

Вера и ее муж смущенно встают...

Мы пили одну за одной, но водка не ударяла в голову. Только живее вспоминался бой, в кра-
сках и всех подробностях.

– Я взрыв сначала услышал. Вижу – Крава лежит, за голову держится. А потом все началось. Вот ведь, – Немец шумно высморкался. – Пули, блять, реально свистят. Вот свистят ведь... Но я точно помню, что завалил одного. У меня место удачное было. Рядом с деревом бугорок... или холмик – хрен проссышь; так я в эту ложбинку и залег. Пули все в дерево – а я даже целиться спокойно мог. Ну, все как учили! Мушка, там, прицел. «Чех» высунулся один, я его и снял. Оди-
ночным. Вот ведь, бля... – он прервался, чтобы накатить еще одну стопку. – А ты мочканул кого?

– Не знаю.

– Как так? Видно ведь, – Немец снова высморкался и обтер пальцы о штанину маскхалата.

– Да вот так. Я не в ложбинке лежал.

– Это я – что? Левый что ли?

– Не вникай.

– Нет, ты объясни мне. Ты, может, предъявить хочешь? – Немец явно злился.

– Леха, чего ты завелся? Я в душе не ебу, попал или нет. В меня стреляли – я отстреливался. Все. Мы накатали еще по одной. Дрожь отпускала. Все возвращалось на круги своя. Мы вернулись в прежнюю спокойную жизнь живые, а самое главное – прежняя жизнь вернулась в нас.

– Когда все закончилось, я о машине своей подумал. Прикинь!? О машине! – Немец засмеялся, подавился соленым огурцом, замахал руками. А когда откашлялся, продолжил: – Не о маме, там, не о доме. А о машине. Я ее месяц назад купил, когда в отпуск ездил. Ну, ты помнишь...

– Да-да.

– Вот ведь! О машине! Вот если бы меня завалили сейчас – кому бы она досталась?! И так обидно стало!

– Не завалили же.

– Это понятно. Только все равно обидно было. А ты о чем?..

Она обнимает его за плечи, прижимается, льнет всем телом и преданным взглядом смотрит в глаза. Они танцуют. Звучит Михай и Джуманджи, «Сука-любовь». Я танцую недалеко от них с подружкой невесты, и порой мы оказываемся настолько близко, что я мог бы коснуться Вериных волос. До меня долетают отрывочные фразы: счастлива... люблю... в моей жизни... Интересно, что она рассказывала ему обо мне? И рассказывала ли вообще?.. У нее ничего не осталось на память от меня. Ничего. Нет, вру! На 8 марта я подарил ей серебряное кольцо с полудрагоценным камнем. Вера сказала спасибо, поцеловала меня, но никогда не надевала это кольцо... При мне – никогда! И теперь точно не наденет: золото с серебром не смотрится.

Музыка заканчивается, но какое-то время они продолжают стоять в обнимку. Наконец, рас-
ходится, он берет ее за руку и выводит в центр банкетного зала.

– Дорогие друзья! Мы все благодарны вам за то, что вы пришли. Но сейчас мы вас покинем. Вы только не расходитесь, пейте, ешьте, отдыхайте. Свадьба продолжается! – голос мягкий, бархатный.

Он накидывает ей на плечи плащ, и они идут по направлению к выходу. Я сажусь за стол. На-
ливаю себе водки. Опрокидываю залпом.

– Сука! – кричу ей вслед.

Гробовая тишина. Десятки взглядов готовы испепелить, сжечь меня живьем со всеми грехами и потрохами.

– Сука! Сука! Сука!

Она не слышит. Она уже едет в машине.

Я лежал в койке и мечтал провалиться в сон. Отбой был два часа назад, но в душе все переворачивалось с ног на голову. Я мог оказаться в их спальне, мог с мазохистским восторгом наблюдать за сплетением тел, слушать их стоны... Я все это мог! А потом, когда бы все закончилось, с развороченным сердцем затушил бы свечку и заснул.

Я не хотел на это смотреть. Именно поэтому кому-то суждено в бессилии грызть подушку всю ночь, исходить беззвучным ревом, курить каждые полчаса, кусать пальцы, чтобы они не тянулись к телефону, вслушиваться в кавказскую ночь, сжигать фотографии в казарменной буржуйке – а кто-то за тысячу километров отсюда будет трахаться.

Спи спокойно, Верочка. Я не смотрю.

2.

Мои первые дни в армии были похожи на затянувшийся сон. Не из разряда кошмарных – нет, а просто мутный (бывают такие), когда запутался и ничего не можешь понять, а персонажи размыты и обезличены, и меняются, как слайды из диафильма.

Меня призвали в конце ноября, но в действующую часть я попал в первые дни зимы поздно ночью. Уставшие и настороженные, неуклюжие в выданной не по размерам форме, мы – новобранцы – призыв 6-2 – брели по плацу за ответственным офицером, а уже из всех окон казарм высывались виноградными гроздьями бритые головы.

– Вешайтесь, духи! Вешайтесь, духи!

Казалось, это кричали не люди, а камни домов, турники, площадки и ограды; и в такт им подхватывал те же слова памятник неизвестному солдату, обшарпанный со всех сторон.

– Вешайтесь, духи!

Это кричал сам воздух.

– Вешайтесь...

Слова не пугали. Вселяли легкую тревогу, но страха не было. Просто границы реальности еще не окрепли. Действительность предстала передо мной каркасом без несущих балок. Еще несколько минут назад там, за оградой, был совсем другой мир, правила и законы которого я знал в совершенстве. Но вот закрылись ворота – и этот мир перестал существовать. Возник новый, непривычный и неизвестный. Законы нового мира я еще не знал, поэтому в слепоте своей пытался примерить к нему законы старые и всем известные. Но авантюра не удавалась, и даже за попытку никто спасибо не сказал! Реальность с ходу отрыгнула слабые потуги на компромисс. Повисите пока в безвременье. А еще лучше...

– Вешайтесь, духи!

Размещение. Баня. Вода чуть теплая – и это первый закон новой реальности. Полубогами кажутся бравые молодые парни, спокойно распределяющие кровати между новичками. Это армия? Она действительно такая?

Следующий день не избавил меня от ощущения сна. Нам под запись диктовали правила уставов, учили азам строевой подготовки. Каждому определили порядковый номер, тумбочку, кровать, велели проклеить форму и нашить бирки с фамилией на китель, шапку, варежки и бушлат. Нас учили, как правильно заправлять кровать и набивать кантик, как пришивать подворотничок; объясняли, что полотенце должно висеть на дужке кровати у изголовья, на расстоянии двух пальцев от края. Нам показывали, как правильно наматывать портянки, как выравнивать полосы на одеялах, растянув по всему периметру кроватей белую нитку... И все это казалось естественным и правильным. Никто никого не бил. Покрикивали – да, иногда обносили матом, но это же не самое страшное в жизни! Ерунда, можно и потерпеть.

С этого «потерпеть» все и начиналось. И я не замечал, как час за часом, день за днем нас, взрослых по сути людей, загоняют в рамки нашкодившего ребенка, которому постоянно придется оправдываться. Почему не брит? Почему подшива не постирана? Почему нет иголки под закладкой головного убора? Что у тебя в карманах? А где твои тетради и ручки? Ах, ты еще и в туалете покурив! Ну не падла ты после этого?!

Новые законы и правила вытесняли из сознания старые. Существовать бок о бок им было просто невозможно: опять же – контраст, опять же – противоположность! Менялись законы – менялось отношение к действительности, манера поведения. И только в редкие минуты спокойствия нападала беспричинная тоска, и рвалось из глубины человеческого существа: я не такой! освободите!

Дисциплина, порядок и устав, самоконтроль и беспрекословное подчинение – да! Это армия! Но в непогрешимость и правильность этой модели мешал поверить ряд незначительных с виду изъянов.

Как первое – разница положений. Определенные привилегии для одних и отсутствие таковых для всей остальной массы. Большей частью, привилегии носили бытовой характер: мытье полов, уборка территории, порции в столовой, курение в туалете, толщина подворотничков, право пить чай в расположении роты... И еще много другого, с виду незначительного, неброского. Но насаждение этих мелочей надрывало действительность, и образовывалась пропасть между молодыми и старослужащими. И в какой-то момент меня поразила пришедшая в голову мысль. Я как сейчас помню, сидел в туалете в позе лебедя, страдал животом и вдруг подумал: «Дедовщины-то не существует!» Все то, что называется дедовщиной – следствие разности армейского опыта. И это – второй закон. И ничего не изменить в этой системе, поскольку в нее начинает влетаться человеческий фактор.

Настал, наконец, момент, когда отголоском далекого прошлого вспомнилось: «Вешайтесь, духи!». Прошел месяц, и это было воспоминанием из другого мира, из другой жизни. Это было началом ее конца.

А еще есть понятие безграничной власти. Хорошо помню один момент. Я спал. Не помню, что именно снилось, но что-то хорошее: то ли пиво, то ли Вера... А разбудил меня удар под дых.

– Что, сука, спать полюбил?

Я согнулся в кровати и тут же получил второй удар по лицу, но уже беззлобный, несильный, а так, для проформы, чтобы проснулся быстрее.

Рота лихорадочно выстраивалась на «взлетке» по форме «раз» – кальсоны и тапочки, и в одно мгновение я вобрал в себя общее беспокойство и суету.

Орал старший прапорщик Фарзуллаев:

– Гнойники! Пидарасы вонючие! Я вам всем пробки в жопу воткну, чтобы пердеть разучились. И уже обращаясь к дневальным:

– Открыть форточки!

В казарме действительно стоял душок, но это естественно, когда семьдесят здоровых парней поужинали подтухшей капустой и спят под одной крышей. Сержанты ходили злее собак – им в очередной раз не дали поспать. Мы заспанными глазами глядели на мир, но ничего хорошего не видели: весь он в своей неохватной широте, от Новой Земли до Антарктиды, от улыбки ребенка до поцелуя любимой сосредоточился в переносице старшего прапорщика; мир не хотел принимать свои прежние размеры, пока мы не искупим свою вину.

Старшина еще поорал и лег спать, а рота провела остаток ночи в упоре лежа. Прошел всего месяц с момент призыва. Мы уже приняли присягу, прошли курс молодого бойца. Мы уже перестали быть гражданскими людьми. Новый порядок вещей уже вытеснил былые привычки. А самое главное – мы уже начинали верить в правильность такого порядка. И то, что он противоречит всем законам этики, человечности и морали, ничуть не смущало. Мы по капли выдавливали из себя свободных людей и превращались в машины для исполнения приказов.

Все то, что поначалу казалось затянувшимся сном, медленно, но верно оформлялось в реальность. В этом не было нашей вины; в этом не было нашей заслуги. Законы времени и обстановки незаметно делали свое дело, и сном уже стала казаться моя прошлая жизнь. Я грезил о ней ежесекундно, как о потерянном рае, но сама возможность вернуться в прошлое отодвинулась за горизонт доступных пределов. Оставалось жить и мечтать, заглатывая временами подступающие слезы.

Я начал привыкать и к форме, и к еде, и к распорядку дня. Все оправдывалось одним простым

словом – армия. Дома от него веяло романтикой мужского дела. Реальность оказалась прозаичнее.

Каждая мелочь имела свое название и место, и упорядоченность всего и вся отменяла любые проявления свободной воли. На каждое человеческое желание существовало правило, закреплённое уставами. Армейская машина не останавливалась ни на секунду, мчала вперед, громяхая колесами приказов, распоряжений и директив, готовая без жалости сбить любого, кто встанет у нее на пути.

Форма и бритая голова – всего две составляющие, чтобы обезличить человека, лишить его свободной воли. И все становятся похожи друг на друга, как две капли болотной воды. Ластиком формы с нас стерли бывшие таланты, ум, возраст – и с чистыми душами мы предстали перед волчьим взором старослужащих, чтобы заново определить для себя место в этой стае. Не верилось, что когда-то они были такими же, как и мы. Этого просто не могло быть. Их призвали сразу же вот таких вот: уверенных в себе, жестоких, равнодушных и сильных.

Забудь о прошлом и живи настоящим, и доказывай в этом настоящем, что ты чего-то стоишь, что ты не тряпка и готов соответствовать... Чему? Да все тому же волчьему быту. А если ты другой, непохожий – терпи и смиряйся; или ломай свое существо, выравнивай звучание души в унисон с общим воем.

3.

В один из последних вечеров перед призывом в армию мы с Верой были на Юркиной свадьбе. Море вина, богатый стол в ресторане... Мы искренне веселились, и казалось, что момент расставания уплыл в необозримые дали; а вечер расплескивал счастье полными горстями: мы подставляли улыбающиеся лица, держались за руки и украдкой целовались.

Невеста поворачивается спиной к гостям, бросает через голову букет, и этот маленький цветной комочек летит в Верину сторону, точно ей в руки. И вдруг откуда-то со стороны, сбоку – перст судьбы, насмешка богов – вылетают напряженные озлобленные руки, вгрызаются в бутон красного тюльпана и судорожно тянут букет на себя. Заминка, неловкая пауза. Две девушки стоят друг напротив друга и держат букет, который из символа будущего счастья в одно мгновение превратился в соцветие истерзанных лепестков. Но пауза длится недолго. Вера в силу врожденной интеллигентности разжимает ладони, опускает глаза. Взгляд, еще минуту назад такой искристый, по-детски счастливый, – потухает.

Но торжество продолжается, и снова танцы, вино, тосты... Поздно вечером мы приезжаем домой, распаиваем бутылку «Саперави» с горьким шоколадом, устраиваем эротическую фотосессию и до потери сил занимаемся любовью.

– Ты будешь мне изменять?

– Конечно! – она заразительно смеется.

– Ты с ума сошла? – я принимаю угрожающую позу. – Молилась ли ты на ночь, Дездемона?

– О да, мой господин! – снова взрыв заразительного смеха. Я уже говорил, что она одна на всем свете может так смеяться?

– Вера, я серьезно!

– Глупый, ну зачем ты задаешь такие вопросы... Откуда я знаю?

– Ты неделю назад вообще пожениться предлагала.

– И сейчас предлагаю. Но это из другой области.

– Какой еще области! Есть ты, есть я, мы любим друг друга. Откуда взяться измене?

– Я ненавижу лгать – ни тебе, ни себе самой. Год – это слишком большой срок, чтобы чего-то загадывать и, тем более, что-то обещать. Я не хочу тебе изменять! Чувствуешь разницу? Но не хочу сейчас, в этот день и в эту секунду. Если бы я с легкостью могла сказать: да, милый, обещаю хранить тебе верность, сама бы завела на этот год любовника, или даже двух, перед твоим возвращением рассталась с ними и с невинными глазами вышла тебя встречать на перрон с букетом цветов... Если бы я все это могла, разве ты смог бы меня полюбить?

Она всегда умела находить нужные фразы. Спорить с ней было бесполезно, все равно, что объ-

яснять кошке, как правильно есть сметану. С умным видом выслушает, но лакать будет по-своему.

– Нет, не смог бы.

Она прижимается щекой к моему плечу.

– Я правда не хочу тебе изменять. Но очень боюсь, что пообещаю тебе то, чего не смогу выполнить.

Эта невозможная честность наших отношений пугала и волновала одновременно. Каждый день просыпаясь с ощущением того, что хрупкий мир может быть разрушен: вот возьмет она в руки увесистый булыжник и зашвырнет с размаху. Стеклопанная стена всхлипнет, изойдется трещинами и рассыплется на множество мелких осколков. А мне останется только стоять возле кучи битого стекла и остервенело размышлять: идти ли строить себе новый мир или склеивать по кусочкам этот.

– Ты можешь мне обещать, что не будешь изменять тупо ради секса?

Она закрывает глаза и отворачивается к стенке. Натужно скрипят пружины в стареньком диване.

– Нет. Этого я тоже не могу обещать.

Долгое время мы просто молчим. Наконец она медленно поворачивается ко мне, нежно обнимает и шепчет в самое ухо:

– Я могу обещать тебе только одно! Что бы ни случилось – я тебя дождусь! Буду ждать все эти месяцы и времена года! Клянусь тебе!

4.

Присяга не оставила в моем сердце никакого следа. Помню только, что было очень холодно. Нас вывели на плац в тридцатиградусный мороз, поставили по стойке смирно, и началась клоунада. Каждый по очереди подходил к командиру роты, тарабанил заранее заученный текст, судорожно сжимая автомат, ставил закорючку в ведомости о принятии присяги и возвращался в строй – считать ворон, мерзнуть и мечтать о теплой казарме. Я пытался найти хоть какой-то смысл во всем происходящем, отыскать зерно, ради которого стоило три часа торчать на морозе, ежесекундно поджимать пальцы ног, пытаться разогнать остановившую свой ход кровь... Тщетно! Его отыскал Слава Галактионов, стоявший рядом.

– Ко мне сегодня предки приехали. Пойду в «увал». Поскорее бы здесь все...

Увольнение! Это слово мы произносили полупрошептом, не смея прикоснуться к его великому таинству. И как прошлое, как гражданская наша жизнь, – увольнение было из разряда сказочно-го, фантастического. А значит – запретного. Сержанты ходили в увольнение раз в несколько месяцев. Курсантов, то есть нас, отпускали лишь в случае приезда родителей. Это был закон. Ко мне в день присяги никто не приехал. Как и ко многим другим ребятам. Мы остались в роте смотреть скучный боевик и кусать локти, жгуче завидуя немногим счастливицам.

Пришедшие на следующий день, они снисходительно рассказывали байки о своих подвигах, перевирая, верно, с три короба, но даже эта заведомая ложь отдавалась в моей душе райской музыкой. И снова отголоски зависти и тоски; и снова вопрос: почему не я? ну почему? А ответов, как всегда, нет.

Курсанты учебной части. «Чекисты». «Духи». Нашего прибытия ждали, но никто нам не был рад. И внутренний мир наш был никому не интересен. Так относятся к кухонной посуде: моют, выстраивают ровными аккуратными рядами на полке, но по ленивому настроению ее можно оставить неуклюжей горой в раковине, а под горячую руку и разбить не жалко.

По-особому вели себя дагестанцы. Они приехали последней командой уже после присяги и совсем не казались спустившимися с гор дикарями. Высокие, крепкие, гордые – один их вид внушал невольное уважение. У всех купленное высшее образование и гипертрофированное чувство собственного достоинства. Дети гор, решившие повзрослеть. При малейшей попытке нарушить их принципы, убрать их в глубину существа, высвечивалась звериная часть их непростой породы. Они били сильно и без раздумий, невзирая на звания и положения. Держались всегда вместе, одной семьей. В этом единстве и была их сила. Сержанты знали это – и не трогаи.

Они быстро успели изучить армейскую иерархию, выявили сильных и слабых, возможные

привилегии, обязанности и наказания. Так же быстро они усвоили, что «западло» ходить в наряды, убираться в расположении роты и заправлять за собой кровати; их звериная натура отводила право курить в туалете и носить носки вместо портянок, иметь сотовый телефон и хранить продукты в тумбочке. И словно в отместку за шаткое положение своего народа, они сели на шею младшему призыву. Самых слабых и забытых заставляли стирать свою форму, отбирали деньги и посылки, отправляли гонцами за сигаретами. Из всех человеческих качеств дагестанцы уважали только силу, не видя никого вокруг, кто был бы сильнее их самих. Сержантам было проще договориться с ними, заручившись помощью в поддержании порядка и дисциплины. Те же взамен получали положение неприкасаемых. Вкус силы и власти порождает вседозволенность, и этому пороку они были подвержены поголовно. Сам ритм жизни шел им навстречу – этот фантастически ровный армейский ритм. Он поражал и подчинял. Каждый день как две капли воды был похож на предыдущий. Но неизбежность общего распорядка надрывалась нестройностью человеческих положений. В рамки уставов не вмещались глаголы «шарить», «шуршать», «мочить», «гаситься», «суетить». Неопределенность их формы только подчеркивала четкость семантической структуры каждого действия. А в устах сержанта эта структура расслаивалась на два смысла: в зависимости от интонации, можно было «выхватить» или «упасть на очки». Нестройность этого ритма гипнотизировала – и вот уже зачарованные кролики вместо людей бегали по утрам на зарядке, убирали снег, выкладывая его ровными кубиками, мыли полы и матом рассуждали о мужском характере.

На беспредел дагестанцев можно закрывать глаза только до тех пор, пока это не касается лично тебя. Дьявольская особенность их поведения в армии в том, что им мало иметь в подчинении прослойку из слабовольных солдат. Их силу должен прочувствовать каждый: нутром, почками и печенкой; чтобы исключить даже возможность какого-либо протеста. Чтобы ты, червяк, осознал раз и навсегда, кто в расположении хозяин; видел их откровенную неприязнь к русским и укреплял ее своим безвольным поведением. А дальше – как карта ляжет: либо со страхом смотреть, как издеваются над другими, либо взвалить на себя эту ношу унижений. Кавказ – дело тонкое.

5.

Это была не драка, а бойня. Так волков загоняют за флажки, чтобы потом жестоко и хладнокровно расстрелять: без эмоций, с сознанием собственной правоты. Нас было четверо: я, Пашка Зотов, Слава Галактионов и Никита Совко. Четыре человека из всей роты, кто отказался заправлять дагестанцам кровати, бегать за сигаретами, заваривать чай в комнате досуга, стирать форму. Им было плевать на нас с высокой колокольни – шестьдесят шесть бойцов безропотно выполняли любую их прихоть. Но тут дело в принципе: русский не должен открыто перечить кавказцу.

Я никогда не заправлял кровати сержантам. Процесс уборки казармы утром носил коллективный характер, и всегда находились люди, которые, заправив свою кровать, направлялись к сержантской. Я никогда не бегал им за сигаретами, не стирал им носки и форму – просто ко мне ни разу не обращались с подобным унижительным поручением. Наверное, это читалось во взгляде – заведомый отказ. Я не наглед, исправно ходил в наряды в свою очередь, подчинялся уставам – и меня оставили в покое. Сержант – это не звание. Сержант – это образ жизни и уклад характера. Поддержание порядка и дисциплины во взводе – вот основная его задача. И он не пойдет на конфликт, если будет хотеть на мгновение сомневаться в исполнении своего приказа. Другое дело – сыны гор.

Сначала мне угрожали.

– Ты чо, ишак! Самый умный?

– Нет.

– Я тебя на куски порву. Будешь кровью харкать, – в слове «харкать» ударение на первом слоге. Так внушительней звучит.

Надо молчать, но не отводить взгляд. Эти взрослеющие зверята мастера расставлять словесные ловушки, цель которых – заставить тебя признать свою неправоту, а затем оправдываться. Это гиблое дело. Дискуссии им доступны только с позиций собственной силы и власти.

– Ты чо? В жопу воды набрал? Быстро, блядь, за сигаретами!

Очень важно почувствовать момент, когда и дальше отмалчиваться – что в пропасть падать. Когда стержень внутри тебя уже подточен и вот-вот готов сломаться...

Я не отвожу взгляда, одним движением срываю металлическую дужку с кровати. И что-то в самом воздухе меняется. Круглая железная трубка с загнутыми концами в моих руках уже становится символом, шагом, после которого пути назад не бывает. Молчат дагестанцы. Молчит рота. Нервничают сержанты. В этом маленьком сражении кавказцы уже проиграли. Драка с любым для меня исходом сотрет лоск с их авторитета. Все семьдесят душ разом увидят, что, черт возьми, можно им не подчиниться, можно вступить в драку и хотя бы одному разбить лицо, сломать нос. И не останется от них ничего всесильного, если драка окажется именно дракой, а не избиением.

Звери чувствуют это и переводят все в шутку:

– Э-э-э! Какой грозный! Настоящий джигит! – и громко смеются.

Подавить волю можно не только силой, но и убеждением. Тебя подзывают, усаживают рядом, обнимают по-братски. Очень важен физический контакт, но такой, который создает видимость дружеского и непринужденного, но полностью разрушает твоё личное пространство.

– Ты пойми, это не наезд. Та-а-ак, проверяли тебя! А ты молодцом, настоящий мужчина, же есть. Все вокруг – это быдло, шавки. Слабый мужчина – не мужчина, он должен в говне сидеть. Вот я – Салим Каримов. Я – кумык. У нас так принято: оскорбили тебя – бей! Пусть убьют, но не сломают. Сказали тебе: мой полы. Да пошли его на хер! Или сразу бей! У меня много друзей, братьев и сестер много. Но женщина – это женщина. Ее удел дом, кухня и дети. А мужчина – он хозяин! Он все может. Если мой брат возьмет в руки тряпку и полы начнет мыть – я первый его зарежу. Чтобы род наш не позорил. Чтобы люди не сказали: посмотрите, брат Салима Керимова полы мыл, а он ни-и-чего не делает. Так может он сам тряпка, же есть? Позор всем Каримовым!

Вот ты молодец! Ты мне теперь как брат! Мамою кланусь! Приедешь ко мне в Хасавюрт – все тебе будет! Никто не тронет. Скажешь только, я Салима Каримова брат – везде тебе дорога! А стол какой накроем – э-э-э-э! Отец барана зарежет, мама хинкал сделает. Ты такой хинкал ни-игде не попробуешь. Я брату скажу: сходи, купи водки. Он сходит, купит. Посидим вместе, выпьем, как мужчины поговорим. А если захочешь – женим тебя! Настоящую красавицу тебе найдем! А?

Теперь ты мне как брат, я тебе как брат. Нам делить нечего. И бояться друг друга нечего. Ведь братья, же есть, выручать друг друга должны. Как считаешь?

– Ну, должны!

– Э-э-э! Ты без ну скажи: должны или нет?

– Должны.

– Выручи по-братски! Одолжи сто рублей. Сигарет нет, чая нет – совсем пустой. А мне на днях подгон друзья сделают – сразу отдам.

Подвох здесь тонкий. Не сразу можно разобрать. Ему не нужны мои деньги. Он не считает и никогда не считал меня своим братом. Он знает, что и я никогда не буду испытывать к нему братских чувств. Вся эта пафосная речь – дутый мыльный пузырь, скрывающий лишь одну цель: внушить мысль, что от тебя отстали, ты теперь для них свой и трогать тебя никто больше не собирается. Но на самом деле ему нужен мой отказ, моя ложь: извини, мол, я бы рад, но нет сейчас денег. Если я так отвечу, то моментально попаду на крючок. Ближайший выход к магазину довершит начатое: «Ты же говорил нет денег! Ты мне соврал? Ты брату соврал? Да ты теперь по жизни мне должен!» По всем волчьим понятиям, которые заведены в армейском коллективе, он будет прав. И можно будет метелить меня толпой. И даже если я буду отбиваться как черт – никто не поможет. Никто не будет на моей стороне. Это заведомое поражение.

– Я не дам денег.

– Почему, да? Ты брату отказываешь?

– Ты мне не брат.

Встаю и ухожу. И только в спину летит:

– Пиздец тебе!

Четыре человека из всей роты отказались подчиниться. В один из дней нас спровоцировали

в курилке и начали избивать. Со стороны все честно: четыре на четыре. Но только каждый из них мог нас четверых уделать. Это беда русской нации. Мы вырождаемся физически и морально.

Когда попадают кулаком между глаз – голова звенит. Это действительно так, без красивых слов. Реальность размывается, становится блеклой и потусторонней. Ноги не держат. И очень хочется подогнуть колени и упасть.

Нас обступили плотным полукругом, прижали к стене и били руками, ногами, локтями. Один точный сильный удар – и ты уже теряешь ориентацию в пространстве, тебя швыряют из стороны в сторону, как безвольную куклу, пробивая вялые попытки закрыться, увернуться, отойти.

Много говорят и пишут о храбрости волков. Чушь полнейшая! Когда волк понимает, что обречен, в его глазах появляется страх, а из горла вместо грозного рыка вырывается собачий скулеж. Только кошки, загнанные в угол, дерутся яростно и изо всех сил, и, даже умирая, готовы когтями расцарапать противнику глаза...

Мы дрались, как кошки. Падали, сплевывали на снег кровавую слюнь и снова поднимались, бросаясь безрассудно, бездумно – лишь бы достать, разбить губу или глаз, а там снова упасть не жалко. «Даги» зверели, мы были обречены. Все должны были увидеть наши разбитые лица; увидеть и осознать степень воздаяния. Это такой закон: всегда страшнее видеть последствия драки, нежели драться самому.

Сержанты молча стояли в стороне.

– Салим, ну хватит уже... – это старший сержант Гатаулин подал голос.

– Заткнись, бля! Я сам решу, когда хватит, да!

Они уже тяжело дышали. Уже удары были не такие мощные. Отходили в сторону, окровавленными руками вытирали пот со лба. Мы не должны были вставать. По всем законам мы обязаны были лежать без сил, захлебываясь в собственной крови. Но мы вставали. Медленно, с трудом, поддерживая друг друга, – мы вставали, облокачивались спинами и снова и снова сжимали кулаки. Мы не бросались вперед – не было сил, а главное, не было понимания, зачем нужно бросаться вперед. Вообще никаких мыслей не было. Лица – не лица, а рваные кожаные мячи. Губы толщиной с палец. Заплывшие глаза. И только внутри существа что-то кричало во весь голос: вставай! вставай! пока есть силы – вставай!

Нас снова били, но уже без желания нанести травму, а чтобы просто повалить с ног.

– Лежать, суки! Лежать! Сосите снег!

Мы вставали.

– Я убью тебя! Сейчас убью! Ты понимаешь, тварь? Ты это понимаешь?

Мы снова вставали.

Мы не могли дать им отпор, физически не могли, но в этом движении вверх, в этом подъеме была наша свобода, которую никому не отнять. Если остаться лежать – они победят. И всегда уже будут побеждать. И мы будем бегать за сигаретами, стирать носки и чистить им обувь – все будем делать. Поэтому надо встать через не могу, преодолев закон всемирного тяготения. Встать самому и помочь встать другу. И стоять, пока есть силы.

– Лежи, сука, ну, пожалуйста, только лежи...

Мы ворочались в снегу, скользили коленями – и вставали!

– Пиздец какой-то! Салим, я сейчас ротного позову, отвечаю! – Гатаулина всего трясло.

Мы стояли, шатаясь, поддерживая друг друга спинами, чтобы не упасть, готовые встретить удар и снова подниматься. «Даги» тяжело дышали. Рота, как всегда, молча стояла в стороне.

– Ну что? – прошепелявил Пашка Зотов разбитыми губами. – Все? Меня баба моя на гражданке сильнее гладит.

И курилка взорвалась от смеха. Шестьдесят шесть здоровых глоток затряслись от дикого уничижительного хохота, который разрывал все правила, законы и возвращал стоявшим в стороне человеческое лицо. В этом хохоте был их протест, была их маленькая победа. Я их не сужу. Да ничего и не изменилось для них после этого случая: так же стирали форму, заправляли кровати. Но на короткую минуту, пока ходила грудь ходуном, а из глаз текли зазорные слезы, я думаю, они

чувствовали себя свободными людьми: вне армии, вне дедовщины. Просто людьми, у которых есть свои мысли и свои чувства. И которые имеют право на смех.

Этот хохот провел черту, которую дагестанцам было уже не переступить. Они молча ушли в расположение роты. А нас, избитых, но устоявших, аккуратно взяли под руки и бережно, как новорожденных детей, донесли до кровати.

Тогда мне казалось, что мы все сделали правильно. Выстояли. Победили. Только эта победа стоила мне отбитых почек. Пашке выбили два зуба. Славку комиссовали с разрывом селезенки. Никита обошелся без внутренних травм. И на всех нас было жалко смотреть.

Сейчас я оцениваю это по-другому. Можно называть это опытом, мудростью, сменой жизненных приоритетов – как угодно. Дело не в почках и не в зубах. Сейчас мне кажется, что я смог бы избежать драки и остаться самим собой. Просто по-человечески все объяснить, найти общий язык, достучаться. Возможно, это просто говорит во мне другой человек. Он забыл или никогда не знал армейской действительности, когда каждый день надо драться за место под солнцем. Но, скорее всего, другое: этот человек страстно хочет изменить армейскую действительность. Хотя бы на гран. Хотя бы на этих страницах. Хотя бы в масштабах собственной памяти.

Нас на две недели положили в больницу. Понаехали комиссии, начались допросы, рапорты, включился комитет солдатских матерей.

– Ну, вас же избили до полусмерти! А ты их покрываешь! Я даже знаю кто – только подпиши показания. И мы их в дисбате закроем. Это же подонки! После учебки их отправят в линейную часть, что они там будут с молодыми вытворять? Ты подумал? Да и тебя после больницы они в покое не оставят.

– Я упал с кровати.

– Встать, солдат! Ты что, мля, над офицером издеваться будешь? Да я тебя самого в дисбате закрою.

Я не верю в армейские понятия о чести: нельзя «стучать» и «закладывать», доносить, жаловаться... Эти псевдомужские законы придумали, чтобы не портить показатели армейской дисциплины. Когда один человек пользуется служебным положением или физическим превосходством, чтобы унижать другого, – в этом нет доблести, и выход только один: доложить выше по инстанции. Все это я прекрасно понимаю. Но какая-то часть внутри меня противится так поступить. Если я напишу заявление на дагестанцев, я предам этим Пашку, Славку и Никиту. Я сожгу в небытие мучительные минуты подъема на ноги, развею этот пепел на просторах собственной совести и никогда не смогу смотреть друзьям в глаза. Я уничтожу нашу победу. Я это понимаю. Они это понимают. «Даги» это понимают. И даже допрашивающий меня капитан все прекрасно понимает.

Мы ничего не сказали.

Конфликт решил старший прапорщик Фарзуллаев. Пока мы лежали в больнице, он разобрался с дагестанцами. По одному завел их в каптерку и избил. Больше нас никто не трогал.

Фарзуллаев был прапорщиком до мозга костей. Жестокий, циничный, – он продавал на стойке полагающиеся солдатам сигареты, конфеты, форму, берцы – все, что имело цену и что можно было продать. И внимательно следил, чтобы солдат боялся двух вещей: его и устав. Дагестанцев он избил потому, что те перешли все возможные границы и пределы.

После возвращения в строй он не изменил к нам своего отношения: так же орал, выгонял на зарядку и на уборку территории. Словно не было происшествия, как будто не ходили мы в герои. Только в самый первый день, когда я, Пашка и Никита вернулись в роту, отвел нас в каптерку и спросил:

– К тебе приезжали родители?

– Нет.

– А к тебе?

– Нет.

– К тебе?

– Нет.

Потом он долго смотрел на нас: внимательно, на каждого по отдельности, пытаясь изучить,

понять, что же такого он в нас проглядел с самого начала. Глаза черные, острые. Взгляд пронзительный, в самое нутро. Долго смотрел и, наконец, произнес:

– Хорошо. Свободны.

На следующий день мы втроем ушли в увольнение.

6.

Закат разлил по небу красную гуашь. Безветрие. И мы сидели рядом. И этот вот вневременной коллаж на прочность проверяли теплым взглядом.

Два с половиной года продолжались наши с Верой странные отношения. Ссоры, скандалы, нежные примирения, расставания, кисло-сладкая необходимость которых подтверждалась скачкообразностью новых встреч. Как будто разрыв был нам необходим лишь затем, чтобы понять невозможность существования друг без друга. И все искренне! Все по-настоящему!

Самым ярким эпизодом мне запомнился наш поход в Карелию.

Мы сидели на краю обрыва. Внизу в туманной синеве дремала озерная гладь. А за озером, насколько хватало глаз, раскинулись горбатым полотном немые леса. И были они полны такой тишины, такого умиротворения в спускавшихся сумерках, что казалось святотатством допустить малейшую суету в собственные мысли.

– Ты знаешь, когда мы только познакомились, я фантазировала перед сном, что ты моряк. Сильный, крепкий, смело идущий навстречу штормам. Ты бы уходил на несколько месяцев в поход, а я бы ждала тебя на берегу. Скорее всего, гуляла бы на стороне время от времени, но зато когда бы ты возвращался... М-м-м... – она мечтательно закрыла глаза.

– Насчет гуляла – охотно верю. Ты патологически не способна хранить верность.

Мы оба смеемся.

– Не моя вина, что я родилась настоящей женщиной.

– Вот только не надо все списывать на изначальную греховность вашей сестры.

Мы снова смеемся.

– Почему в твою голову никак не удастся вбить, что невозможно всю жизнь иметь только одного сексуального партнера. Моногамия заложена в нас природой. Это как дышать, как пить воду. Это жизнь. А измена – это категория более высоко порядка: что-то внутреннее, духовное, когда ты сердечные струны в самом себе обрываешь, когда за содеянное тебя гложет стыд и раскаяние. Это выше секса.

– Значит, если ты переспшишь с другим, тебе не будет стыдно?

– Нет. И эти же требования я применяю к себе. Хоть раз я упрекнула тебя за Ольгу?

– На тот момент мы расстались.

– И ты перестал меня любить?

– Нет.

– Получается, в глубине души ты все равно мне изменил. Так? Где же логика?

– Существуют истины вне логики.

– Вот только не надо прикрываться философской хренью. Когда ты несколько месяцев меня добивался, думал ли о том, сплю я с кем-нибудь в это время или нет?

– Да, думал. Но это нечестный пример. На тот момент мы еще не сказали друг другу главных слов.

– А хочешь, я тебе скажу?

– Нет, не хочу.

– Я спала с Матвеевым. И это главные слова.

Что-то неприятное скрипнуло в сердце.

– Сейчас это не имеет уже никакого значения.

– Верно, сейчас не имеет. А если бы ты тогда об этом узнал? Что-нибудь бы изменилось?

– Возможно.

– Ничего бы не изменилось. И только это по-настоящему ценно. Не надо делать из меня гулящую девку.

Вера вдруг заговорила взволнованно, жарко, с силой.

– Я живу *этим* мгновением, дышу сейчас *этим* воздухом, понимаешь? Сейчас вечер, мы сидим на скале, под нами красивейшее из озер, которое я когда-либо видела. И мне хорошо и умиротворенно; и не хочется ничего менять. Но если через час пойдет ливень, мы заберемся в палатку, и уже не будет перед глазами этой красоты, а только брезентовые стены. Поэтому имеет значение только то, что происходит сейчас, в этот миг. Он единственный и неповторимый, и подобного больше не будет.

С начала наших отношений (терпеть не могу это слово) я тебе не изменяла. И ты это знаешь. Но не потому что дала обет верности на всю жизнь. Просто мне хорошо с тобой, как ни с кем другим. Сейчас хорошо. В это мгновение. И нашей любовью мы делаем это мгновение бесценным. Но ни я, ни ты, ни один человек на свете не может ручаться за всю свою жизнь, каким бы чудесным и волшебным ни казалось ему настоящее. А клятвы в верности и вечной любви разрушают счастье; они развращают, приучают к мысли, что счастье – это то, что уже лежит в кармане, лежит сейчас и будет лежать всю жизнь. И оно тут же обесценивается. И сразу же испаряется любовь, уходит, как будто ее и не было. И два человека, столь нежно любившие друг друга раньше, вдруг понимают, что потерпели полное фиаско. Родниковая вода кажется нам безвкусной, если она всегда под рукой. Чего проще, подставил кружку и пей сколько влезет. Но если человек умирает от жажды, для него и ржавая вода из-под крана будет слаще всего на свете. Так и любовь! Так и счастье! Привычка к ним смерти подобна.

Я подошел к костру, присел, раздул угли. Щеки костра затрещали, зашипели влажные поленья.

– Ты смешиваешь понятия. Мы говорили о постели, а не о любви; об изменах, а не о счастье.

– А к ним применимы те же законы. И я не отделяю одно от другого. Если секс для тебя станет привычкой, только потому, что он всегда под рукой, я это сразу почувствую, я перестану получать удовольствие. Это как болезнь, как вирус. И чтобы не заразиться от тебя этой привычкой, я начну изменять. И не будет в этом ни крохи моей вины. Я просто хочу жить полной и насыщенной жизнью во всех ее проявлениях; чтобы каждая наша близость была маленькой победой в бесконечном любовном сражении. Как тогда, в первый раз, на горе Барабанщиков. Ты помнишь?

– Конечно, помню! – я улыбнулся.

– И пусть для нас это станет образцом сексуальной свободы и счастья. Когда нет границ и можно все, что доставляет нам удовольствие.

Вера улыбнулась в ответ и сразу же, без пауз продолжила:

– Идиотские законы выпестованы обществом. Мы привыкли считать, что измена – это что-то ужасное и позорное, ее надо скрывать и молчать о ней, раскаиваясь, наивно обещая себе, что это последний раз... ну, почти последний... Я тебе сразу сказала, что ничего не буду скрывать...

– Я помню, прекрасно помню об этом. Зачем ты сейчас начинаешь?

– Чтобы ты не забывал. И, заметь, такой же честности жду в ответ.

Наша интимная жизнь могла бы стать отличной темой для многочисленных кандидатских диссертаций по медицине и психологии. Проблемы семьи и все такое. Потому что абсолютная честность в отношениях никогда не достижима. Это фантом, приятный миф, в который хочется погрузиться, не осознавая, что он же, в конечном счете, тебя и потопит. Сексуальная лодка разобьется о честность.

В моем случае она привела к страху, боязни не соответствовать. Когда каждая секунда интимной близости подчинена только одному стремлению – доставить удовольствие любимой женщине, чтобы внутри ее существа разорвался комок счастья и безграничной свободы, – тогда теряешь эти свободу и счастье сам. Нет, конечно, когда все это происходит, душа преисполняется гордостью, любовью, нежностью, и можно уже ни о чем не думать, расслабиться самому. Как будто сброшен с плеч невидимый груз. Но в этом и кроется корень проблемы: в близости двух любящих друг друга существ не должно быть никаких грузов. Ее не надо обсуждать и подвергать психоанализу, рассматривать с разных углов, как опытные врачи смотрят на пациента перед операцией. В подобном случае она теряет свою прелесть и первозданность, запутывается в неряшливом клубок. Потом всю жизнь можно его распутывать и все равно не приблизиться к завершению.

Когда мужчина и женщина остаются вдвоем, в одной постели, должно начинаться не подпадающее логике и законам таинство. Единство тел, взглядов, дыханий становится равнозначным единению душ. И это что-то интуитивное, не раскладывающееся на ровные четкие полочки. Лишь в этом случае можно говорить о счастье и безграничной свободе.

Но как это объяснить человеку, который изначально загоняет тебя в рамки?! Шантажирует возможными изменами?.. Мы с Верой никогда не достигали оргазма одновременно.

– Ты чем-то расстроен? – она придвинулась ближе и положила голову мне на плечо.

Красота природы не потеряла своего очарования и волшебства, просто накинула тонкое покрывало грусти. А вековые сосны словно нашептывали под дуновение ветра: суета! все суета! Мучительно захотелось верить им на слово и принять всей душой эту сладостную печаль бытия.

– Все, что ты сейчас сказала – положительная правда. Я перебираю в голове все возможные доводы против, и не нахожу ни одного достойного. Да, измены – это следствие сексуального безразличия одного из партнеров. Да, клятвы в вечной верности – это слова на ветру, не выдерживающие проверку временем. Да, привычка к счастью губит любовь. И честность в отношениях необходима всегда. И моногамия заложена в нас матушкой природой. И инстинкты порой берут над нами верх. Все это так. Но только я так не хочу! Понимаешь? Я не в состоянии все это логично объяснить, привести в доказательство весомые аргументы; но какая-то часть меня противится этому изо всех сил. И что бы ты ни говорила, но есть внутри каждого человека внутренний голос, который нельзя убедить психологическими трюками и аксиомами. Этот голос мне сейчас говорит: это неправда, так не должно быть! И я ему верю!

Вера слегка отстранилась, удивленно посмотрела мне в глаза.

– Милый, ты чего?

Со стороны я, верно, казался смешным и взволнованным. Но ее огромные внимательные глаза вдруг засветились самой искренней нежностью и теплотой. И этот свет заполнил меня всего, без остатка.

– Я люблю тебя!

– Как в первый раз?

– Только так.

И снова химия тепла, леса и приятной сказки завладела сердцем. А разность жизненных позиций стала настолько блеклой, настолько незначительной перед великой истиной любви, что хотелось прыгать от восторга, пуститься в безудержный пляс. И все глобальные идеи и установки как-то сами по себе осознали свою неприглядность и растаяли в сыреющем воздухе.

– Ты знаешь, когда я была подростком, где-то старшие классы, для меня образцом мудрости и высшей нравственности были индийские йоги. Этот чудесный мир Тибета, заснеженные вершины, затерянные в горах храмы, полотна Рериха... Все это уже само по себе таинственно и прекрасно. А тут еще эти люди, в каждом взгляде которых, в каждом движении сокрыта вселенская мудрость. С виду они такие же, как и мы, с руками и ногами, дышат, едят, пьют воду, испытывают обычные человеческие потребности; но внутри телесной оболочки сосредоточены бездны космических прозрений, удивительное величие духа.

Они и сейчас для меня такими остались, но тогда был переходный возраст, и пришедшую в голову мысль я посчитала настоящим открытием. Даже не открытие, а страстное желание. Если и не стать такой же, как они, то хотя бы побыть рядом, прикоснуться, ощутить счастлиное спокойствие, обменявшись парой теплых взглядов. И как раем на земле для меня стал город Катманду. Не знаю, почему. Наверное, звучание понравилось. Кат-ман-ду... Что-то очень древнее есть в этом созвучии. В одном названии уже спрятана тайна абсолютной истины. Побывать там стало моей идеей фикс. Но даже простая мысль о путешествии в этот город богов придавала силы. Когда меня кто-то обижал, оскорблял или просто похотливо смотрел на мою грудь, я мысленно переносилась туда, и это создавало внутренний барьер, защищающий меня от всего грязного и пошлого в этом мире. Я не знаю, зачем тебе все это рассказываю. Просто захотелось поделиться... Или нет, знаю. Понимаешь, сейчас мне не нужно туда переноситься. Сейчас у меня

есть ты. Представляешь, ты стал моим собственным Катманду!

– Говори, Верочка, говори...

Она радостно и задорно засмеялась.

– Скромняшка ты!

Вера обняла меня, прижалась со всем жаром молодого женского тела. Наши губы соединились в поцелуе, и это оказалось выше моих сил. Так целовать нельзя. Так можно сжечь душу...

...Потом мы тяжело дышали и приходили в себя. Я курил. Вера тихо улыбалась.

7.

Есть категория людей, для которых армейская действительность смерти подобна. Маленькие Принцы, Левши, князья Мышкины. У них может не быть развитого интеллекта, восторженного восприятия жизни, романтического склада натуры. Чаше всего это даже недалекие в умственном отношении люди. Но есть одно качество характера, которое у них в избытке. Это доброта. И детская убежденность в том, что все люди должны быть такими же. Они – несмышленные щенята, заблудившиеся, по ошибке попавшие в вольер с крокодилами. Они резвятся, с надеждой и преданностью лижут оскалившуюся пасть и зачастую не успевают даже удивиться, когда пасть смыкается на их тоненькой шее.

Доброта не является для них жизненным принципом. Они и слов-то таких не знают. Юридические. Но волчьи законы человеческого бытия, на каком-то подсознательном уровне, им кажутся грубейшей ошибкой, оплошностью, вселенским недосмотром. Им говорят «не верь» – они с распахнутыми глазами покупаются на очередную подлость; им говорят «не бойся» – а им страшно до судорог в животе; и просят, постоянно просят... нет, не еды и не денег – живого участия, искренности и понимания.

Эти люди живут лишь до тех пор, пока остается в их душе запас доброты. Но как только он иссякает – они уходят. И если в обычной жизни запасы доброты можно восполнить любовью, дружбой, искусством, наконец, то в армии родник пересыхает. Как только захлопываются за спиной железные ворота – обрывается артерия. И остается только барахтаться в бездуховном пространстве, глазами раненого оленя затравленно смотреть по сторонам в поисках лазейки, найти ее, одну-единственную, и уйти.

Максима Бизякина я первый раз увидел в поезде, по дороге в часть. Длинный, рыжий, конопатый. Ходячее недоразумение. Он постоянно натыкался на все выступающие предметы, извинялся на каждом шагу и улыбался блаженной улыбкой «ну простите меня, я вот такой». Обижаться всерьез на этого человека было невозможно.

– Это фотография моей мамы.

Он просто подсел рядом и показал фотографию. Не девушки, не подруги, не друзей – мамы. Совершенно не задумываясь о том, что такие вещи не принято демонстрировать в мужском коллективе, тем более совершенно незнакомым людям.

С фотокарточки смотрела женщина лет сорока – сорока пяти. Лицо казалось вполне милым, но надрывала впечатление какая-то непроходимая печаль. Гнет многолетней усталости читался в сутулых плечах, в огрубевших руках, в каждой морщинке. Но в глазах не было злости или отчаяния, лишь тихое смирение светилось в их глубине. Углы губ были слегка приподняты вверх, намеком обозначая улыбку. Постаревшая Джоконда.

– Без отца живешь?

– Да, а ты откуда знаешь?

– Так, догадался.

Мы все не были готовы к казарменному быту, распорядку дня, уставу и новым правилам. К этому вообще нельзя подготовиться заранее. Но каждый в глубине души был готов к отсутствию человеческой теплоты и умел без нее обходиться. Каждый знал, как из мыслей и ощущений выстроить удобное для себя отношение к происходящему, укутаться в него, как в кокон, и терпеливо ждать. Максим Бизякин не знал и не хотел знать.

Его публично унизили в первый же день. Мы выстроились в линию в расположении роты (еще не по росту, в хаотичном порядке) и должны были рассчитаться по порядку. Первый... Второй... Третий... Четвертый... Пятый... Ничего сложного, как на уроке физкультуры. На Максиме стройный ряд цифр на мгновение загнулся, только на мгновение, но этого было достаточно, чтобы шесть пар выжидающих сержантских глаз угрюмо уставились на него.

– Ше... Шестой.

Была, правда, робкая попытка его спасти. Седьмой... Восьмой...

– Отставить, – это старший сержант Илясов. – С начала. Становись, – мы подтянули животы.

– Равняйся. Смирно. По порядку номеров... Рас-считайся!

И снова глотки стали выстреливать в пространство сатанинскую мантру. Первый... Второй...

– Шестой, – Бизякин больше не мешкался, но произнес чересчур тихо и спокойно. Этим спокойствием он, сам того не осознавая, бросал вызов. Нет, не сержантам – всей казарме, всему укладу, уставам. Всей армии! Спокойствие было из другой жизни, из другого мира, присутствие которого немислимо и преступно. А это уже нельзя оставлять без внимания.

Илясов походил к нему подчеркнуто медленно. А в казарме вдруг отвратительно запахло угрозой.

– Ты что, сука, дрочишь меня?

– Нет.

– Никак. Нет. Товарищ. Старший. Сержант. Ты понял?

– Да.

– Не да, а так точно.

– Так точно.

– Повтори.

– Так точно, товарищ старший сержант.

– Что? Значит, ты дрочишь меня???

– Нет.

– Что???

– Никак нет, товарищ старший...

Договорить Бизякин не успел. Хлесткая оплеуха растеклась по левой щеке.

– Твой порядковый номер.

– Шестой.

Удар по правой щеке.

– Твой порядковый номер.

– Шестой.

Снова удар.

– Твой порядковый номер.

– Шестой, товарищ старший сержант.

– Так. Уже хорошо.

– Фамилия.

– Моя?

– Ты тупой или говна объелся?

– Бизякин... товарищ старший сержант.

– Бизякин? Ну, точно, даже фамилия лоховская. Бизь-бизь-бизяякин.

– Что?

Удар.

– Военнослужащий, услышав свою фамилию, должен развернуться лицом к говорящему по кратчайшему пути и четко и громко произнести «Я». Бизякин!

– Я.

– Твой порядковый номер.

– Шестой.

Удар.

– Шестой, товарищ старший сержант.

Еще удар.

– Громче.

– Шестой, товарищ старший сержант...

Опять удар. И все по лицу. Не больно, но хлестко и обидно. Щеки покраснелись. Из глаз текли слезы. Перед каждым ударом Максим рефлекторно вскидывал руки... Ильясов не бил его по рукам и даже не пытался их откинуть. Он просто приказывал:

– Руки оборви, тварь.

Бизякин опускал руки, и только тогда следовал очередной удар. Это было похоже на затянувшийся сон. Внутри меня все протестовало подобному обращению. Все внутренние голоса орали наперебой: вмешайся, вмешайся, останови этот кошмар... И не у меня одного, я уверен. Все стоявшие испытывали подобное чувство. А хуже всего было понимание случайности жертвы. На месте Максима Бизякина мог оказаться любой из нас. И тут же гаденькая мысль: а ведь не я!.. Мы все молчали, сбитые с толку невообразимой простотой жестокости. Никто даже рта не открыл.

И сколько угодно можно рассуждать, что вмешайся я, это бы ни к чему не привело. И уж точно не спасло его от унижения. Ну что толку? Вместо одного избитого было бы два. Один в поле не воин. Не мной заведен армейский порядок, и не мне его нарушать. Каждый, кто служил в армии, хотя бы раз оказывался на моем месте.

В этом можно убедить кого угодно, кроме собственной совести.

– Шестой, товарищ...

Удар.

— Громче!

– Шестой...

Еще одна оплеуха.

– Громче, сука...

Я стоял в середине ряда и не видел лица Биззкина. Но чего только стоил его голос... Обреченный, дребезжащий в истерике... Это был голос сломленного человека.

Да, ломают именно так. Размеренно и неторопливо. С сознанием собственной правоты. Ощущая незримую поддержку всей армейской машины.

И, наконец, треснуло что-то, почти физически. И вырвался звериный рев из глубины человеческого существа:

- Шестоооооооооооооооооооооой!

И целая Вселенная взорвалась.

Илясов еще немного постоял, словно проверяя эхолотом суженых глаз глубину излома, а потом так же медленно вернулся на свое место. Расчет возобновился и в самое скорое время был закончен. Мы разбрелись к своим кроватям. Бизякин еще какое-то время продолжал стоять, а потом обхватил лицо ладонями, размазывая сопли и слезы, и двинулся в сторону умывальника. В каждом призыве обязательно находится вот такой вот Бизякин. Это был урок для всех нас. Проверка на вшивость. И все мы ее благополучно провалили.

С этого дня все и началось. Если звучала команда «рота, становись», то он по закону подлости вставал в шеренгу последний. Самые простые строевые команды ему давались с огромным трудом. Ему говорили «налево» – Максим путал и поворачивался направо; движение в строю он неизменно начинал с правой ноги; забывал прикладывать руку к головному убору. Из-под нечищенных бровей обязательно выглядывал краешек портянки. И еще. Тихая улыбка навсегда сошла с его лица, а в глазах поселился первобытный страх.

И все мы разом от него отвернулись. Как в стае оставляют больного волка на смерть, так и мы забыли о его существовании, сделали вид, что нет с нами такого человека. А потом и вовсе стали ненавидеть.

Есть традиция: за нарушения одного наказывать весь взвод. Гениальный человек ее придумал.

мал. Моментально смещаются акценты вины. И на сержанта уже не за что злиться, он ни в чем не виноват, лишь восстанавливает справедливость. А истинный виновник стоит в стороне и молча смотрит, как взвод корячится в упоре лежа. Самого нарушителя никогда не наказывали, и это тоже гениальная придумка. Конечно же, Бизякин стал причиной ночных отжиманий, внеплановой строевой подготовки, кухонных нарядов... В один из дней это дошло до точки кипения, перевалило за нее и сосредоточило злобу всей роты на одном маленьком грешном человеке, виноватом лишь в том, что он появился на свет. Свой же взвод избил его в туалете. Начало было положено – и мы как с цепи сорвались. А сержанты даже не пытались пресечь попытки этой внутренней травли.

Бизякин никому не жаловался – просто некому было. Офицерам он не доверял и боялся их еще больше, чем сержантов. Еженедельный телесный осмотр проводился через пень колоду, да и какие синяки могла найти на его теле подслеповатая медсестра, когда Бизякина заранее наштукатурили слоями тонального крема?! А письма домой запрещено было опускать в почтовый ящик, пока с ними не ознакомится командир взвода.

Наверное, все что угодно способен вынести человек, когда знает, что он не один, когда с ним в одной лодке сидят такие же бедолаги, понимают его и, если не слишком заняты собой, даже плечо могут подставить. Но нет ничего хуже, чем карабкаться из ямы в одиночку, в полной темноте, скользя руками и ежеминутно срываясь. Боль и отчаяние сыпятся в глаза, забиваются в рот, уши, – ты пытаешься сплюнуть их, вытряхнуть из своего существа, но на их место приходят новые и новые, и новые... И несть им числа!

Я не знаю, на каких внутренних ресурсах он держался, остается только догадываться. Может быть, в глубине души Бизякина жила надежда, что когда-нибудь его оставят в покое, что не может вечно продолжаться этот кошмар. Может быть, придавали силы мысли о доме и грустной женщине, что однажды посмотрела на меня с глянцевой фотографии. Но до поры до времени эти силы оставались в измученной душе.

Мы сидели в классе для занятий по общественно-политической подготовке. Старший сержант Илясов диктовал нам под запись статьи устава.

– Строевая стойка принимается по команде «Становись» или «Смирно». По этой команде стоять прямо, без напряжения, каблуки поставить вместе, носки выровнять по линии фронта, поставив их на ширину ступни; ноги в коленях выпрямить, но не напрягать... Пишите, твари, слово в слово. Лично проверю.... Так, записали? Дальше... Грудь приподнять, а все тело несколько поддать вперед; живот подобрать; плечи развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы полусогнуты и касались бедра; голову держать высоко и прямо, не выставляя подбородка; смотреть прямо перед собой; быть готовым к немедленному действию.

– Товарищ старший сержант... Разрешите... – это, конечно, Бизякин.

– Ты, душара, смерти своей ищешь?

– Мне в туалет надо... Очень...

– Бог терпел и нам велел. Еще вякнешь – я встану и подойду.

Бизякин не хотел, чтобы Илясов к нему подходил. Бизякин боялся. И терпел, сколько мог. Он нервничал, ерзал на стуле, плотно сжимал губы и зажмурился глазами... и вдруг разом обмяк.

– Бля-а-а... – Мишка Козырьков, сидевший рядом, резко подскочил и опрокинул стул.

– Вы че, духи? Совсем страх потеряли?

– Товарищ, старший сержант... Он обоссался!

Вся рота уставилась на беднягу, выжидательно замерев. Никто не знал, как реагировать. В том, что Бизякин будет наказан, никто не сомневался, но было непонятно, жалеть его или нет, аукнется его проступок остальным или он один выхватит пощечин.

– Встать.

Бизякин аккуратно поднялся, глядя себе под ноги. В районе паха темнело большое мокрое пятно, а под берцами растекалась лужица мочи. Лицо у Максима было красное, а по щекам

прорывали себе бороздки едкие слезы.

Сейчас я знаю, что все зависело от реакции! От этой гребанной нашей реакции... Илясов долго на него смотрел, что-то прикидывая в своей голове, а потом громко захохотал. И вся казарма вслед за ним задрожала от хохота. Хохот глумливый, уничтожающий, выбрасывающий за черту, которую уже никогда не перейти обратно.

– Зассанец ты лесной, пиздуй за тряпкой!

Бизякин, привычно согнувшись, побрел в умывальник. Плечи его дрожали от сдерживаемых рыданий, а на полу, по всей «взлетке», оставались отпечатки влажной обуви.

– Козырьков, твоя койка под ним? Готовься, сегодня ночью будет золотой дождь.

Илясов не стал его бить. Потому что горше случившегося унижения нельзя было ничего придумать. Потому что после первой пощечины в чьей-нибудь наблюдательной душе могли зародиться отголоски жалости и сострадания. А Бизякина нельзя было жалеть. Его нужно было занести в разряд прокаженных. Старший сержант Илясова блистательно справился с этой задачей.

Еще можно было что-то исправить, если бы хоть один человек подошел к нему, подбодрил, хотя бы молча положил руку на плечо и шепнул глазами: держись, не ломайся... Ни одна сука не подошла.

Весь оставшийся день Бизякин вел себя тихо, ни с кем не общался, ни о чем не просил. А вечером, после отбоя, не провалился в сон, как всегда, а дождался, пока вся рота, включая дежурного, уснет, тихо поднялся, намотал на пояс брючный ремень и направился в туалет...

Нашли его утром. Он удавился на водосточной трубе.

Суицид в армии частое явление. Мудрые дяди с большими звездами на погонах говорят об этом трогательные речи, что-то о совести и беспощадной борьбе, время от времени устраивают показательные процессы, но все это блеф, уловка для обывателя, которому очень важно верить в высшую командную справедливость. В доведении до самоубийства главными причинами клянут дедовщину, разницу положений... Но это, мать вашу, никакие не причины. Это только следствия.

Максим Бизякин смог бы вынести любые издевательства, любые унижения и побои, если бы хоть одна душа протянула ему руку. Если бы не заперли его в тотальный вакуум, в котором барахтайся не барахтайся – ничего не исправишь; в этом вакууме теряется чувство пространства и понимание действительности, а мозг сверлит абсолютное одиночество.

В тот день он не просто остался один. Рухнули окончательно невидимые подпорки, и испарилась последняя капля веры в человека. Не в какого-то конкретного – во всю человеческую природу. Нас могут терзать сволочи и подлецы, но каждый, если даже и не задумывается, то в глубине души твердо знает, что весь остальной мир не такой, и есть в нем совесть, справедливость и человеческое добро. В Максиме убили это знание. Растащили по кирпичику, и дом рухнул. Глядя на всех нас, ему просто стало стыдно за всю людскую породу. И он ушел. Без куража, без истерики, спокойно и тихо, как все, что он делал в своей жизни, – привязал ремень к трубе, сделал петлю, намылил руки... Его тело дергалось и извивалось, а он, балансируя на краю сознания, заставлял себя не хрипеть и не тянуться руками к петле. Никто ничего и не услышал. Никто, мать вашу, ничего и не услышал...

Бизякин не оставил посмертной записки, чтобы никто не пострадал из-за его ухода. Значит, в душе его не было чувства мести. Значит, он смог до конца остаться человеком. Значит, он победил.

Я не знаю, как себя чувствует сейчас Илясов. Не знаю и об остальных. Вероятнее всего, загноили этот случай в самые дальние и темные уголки своей памяти. Спокойно живут дальше. Растят детей. В одном я твердо уверен: на нашей непонятной планете все-таки есть закон бумеранга. Мне очень хочется думать, что у Илясова однажды родится сын. И когда-нибудь этот сын пойдет в армию... И бумеранг вернется, сделав полный оборот по дуге жизни.

Или сын родится у меня?

Он мне снится иногда, этот нескладный рыжий парень. неизменно присаживается рядом,

смотрит добрым, полным света и телячьей доверчивости взглядом и протягивает фотографию.

– Это моя мама.

С фотокарточки на меня глядит усталая одинокая женщина. Не укоряет ни в чем. Не обвиняет. Просто смотрит.

Я не в силах вынести ее взгляд.

8.

«Сегодня утром я проснулась с ощущением безграничного счастья. Оно просто свалилось из ниоткуда, и мне даже стало немножечко страшно: за что мне такое богатство, разве я заслужила? Хотелось петь, прыгать, плясать, расцеловать всех и каждого! Маркиза запрыгнула ко мне на кровать, удобно устроилась на груди и давай лизать меня прямо в губы, представляешь?..

Вчера с Беляевой гуляли по городу, зашли в спортивный магазин. А-а-а... Я такой Дурак! Именно так, с большой буквы! Потратила всю свою преподавательскую зарплату и купила себе новые ролики. Буду теперь весь месяц поститься и кататься на роликах голышом. Потому что одежду к весне совершенно не на что покупать.

А еще скоро откроется моя первая фотовыставка! Помнишь мои работы с Карелии, Абхазии? Я выбрала лучшие, немного обработала их и вот))) Правда, денег на рамки и буклетики ушло немереное количество, но это, пожалуй, вечная моя проблема. Опять влезла в долги к маме. Скорее всего, пройдет выставка, и никто даже не заметит, что есть такой фотограф Вера Громова, но если сидеть на попе ровно, то точно ничего в жизни не добьешься. Вот я и пытаюсь. Хотя что-то.

Все мысли сейчас в работе и диссертации. С университетом я подписала договор на три года, иначе бы меня просто не оформили на работу. А тему впихнули дурацкую. Вообще не представляю, что там писать, где искать материал... Научный руководитель орет каждый раз, кричит, что я полная бездарность, – никакого желания нет что-то исследовать.

Нет, это действительно необыкновенно! Я вот сейчас пишу эти строчки, а в душе все беснуется от восторга!!! Я словно бабочка на ветру! Кажется, стоит только подпрыгнуть, и оторвешься от земли.

Я четыре месяца жила как в клетке. С тех самых пор, как ты уехал. Все на меня орали, кидали из стороны в сторону, как котенка. И некому было обнять, защитить, прошептать теплые слова на ушко... А сегодня я впервые почувствовала вкус к жизни...

Ты ведь уже понял, о чем я хочу написать! Мы с тобой родственные души, ничего от тебя не скроешь. Да я и не хочу скрывать, наоборот, тороплюсь поделиться своей радостью))) И уверена на тысячу процентов, что ты меня поймешь и не будешь ни в чем обвинять)))))).

К любви нельзя подготовиться, ее невозможно спрогнозировать, заказать по почте, пожелать на день рождения. Она просто сваливается на голову в самый неожиданный момент, и ты не успеваешь оглянуться, как уже летаешь на седьмом небе от счастья. Когда ты уехал, я слишком настойчиво запрещала себе влюбляться. Наверное, перегнула палку с этими глупыми установками и не удержала ее в руках, и она с резкой скоростью вернулась в свое прямое положение. Да и меня своей отдачей зацепила.

Женька меня покорила своей чудовищной уверенностью в себе. Осознание собственной силы так и прет из него фонтаном. Не знаю, есть ли еще на всей планете такие мужчины. Острые скулы, крутой подбородок, волевой взгляд... Мальчик с картинки, но при этом абсолютно реальный, к нему можно прикоснуться, ущипнуть, потрогать руками. И еще этот гипнотизирующий вопросительный жест: голова резко приподнимается, брови устремляются вверх, взгляд – смесь легкой усмешки и ожидания... Боже мой, Димка, я никогда ТАК не влюблялась!!!

Прости, я знаю, тебе неприятно все это читать, но я просто не могу остановиться. Это человек без недостатков. Тяжело в это поверить, но факт остается фактом. А самое главное – он не курит и вообще не пьет. После твоих пьяных истерик это бальзам на душу. Еще он играет на гитаре, восхитительно поет (голос такой звенящий, чуть с хрипотцой), занимается спортивным туризмом. Правда, когда мы поем с ним вместе, он говорит, что мне медвежонок на ухо наступил)))). И

говорит, что я Верчи-котичек)))). Меня еще никто так не называл)))).

Это все Юлька Мухина виновата. Ты помнишь нашу Мушку? Привет тебе от нее огромный. Женья и его брат Саша каким-то образом с ней познакомились, а она в какой-то день пригласила всех к себе домой на пижамник. Ну, естественно, в пижаме приперлась я одна))) Мы пили вино, пели песни и вечер провели просто здорово. Потом Женька пошел меня провожать.

Ты не подумай, что я сразу голову потеряла. Я в первый же вечер рассказала ему про тебя, что жду из армии, что люблю. А он не поверил, что люблю, и, наверное, правильно сделал. Женька очень долго меня добивался. Дарил цветы, пел серенады под окном... Я не вру, все правда именно так и было. Никто еще не ухаживал за мной так красиво и настойчиво. Что там я, ни одна девушка в мире не смогла бы устоять.

Больше всего на свете я бы хотела сейчас оказаться рядом с тобой, заглянуть в твои сияющие глаза, высказать все-все, что ни есть на душе... Приходится ограничиваться письмом. Я знаю, эпистолярный жанр не сможет вместить в себя огромную, бунтующую бурю чувств, эмоций, сомнений; строчки не умеют кричать и плакать. Они не передадут тебе всех интонаций, улыбок; они не подскажут, когда я перехожу на нежный полупшепот, а когда готова разрыдаться от волнения. Но если мои слова хоть что-то значат для тебя, знай: мне очень непросто все это говорить тебе. Три года отношений нельзя перечеркнуть одним письмом. Любовь нельзя вырвать из сердца по собственному желанию. А ты для меня всегда был и останешься родным, близким, гордым и взбалмошным поэтом. Капитаном дальнего плавания. Я не знаю, есть ли у меня право просить об этом, но все же рискну: не вычеркивай меня из своей жизни насовсем. Просто поверь мне на слово, боль уйдет. Мы не смогли сохранить любовь – время все решило за нас, расставило точки над «е». Но в наших силах продлить и укрепить искреннюю, пламенную дружбу двух понимающих друг друга существ. А это дорогого стоит.

Мой единственный недостаток в том, что я не умею сглаживать боль, режу правдой по живому. Но ведь ты, наверное, именно за это меня и полюбил!.. Помнишь наши прогулки на лыжах? Я всегда ехала впереди, прорезая лыжню, а ты поспевал сзади. А ведь так и в жизни будет. Да, я сильная женщина. Но это не моя заслуга. Просто мужчины вокруг меня неумолимо слабеют. А мне хочется превратиться в пушистого котенка, свернуться калачиком в сильных и крепких руках и ни о чем не думать. Не быть поставленной в ситуацию ежесекундного принятия решений, а доверить это мужчине и ни о чем не беспокоиться. И быть уверенной, что его решение ВСЕГДА будет верным... Когда Женька впервые поднял меня на руки, я вдруг почувствовала себя легкой пушинкой, и мне стало очень светло и спокойно. Именно в тот момент я поняла, что никогда не любила тебя по-настоящему. Обманывала тебя и себя. Прости меня за этот обман.

Я уверена, что обязательно настанет момент, когда мы вспомним эту историю и вместе от души посмеемся над глупыми шутками жизни и молодости. Говорят, нельзя построить собственного счастья на несчастьях другого. Все это так, но верно и обратное. Нельзя сделать счастливым другого, жертвуя собственным счастьем. И мы всю нашу жизнь мечемся между этими аксиомами, пытаюсь найти золотую середину. Только весь секрет в том, что середины не существует. А чтобы стать счастливым, нужно поступать так, как подсказывает тебе сердце. Все гениальное лежит на поверхности, под самым носом)))).

Как бы там ни было, я приняла решение. Я знаю, для тебя важно, спала я с ним или нет. Поверь, это не играет никакой роли, настолько мелко и второстепенно, но я все же отвечу: нет, секса между нами еще не было. Просто не могла лечь с ним в постель, находясь в двойственном положении. Но когда это письмо дойдет до тебя, скорее всего, близость случится. Отнесись к этому спокойно, без нервов и истерик. Поверь, четыре месяца воздержания никому здоровья еще не приносили.

И последнее. Ты волен не верить мне, но мысленно я с тобой. Тебе тяжело, я это знаю. И если я хоть чем-то могу тебе помочь – только скажи. Тебе осталось продержаться каких-то восемь месяцев. Я буду молиться за тебя, обещаю. Искренне желаю тебе счастья и мира в душе. Солнце, все у тебя обязательно будет. Не злись и не ругайся, а лучше порадуйся за меня. Я, наконец, нашла

то, что искала всю жизнь. Тебе это только предстоит найти, и в этом тоже кроется своя прелесть. Никто из нас не знает, когда и где его подстерегает счастье. Но величайшей глупостью и даже преступлением будет прятаться от него, и закрывать глаза. Мир прекрасен, ты только не печалься и не отводи от него взгляд.

Навсегда остаюсь твоим другом и вечным Музом))))),
Вера».

Тысячу раз я вчитывался в эти строчки, запомнил наизусть каждую фразу, каждое слово. В письмах, которые нас убивают, мы всегда ищем скрытый смысл, завуалированное признание, хоть что-то, подающее надежду. Потому что если ее не станет, то все что угодно с собой можно сотворить. Подобным маячком в ночи для меня стала последняя строчка письма. «Навсегда остаюсь твоим другом и вечным Музом». Возможность дружбы я тогда отменил сразу. Не верю в нее и сейчас. Есть четкая жизненная иерархия. И любовь в ней не может опуститься на ступень ниже положенного ей места. Дружба может произрасти в любовь, но никак не наоборот. И те, кто твердят обратное, либо глупцы, либо несчастные, не имеющие сил вытравить любовь из сердца и прикрывающиеся маской дружбы: только быть рядом, не потерять и всю жизнь ждать у моря погоды.

Но одно помогло мне не съехать с катушек, не отправиться вслед за Бизьякиным. Уверен, что Вера даже представить не могла, что спасла мне жизнь всего лишь двумя словами: терпкими, честными, душевными, пронзительными, выворачивающими наизнанку, смелыми, кричащими, удивительно чистыми и прочными...

Навсегда остаюсь.

9.

27 января 1837 года. Мороз и солнце. День чудесный. На Черной речке, скрипя полозьями, останавливаются повозки. Два человека неспешным шагом идут к березовой роще близ комендантской дачи. Снега в том году выпало так много, что секунданты утопали по колено, вытаптывая тропинку для дуэлянтов. Сама природа предreshала исход поединка: глубокий снег не позволял делать широкие шаги, что усугубляло условия дуэли, уменьшив расстояние между противниками. Александр Сергеевич, укутавшись в медвежью шубу, нервничал и проявлял нетерпение, поторапливал своего секунданта. Жорж Шарлевич был холоден и спокоен.

Секунданты проверили пистолеты, шинелями обозначили барьеры. Шел пятый час вечера. Наконец, Данзас шпагой очертил полукруг, подавая сигнал к началу поединка. Дуэль началась.

Пушкин подлетел к барьеру в считанные секунды и, полуобернувшись, начал целиться. Однако, попасть в движущуюся мишень гораздо сложнее, и он ждал подхода противника к барьеру. Дантес выстрелил, не дойдя одного шага, и ранил Пушкина. Ранение оказалось смертельным. Через сорок шесть часов великого русского поэта не стало.

Он не многое успел за это время. Прострелил Дантесу руку, простился с женой и детьми, продикувал Данзасу список своих самых срочных долгов. И еще он успел испытать нечеловеческие муки...

Дуэль эта изучена историками вдоль и поперек. Мы привыкли жалеть нашего Пушкина и ненавидеть смазливового французика Дантеса, укоризненно качать пальчиком Наталье Николаевне, ай-яй-яй, как же вы, девушка, могли допустить! Но все обходит вниманием самую трагическую фигуру поединка.

Пушкин мучился долгих сорок шесть часов. Его верный друг и секундант, Константин Карлович Данзас мучился всю жизнь.

Сохранился старый дагерротип, на котором Константин Карлович запечатлен в преклонных летах. Военный мундир давно поменян на английский сюртук. Волевой подбородок уступил место двойному. Данзас сидит в кресле и курит сигару. Взгляд из-под опущенных век направлен куда-то вдаль... Такие глаза бывают только у глубоко несчастных людей или алкоголиков. Надорванная мудрость высшего порядка, изъеденная самокопанием совесть, тоска по несвершивше-

муса и просто человеческая печаль – все есть в этом взгляде. Ах, господин генерал-майор, как непохожи вы на бунтующего юнца, весело и надменно взирающего на мир с лицейского рисунка, выполненного вашим же вздорным карандашом.

Он не блистал в науках и обычно оказывался в самом конце списка лицеистов. Рыжий, крупный для своего возраста, неуклюжий и флегматичный. Свое прозвище «Медведь» он оправдывал тем, что натыкался на все возможные углы и был равнодушен ко всему, что происходило вокруг. Ни дотошный профессор русской и латинской словесности Кошанский, ни добрый пьяница, гувернер Пилецкий – никто не выделял в нем склонности к каким-либо наукам. И ни одна живая душа не предполагала, что неуклюжий увалень любит прятаться от всех, забиваться в самый темный и дальний уголок, чтобы в полном одиночестве предаться мечтам и детским фантазиям.

Данзас не был поэтом или ученым, политиком или блистательным юристом, но Бог наделил его сверх всякой меры одним редким качеством – безрассудной храбростью. Выпущенный из лицей по самому низшему разряду – офицером, да в армию, а не в гвардию, он начал карьеру в чине прапорщика Инженерного полка. Воевал с персами и турками, на Балканах и на Кавказе. Награжден «золотой полусаблей» за храбрость и бриллиантовым перстнем от императорского имени.

Где-то наверху, в кузнице характеров, каждую душу отшлифовывают перед рождением. И все сообразно с ее предназначением. Пушкину был вручен дар, чтобы осветить Россию солнцем гениальной поэзии. Данзас получил свою храбрость, чтобы сберечь это солнце от заката...

Не уберег. И был наказан долголетием. Чтобы каждый прожитый год, месяц, день и час помнить, умирать от стыда и раскаяния за несвершенный подвиг. Биться, болеть, кусать локти, заливать неутихающую боль алкоголем и понимать, что время назад вернуть невозможно. Для того и дается нам сердце, чтобы на перепутье прислушаться к его голосу. А свобода выбора не дремлет: разрывает тебя между долгом и совестью.

На допросе Данзас утверждал, что встретил Пушкина совершенно случайно в самый день дуэли и, повинаясь законам чести и лицейской дружбы, не смог отказать поэту в просьбе. Я не верю этому утверждению. Для любого дуэлянта выбор секунданта является принципиальным событием, и отложить его на последний день, да еще пустить все на волю случая, Пушкин не мог. Но не мог и Данзас под следствием ответить иначе. По закону, секунданта, равно как и участника, ожидала смертная казнь.

Мог ли Данзас донести о дуэли и тем самым ее расстроить? Мог. И был бы всю жизнь презираем друзьями.

По дороге на Черную речку их повозка почти столкнулась с повозкой Натальи Николаевны. Мог ли он окликнуть ее, рассказать, умолять вмешаться? Мог. И стал бы злейшим врагом Пушкина.

Наконец, мог ли он во время самой дуэли закричать, заорать, сделать что угодно, лишь бы не допустить трагедии?.. Мог... Мог...

Я вижу его бледным, по колено в снегу. Губы плотно сжаты, а мысли лихорадочно несутся в крупной квадратной голове. Ему нужно дать знак к началу. Ему нужно взмахнуть шпагой. Невозможно представить, какого накала страсти бушуют в огрубевшей душе боевого офицера. И что если вся жизнь его была запланирована Богом лишь для одной этой минуты? Сердце его орало, надрывалось в колющем хрипе, требуя остановить безумие смертоубийства. А разум противно пищал о долге и законах чести. И шпага дрожала в морозном воздухе.

Нет борьбы горше, чем борьба между долгом и совестью.

Останови он дуэль, послушайся сердца – и до конца дней Константин Карлович Данзас был бы проклят и презираем современниками. Да и потомки ничего бы о нем не узнали, поскольку колесо истории закрутилось бы совсем в другую сторону. Но в посмертии, перед Божьим Судом, не было бы души чище и свободнее...

Щелчок вынужденной мысли в голове... Решение принято. И еще теплится надежда, что лицейский друг выстрелит первым, не промахнется... Но в тот самый миг, когда шпага прорезает холодный воздух, уже живет четкое знание предстоящей катастрофы.

Выстрел.

Данзасу все историки ставят в вину, что он не приготовил заранее медикаменты, перевязочный материал, не позаботился о присутствии врача на дуэли. Даже карета, в которой раненого поэта доставили домой, была одолжена Дантесом и его секундантом. Этому есть только одно объяснение. Константин Карлович до самого последнего момента был уверен, что дуэль не состоится. Что поединок расстроится законным или незаконным способом, что он сам, наконец, не допустит, этого поединка. Но вышло иначе. Так человек, уверенный в одном решении, сам для себя неожиданно принимает другое. И в самый последний момент Данзасу просто не хватило сил.

Муки совести разрывали его душу напополам. После короткого ареста и освобождения он отправился на Кавказ и буквально искал смерти. Но пули летели мимо, сабли скользили по непонятой дуге, и только чувство глубочайшего стыда сжигало изнутри. В насмешку судьба подкинула ему еще одну утрату.

В 1840 году Михаил Юрьевич Лермонтов был сослан на Кавказ. По личной просьбе Данзаса, он был зачислен ротным командиром в его батальон пехотного Тенгинского полка. Данзас берег его, второго поэта России: боевые задачи по возможности обходили роту Лермонтова стороной; когда весь батальон отправляли в Крым, в самую гущу сражений с турками, рота Лермонтова в составе сводного полка отправляется в сравнительно спокойную Чечню. Данзас словно вымалывал у судьбы прощение за допущенную минуту малодушия и берег Михаила Юрьевича всеми доступными способами. И снова не уберег. Прямой вины нет, да и не может быть; Лермонтов возвращался из отпуска, когда по злополучной случайности заехал в Пятигорск. Данзас со своим батальоном давно был к тому времени на балканском театре военных действий. Но... гроза, подножие Машука, презрительное легкомыслие поэта...

И снова выстрел. И снова отголоски его раскатываются в душе Данзаса.

Мы чем-то похожи с этим несчастным человеком. Даже внешне что-то такое есть: погрустневшие брови, рассеянный взгляд, утрачивающий свою крутость подбородок... Но главное в другом. Он ничего не смог сделать, чтобы спасти поэта. Я ничего не смог сделать, чтобы уберечь любовь. Это самое отвратительное – осознавать происходящую катастрофу, шкуркой чувствовать, что любовь единственно нужного тебе человека улечушивается тонкой струйкой, – душа полна щелей, не заткнутых дыр, еще и окна нараспашку. А что можешь ты? НИ-ЧЕ-ГО!

Нет, в принципе, много всего мелкого и ненужного можешь: чистить табельное оружие, ходить в наряды, бегать на зарядке, дремать во время занятий, отрабатывать строевые приемы, чистить снег, мыть посуду, полы, отдавать воинское приветствие каждому проходящему мимо мудаку... А любовь спасти не можешь. И от этого все остальные твои действия сразу же теряют всякий смысл. Он и так был небольшой, а тут его совсем не стало. И ты тупо живешь без смысла. Как долго такое существование будет продолжаться, никто не знает. У Данзаса оно всю жизнь длилось. И ты от подобного исхода не застрахован. Ведь он, как и ты, – просыпался каждое утро и думал: ну вот опять, когда же это закончится!? ну может через месяцок полегчает?

И я просыпался с такими же мыслями. И с ними же засыпал. И снова просыпался... И так нескончаемая вереница дней. Гипотетически, можно было что-то ей написать: несчастно-слезливое, плаксивое, умолять не делать глупостей, с обещаниями все простить. Или выстроить из кубиков презрения пирамиду оскорбленного, но гордого мужчины. Мол, все бабы стервы, другого я и не ждал. Я пользовался по очереди то одним, то другим способом, в зависимости от настроения. Но при этом прекрасно понимал, что ни тот, ни другой мне не помогут.

Когда боль оказывается нестерпимой, она перерастает саму себя, становится тягучей, сладкой, как нуга из шоколадного батончика. Она перестает выходить стихами. То есть, стихи, в принципе, пишутся, а легче себя не чувствуешь. Да и стихи дурацкие получаются. Одни и те же штампы кочуют из стихотворения в стихотворение, «любовь» не может найти другой рифмы, кроме вечной «кровь», – в топку такие стихи.

И ужасно хочется поговорить с ней, вживую или хотя бы по телефону. Потому что письмо может быть случайным порывом. Ты опустил его в почтовый ящик, а порыв вдруг прошел. Только письмо уже не вернуть. Я убеждал сам себя, что именно так оно с ней и было, порыв, не больше,

глупость, непредусмотренный вариант сюжета, backstage. Но потом разум язвительно вклинивался и объяснял, что при таком раскладе должно быть еще одно письмо, сразу же посланное вслед ошибочному и минутному. И в этом следующем как раз все разъясняется, мол, извини, погорячилась и все такое. А ты чего губу раскатал? Писем-то больше не было.

А если на почте затерялось?

Не глупи. Сам-то в это веришь? В наше время на почте только терпение потерять можно. А все остальное доходит в целости и сохранности.

Паршивость момента усложняется еще тем, что совершенно не с кем поделиться. Не потому что не поймут (добрая половина товарищей уже ходят по роте с цветущими рогами и прекрасно знают об этом), просто чужие проблемы в армии на хрен никому не нужны. Своих по горло хватает. И ты закупориваешь все в себе. И ходишь, ходишь, расплескиваешь, подтираешь и снова идешь...

Ну, кому мог рассказать Данзас о своих переживаниях? Если бы и нашелся человек, который понял бы все до конца и правильно, как оно на самом деле в душе разворачивалось, то, что с того? Пушкина не вернешь. И есть муки, о которых никому нельзя рассказывать, ты сам их должен взвалить на плечи и донести до вершины своей собственной Голгофы. Может быть там, на вершине, успокоение и наступит, хотя наверняка никто этого тебе не может гарантировать. Совесть не кредит, процентов не просит, но и меньше положенного не возьмет.

Решение отправиться на Кавказ было спонтанным. И правда, чем я хуже Данзаса? В этом поступке мне виделся отчетливый трагизм, сознательный шаг к гибели. Чечня всегда представлялась мне в свете романтического ореола, который привлекал мужественностью войны, подвигами: турниры, рыцари, грудью на амбразуры... Родные и близкие плачут над гробом, и особенно убивается та единственная, ради которой все и затеяно. И, конечно же, она осознает всю степень своей вины. Да, в этом ключе Чечня привлекала меня, как, верно, смерть Илюшеньки привлекала Достоевского в финале его последнего романа. Но главное было в том, что это решение разрубало гордиев узел моей несчастной любви. Боль, ревность, отчаяние настолько прочно обосновались в душе, что успели перемешаться и забродить; это хмельное варево ударило в голову и требовало незамедлительных действий, реакции. А что я мог, находясь безвылазно в своей казарме? Нет, ну что на самом деле я мог?.. А тут тебе полный простор: и решение, и действие.

Когда тебя бросает любимый человек, когда ты понимаешь, что уже ничего не будет так, как прежде, возникает жгучее желание отомстить. А сделать это лучше всего можно только одним способом: заставить испытать его глубочайшее чувство вины за свой поступок.

Я убеждал себя в том, что еду на поиски смерти. Тогда как на самом деле хотелось всего лишь побольнее ударить в ответ. Война выбьет эти бредни из моей головы, научит ценить и любить жизнь как бесценный дар, данный нам свыше. Но это будет потом и не сразу.

Покупателей было двое. Прапорщик и подполковник. И были они настолько не похожи на офицеров нашей обычной, мирной части, что это сразу бросалось в глаза. Легкая небрежность во внешнем виде, так, на уровне допустимого; манера держаться и разговаривать просто и обычно, без армейских штампов в речи, без чувства офицерского превосходства и приказного тона. Они разговаривали с нами на равных, и это не укладывалось в ворота моего понимания. Подполковник был одного звания с нашим командиром батальона, но мне даже в голову не приходило поставить их рядом, или представить одного на месте другого. И еще чем-то настоящим, из прошлой, доармейской жизни веяло от обоих.

– Зарплата рядового контрактника в должности стрелка рассчитывается от восемнадцати тысяч. Меньше этого никто не получает. Ну а дальше – в зависимости от должности, звания и выслуги. Да, служить придется три года вместо двух, но зато денег заработаете. Кормежка бесплатно, форма, белье, крыша над головой – служи не хочу. И кормят не так, как в вашей столовой. Заходили тут, да и ушли голодными, с нашими порциями вообще не сравнить. Сейчас в Чечне не так, как во вторую кампанию, даже не так, как год назад. Грозный практически полностью отстроили, с каждым днем становится все лучше и спокойнее. К тому же, вы ТСОшники, так вообще безвы-

лазно в части будете сидеть. Отпуска два раза в год, основной и ветеранский. Да, кстати, корочки получите. Ветеран боевых действий. А это пожизненная пенсия и льготы.

Конечно, опасность есть. Кавказ всегда был самым горячим регионом нашей страны. Но я так скажу: кому суждено утонуть, того не застрелят. Тебе и дома может на голову кирпич упасть. И никуда ты не денешься. А если все правила безопасности соблюдать, то риск вообще минимальный. Неуставных отношений вообще нет, все ребята взрослые, контрактники, все деньги зарабатывают. Так что решайтесь. Силком никого мы не тянем. Тут дело добровольное. Чтобы не было потом песен, мол, меня заставили. Но по мне так: лучше вернуться после службы с реальным боевым и жизненным опытом, да еще с деньгами в кармане, чем не пойми кем. От армии нужно брать все по максимуму, и вам такая возможность сейчас предоставляется...

Он еще много чего говорил, этот подполковник, но я слушал вполуха. В открывающемся решении деньги, корочки и льготы играли самую последнюю роль. Словно спала туманная пелена, и чистый горизонт открылся перед глазами. Возможность переключиться, забыть, отказаться от любви и сентиментальных стихов, и при этом взрезать Верочке сердце острым ножом ответственности за свой поступок. Она предала меня в самый тяжелый момент моей жизни, когда была нужнее всего ее поддержка, теплота и любовь. И пусть все это жизнь, пусть никто от случившегося не застрахован – для меня это не аргумент. Просто потому, что легче от него не становится.

Еще в этом решении была попытка вырваться из круга. Когда-то давно, будучи маленьким мальчиком, я расспрашивал у мамы про свое будущее. А она с улыбкой рассказывала мне, что сначала я пойду в школу, после этого поступлю в институт и получу хорошее образование, потом нужно будет отслужить в армии, зато по возвращении меня ждет интересная работа, свадьба, семья и дети. Я слушал ее, и мне делалось удивительно спокойно от того, что каждый шаг заранее известен, просчитан, отшлифован многими поколениями. И только позже я догадался, что в этом замечательном будущем было все, кроме меня самого. И как только я это понял, сразу же захотелось вырваться за рамки магического круга, доказать всему миру и самому себе, что воля, мысли и желания отдельно взятого человека многого стоят, и именно они возвышают мыслящего индивидуума над серой массой. Не учел я только одного. Мне казалось, что круг этот существует в единственном экземпляре, но их на деле оказалось великое множество. Жизнь – хитрейшая вертихвостка. Она придумала так, что стоит тебе вырваться из привычного круга, оттолкнуться от него и пуститься в свободное плавание, как тебя тут же засасывает в новую окружность. Происходит это незаметно, как бы невзначай, но когда она плотно смыкается, принимая тебя в свои объятия, – только тогда начинаешь распознавать всю дьявольскую хитроумность замысла. Барахтаешься, размахивая ручками и ножками, а изменить уже ничего не можешь. И тогда начинаешь делать все, чтобы вырваться уже из этого, нового круга, слепо надеясь, что уж он-то точно окажется последним. Потому что необходимо надеяться. Потому что без надежды действительность теряет вкус. Пусть лучше она будет горькой.

После принятого решения мне на самом деле стало легче. Отдаленная цель замаячила впереди. Я покидал старый круг, Веру, прошлую жизнь. Впереди была неизвестность, но ведь это и является самым сладким. В неизвестности кроется иллюзия свободы. Она не заявляет о себе напрямую, лишь намеком очерчивая загадку и тайну, но даже этот невинный жест нам кажется подарком судьбы. Ты выходишь из круга, он равнодушно смыкается перед твоими глазами; в новый круг ты еще не успел ступить, из старого уже вышел, и возникает короткая секунда, во время которой не жизнь держит тебя в кулаке, а ты ее. И все горизонты открыты. В этот момент ты возвышаешься над системой, преодолеваешь ее. Компьютер судьбы дает сбой. Конечно, в самое кратчайшее время он перезагрузится, но остановившегося мгновения свободы у тебя уже никто не отнимет.

У Данзаса была возможность выйти из круга, но ему не хватило сил. А я свой шанс упускать не собирался. Еще крутилось на языке такое пафосное предложение: дорога к славе у русского поэта лежит через Кавказ. Ах, как я собой любовался в тот момент. И настолько был увлечен красотой своего решения, что просмотрел ту самую неповторимую секунду.

Рядом со мной жили люди, каждый из них неторопливо шествовал по своему кругу. И мое

решение не имело для них ровно никакого значения. Был свой круг и у Веры, в который она стремительно ворвалась с улыбкой Моны Лизы. И у молодцеватого подполковника был свой круг. И нет на самом деле подвига в том, чтобы вырваться из него. Истинное величие – пройти этот круг полностью, не споткнувшись, а на месте стыка конца и начала оставить зарубку: «я здесь был».

го.

В личной тумбочке каждого солдата должен храниться строго определенный набор вещей. Он прописан уставами, и ни один лишний предмет не должен туда попасть. Только самое необходимое для службы: тетрадки с конспектами занятий по боевой подготовке, ручка, карандаш, линейка, ногтегрызка, нитки черные, белые и зеленые, иголка, белая ткань для подшивочного воротничка, набор умывальных принадлежностей. Все. Ни письма из дома, ни фотографии, ни сувениры, ни компакт-диски или книги, ни продукты – ничего больше не должно находиться в солдатской тумбочке. И в этом есть глубокий смысл.

Устав, дисциплина, армейский уклад, строевая подготовка – все эти составляющие централизуются в одном месте и времени и доводят человека до состояния винтика в хорошо отлаженном механизме. Винтик крутится, сдвигает шестеренки, колесики, но стоит ему задуматься о своем предназначении, как он тут же начнет ржаветь, давать сбои. Винтик начнет вспоминать другую жизнь, лучшую, свободную, начнет тосковать по ней, и ржавчина перекинется на другие винтики и гаечки. Но чтобы не допустить остановки всего механизма, нужно сделать одну простую вещь: отнять у винтика эту память. Или, на худой конец, затушевать ее.

Письмо, фотография, статуэтка, фенечка – все эти предметы подпитывают память, не дают ей заснуть. Важна не вещь сама по себе, а те смыслы и образы, которыми мы ее наделяем, важны события, которые связаны именно с этим определенным кусочком материи. Устав запрещает хранить не вещи, а память. Именно ее он выкорчевывает из сознания человека; каждой буквой, каждой строчкой стирая прошлую жизнь. И человек уже не человек, а часть механизма, колесико, крутится себе, вертится и ни черта не помнит. И не ржавеет.

Мне приходилось сжигать все письма, отдавать в каптерку все присланные фотокарточки и маленькие сувениры. Но мою память нельзя было просто взять и стереть, она подпитывалась любовью. И вдруг иссяк живительный родник... Стало безразлично, в какую сторону жизнь сделает новый виток. Ведь если нет памяти, то и сравнивать не с чем. А армейская машина не стояла на месте и стирала, стирала, стирала... За считанные недели в воспоминаниях были пробиты чудовищные бреши.

...Вот я еще вижу свой день рождения. Я сижу рядом с Верой, за столом друзья: Юлька, Аня, Мушка, Блинчик, Слава, Серега... Мы едим шашлык, пьем вино, нам определенно весело. Все по очереди произносят тосты – я не помню, что именно мне говорят... Потом я играю на гитаре... Какую песню? Что я играю?.. Вижу, как Вера смеется и что-то шепчет мне в самое ухо... Не помню, что она говорит. А что потом? Гости ушли или остались до утра? Мы легли спать или занимались любовью? А может быть, поругались? Или пошли гулять по ночному городу? Я не помню, я ничего не помню...

Или вот лето на юге, где мы и познакомились. Помню море, смех, помню Верины глаза... Себя не помню. Что я делал? Кружил ее на руках, стоя по грудь в воде? Целовал? Лежал на берегу? Какие-то отдельные обрывки воспоминаний маячат перед глазами, то мы валяемся на песке, то сидим у костра, то целуемся на балконе. И как-то все статично, без стержня. И совершенно не понятно, о чем мы говорили тогда. Словно смотришь телевизор с выключенным звуком...

Нет, помню! Помню истерику и слезы. Вера шепотом орет на меня, в соседней комнате спят ее брат с женой. Или делают вид, что спят. Она кричит, что я тряпка, слабак... Что я алкоголик. Трус. А я с перекошенным ртом сжимаю кулак, замахваюсь и лишь непонятным самому усилием воли останавливаю удар у самого ее лица... Помню, помню, черт возьми!

Память словно вывернула себя наизнанку. Спрятала все светлые моменты и выставила напоказ одну злобу и желчь... Армия, миленькая, сотрешь?.. Ишь, чего захотел! Я, солдатик, барышня

избирательная. Туфту себе оставь, а я что почище да получше сотру. Чтоб ты, сука, злее был.

И рождается невероятный цинизм в общении.

– Филя, у тебя много баб было?

– Да, не считал.

– Трахал их?

– Ох, я их трахал... Драл, по чем свет стоит.

– Красивые?

– А то!

– А как кадрил их?

– Да по-разному. В клубе, в компании, просто на улице. Одна козочка влюбилась в меня по уши, а я развел ее на все что можно, поматросил и бросил.

– Так с ними и надо, стервами.

– Резеда ее звали.

– Что?

– Ничего... Это точно. Так с ними и надо.

– Наше дело солдатское.

– Вот вернись на гражданку, держитесь бабы...

Словно волчью ягоду надкусываешь, и ее сладкий сок ядом стекает по губам. И не было стыдно за этот цинизм. Губы выплескивали в атмосферу словесную грязь, но вместе с ней выходила и боль. На какое-то мгновение становилось по-настоящему легче, а стыд при таких раскладах превращался не более чем в относительную категорию.

В ночь перед отправкой мне не спалось. На соседней койке ворочался Пашка Зотов. Казарма мирно сопела. С ребятами мы попрощались еще до отбоя, пожали всем руки, пожелали удачи, спокойной службы и скорого дембеля. Кем они были для нас? Сослуживцы? Товарищи? Одинаковые солдаты. Разные люди. Я больше никогда в жизни их не увижу.

– Паш, пойдем покурим? – предложил я.

– А сержанты?

– Да плевать на них.

– Ну, пойдем.

В туалете было холодно. Бил в нос запах хлорки и сильно сквозило из открытой форточки.

– Ты зачем контракт подписал? – спросил я.

– А у меня вариантов не много. Это ты у нас из Питера, а я из Мухосранска. Армия – ладно! А дальше что? Я в деревню не хочу возвращаться. Старики да бабы одни, полторы калеки. А из молодых кто остается – все бухают поголовно. А так я денег заработаю, а после дембеля в город рвану. Буду там жизнь устраивать.

– Сколько тебе лет?

– Девятнадцать.

– Шустро соображаешь.

– Я институтов не кончал, ничего за ум не скажу. А только ты в деревне поживи с мое – посмотрю, как ты заговоришь. Отчим как нажрется, так сразу за топор хватается. Как там маманя без меня с ним...

– Пишет?

– Да все нормально, пишет. Только из нее слова не вытянешь. Я, перед тем как в армию идти, отмудохал его крепко. Сказал, если тронет мать пальцем, вернусь – убью. Вроде испугался. Только если и будет что, мать все равно не признается. Такие вот дела.

Мы не торопясь закурили. Потом, не сговариваясь, закурили еще по одной.

– Филя, а тебе не страшно?

– Нет, мне все равно.

– А мне страшно немного. Война все-таки. Нет, если убьют, то тут и бояться нечего, не успеешь испугаться. А если покалечит? Ногу там оторвет или руку? Кому я на хрен буду нужен, калека такой?..

- Еще не поздно отказаться.
- Да я знаю. Только не солидно как-то.
- Зато живой.
- Так-то оно так, только подпол этот правильно сказал: кому суждено утонуть, тот не повесится.
- Того не застрелят.
- Ай, без разницы. Что на роду написано, то и случится.
- Может и так, Паш, может и так...
- Ты-то чего в Чечню поперся? Тебе вообще полгода до дембеля. Образование там есть, в городе живешь. Долбанутый ты какой-то.

- Да ты не поймешь.
 - А ты попробуй, скажи.
 - Из-за бабы.
- Пашка внимательно посмотрел на меня, выдохнул дым, потом улыбнулся.

– Ну, точно долбанутый.

– Может, и нет там никакой войны? Так, сказки... По телику вообще ничего такого не говорят.

Мол, в Багдаде все спокойно.

- Может, и нет. Приедем, увидим. Говорят, там черные зарплату отбирают.
- У тебя не отнимут, у меня тоже. Чего волноваться? Да и прогон это, мне кажется. Те, у кого отобрать можно, сами туда не поедут.
- Тоже верно... Я вот что решил. Если без ноги останусь, то сам застрелюсь. Или вздернусь, как Бизякин. Лучше уж сразу, чем всю жизнь мучиться.
- Ну и дурак.
- Так всем лучше будет.
- Да мне вообще насрать. Хочешь вешаться, дело твое. Мне своих проблем хватает.
- Я знаю, дружище.

Мы оба весело засмеялись. Ночь, тишина, неторопливые затяжки... Мы были рядом. Жизнь была рядом. А Чечня еще была далеко. Мы ничего не знали о ней, она не знала о нас. А если в Чечне есть смерть, то значит и смерть ничего о нас не знает. И от этого становилось если не спокойнее, то как-то проще, уверенней. Как в раннем детстве, когда спасаясь от гнева рассерженной матери, я садился на пол и закрывал глаза ладошкой. Мне казалось, что если я никого не вижу, то значит и меня не может никто увидеть. И в этом неведении я обретал свое спасение: мать, уже занеся руку с полотенцем над головой, улыбалась и отступала, не желая разрушать мою эгоистичную наивность.

Мы с Пашкой курили в холодном туалете и были маленькими детьми, которые закрыли глаза ладошкой.

- Может еще по одной?
- Не, у меня сейчас никотин с конца закапает.
- Ладно, тогда спать. Через пару часов уже вставать.

Перед тем как лечь в кровать, я достал из кармана сигареты и положил их в тумбочку.

II.

Утром мы построились на плацу, закинули вещмешки за спину и ровной колонной двинулись к выходу из части. Будущие контрактники, цвет вооруженных сил, человек пятьдесят со всего полка. Все происходящее казалось каким-то сном. Жизнь делала свой очередной виток по спирали. Железные ворота захлопнулись за спиной, и я впервые за многие месяцы увидел город.

Нет, я не просто его увидел. Город обрушился на меня, со всеми своими домами, витринами, рекламными вывесками, спешащими на работу людьми. Я крутил головой из стороны в сторону и жадно вбирал глазами мельчайшие детали обычной городской жизни. Вот мама провожает в школу свою дочку, здоровый мужик с опухшим от пьянства лицом идет на работу, едут машины, каждая по своим делам. И мне не передать, до чего же все это было красиво, просто нет таких слов ни в одном языке мира. И даже воздух имел другой запах. Так пахнет свобода.

Утро было прохладным. Все небо заволочло тучами, но вдруг на несколько секунд они расступились, и я увидел солнце: тусклое, грязновато-желтое. Словно нашкодивший щенок выглядывает из-под дивана и тут же прячется обратно. Но даже это блеклое солнце наполнило мою душу восторженной радостью. Я смотрел на него во все глаза, не отрываясь, и пусть оно не взрело их слизистую, пусть появилось на небе ненадолго и украдкой, – я был счастлив. Потому что впервые за многие месяцы солнце стало свободным. Вместе со мной.

Величайшим чудом казалось абсолютно все: грязные скамейки, продуктовые магазины, старушка, выгуливающая свою собачку. И даже полки в плацкартном вагоне показались мне чудом цивилизации, впервые плоскость под моей спиной не продавливалась со скрипом.

Нам с Пашкой достались верхние полки, а внизу нашими соседями оказались две молодые девушки, уезжающие в отпуск. И их присутствие тоже казалось мне подарком судьбы. Симпатичные, миловидные, простые в общении... Мы сразу же купили пива, и нашли с ними общий язык. Закипела молодая кровь в жилах.

Одну звали Настя, другую Вика. И мне нравились обе. Как и Пашке. Отсутствие женского общества раздражает, злит; а самое главное – закупоривает какие-то важные комнатки во дворце мужского сердца. И вдруг они разом открылись... Мы шутили, смеялись, балагурили. Пашка вел себя развязно и нахраписто, я делал упор на свою интеллигентность; и еще военная форма – редкую женщину она оставит равнодушной. Рядом со мной сидела Настя, смешная курносая блондинка, не красавица, совершенно обыкновенная; глаза ее искрились от такого напора мужского внимания, а я никак не мог остановиться, хоть как-то сдерживать себя, и говорил, говорил, говорил... У меня кружилась голова от запаха ее дешевеньких духов; я обнимал ее за талию, ощущал кончиками пальцев теплое женское тело... Боже, это сводило с ума! Кровь хлесткими потоками била в голову и пах! А Настя задорно смеялась, прекрасно понимая мое состояние.

Мы вышли с Пашкой в тамбур покурить.

– Слушай, Зотов, я так больше не могу. У меня сейчас яйца взорвутся, – произнес я.

– Ты не один такой.

– Надо что-то делать.

– Если только в туалете. Но они хрен согласятся. Я бы не согласился на их месте.

– Надо попробовать. Эх, Паша, как говаривал Чингисхан, города надо брать обаянием.

– Херня. Силой их надо брать. И города, и баб.

– Если обе откажут, я кого-нибудь из них изнасилую.

– Даже не думай, Вика моя.

– Твоя, твоя, как три рубля.

– Эх, я бы ее...

– Давай так, сейчас еще пивка попьем, а ночью, когда в вагоне уснут все, что-нибудь придумаем.

Да они и сами хотят, все видно прекрасно. Если не в туалете, то можно будет в тамбуре попробовать.

– Добро. Я если не трахнусь сегодня, то один хрен заснуть не смогу...

Ночью мы с Настей вышли в тамбур. Она жеманно улыбалась. Я нервно курил. За окном в невероятной суматохе проносилась разнотонная мгла.

– Ну что, защитник отечества, так и будешь стоять?

А меня вдруг охватил столбняк. И еще дрожь: густая, с покалыванием. Я не мог сдвинуться с места. Все мои желания и чувства сосредоточились в области паха, и казалось, ступи я один шаг навстречу девушке, как внутренние перегородки рухнут, и взведенный снаряд похоти взорвется без малейшего участия курносой блондинки.

– Что-то не так?

– Да не, все нормально. Просто... у меня полгода никого не было.

– Не бери в голову. Расслабься.

Она подошла ко мне, обняла, положила голову на плечо. Вся жаркая, близкая, настоящая... У меня перехватило дыхание. И больше не осталось сил сдерживаться. Я подался ей навстречу, сжал ладонями белое пышное тело, крепко сжал, до хруста в сведенных пальцах и, теряя остатки раз-

ума, с утробным выдохом сожрал ее губы своими... Судорожно снимал штаны, путаясь в брючном ремне, с одной только мыслью: успеть, успеть...

Это произошло очень быстро. Два резких движения, гортанный хрип, мурлыкающий стон. В нашей близости не было красоты – лишь голая и неприкрытая животная страсть, но вся онтология бытия поместилась в два моих резких движения. Вместе с семенем выплеснулись сомнения, тревога; даже любовь к Вере перестала болеть. По телу разливалась волна сытого довольства, а пустота в душе стала спокойной. Как будто, так и должно было быть.

– Извини... Но... Сама понимаешь...

– Все нормально. Я где-то так себе и представляла.

– А...

– Теперь твоя душенька довольна?

– Моя-то да. Ты просто прелесть.

– Я знаю. – Настя очаровательно улыбнулась, на этот раз просто, без жеманства и наигранного кокетства. – Ты только не подумай, что я со всеми так.

– Серьезно?

Меня всегда веселила эта сугубо женская черта: любыми средствами оправдаться.

– Да пошел ты, придурок!

– Извини, меня несет чего-то. Это все алкоголь. Просто... тебе все это зачем?

– Пожалела тебя, дурака!

– Вот как. Интересно.

– Слушай, чего ты хочешь? Да, ты мне сразу понравился. И было видно по тебе, что изголодался не на шутку. Но если бы не форма, то ничего бы и не было. Я просто вошла в твое положение. Вот и все. Поверь, спать с первым встречным в поезде не предел моих мечтаний.

Она поправила волосы и улыбнулась... Вериней улыбкой. Сходство было настолько поразительным, что я сперва опешил, а потом часто заморгал. Но морок не проходил. И мне вдруг захотелось унижить ее, оскорбить, причинить намеренную боль. Эта ее улыбка... Она обнажила зияющую яму в глубине моей души. Такую, что не засыпать песком, не зарыть, не зарубцевать. А главное, в этой улыбке было понимание того, что ничего уже не будет так, как прежде. И можно спать с кем угодно, уезжать хоть на Кавказ, хоть в Антарктиду, можно проклинать любовь, ненавидеть всех женщин – это ничего уже не изменит. А я обречен видеть Верину улыбку в каждой курносой блондинке, в каждой цветной обложке, за каждым углом и в каждом кафе. И так бесконечно...

– Сделай мне минет!

– Что???

– Чего непонятного! За щеку, говорю, возьми!

– Ах ты урод... – Настя замахнулась, но я успел перехватить руку.

– Да ладно, чего ты ломаешься. Тебе понравится. Не сосала что ли ни разу?

Она стояла передо мной удивленная, ошарашенная, горящая и униженная. И была не в силах ничего ответить, лишь открывала и закрывала рот, как рыба, выброшенная на берег. А потом обмякла, опустила руку и заплакала. И... Нет, ничего не шевельнулось в душе.

– Иди спать, шалава.

У девушки не было сил никуда идти. Она облокотилась на стену, а потом ноги задрожали, она закрыла лицо ладонями и сползла на грязный, заплеванный пол. И громко заревела.

Я докурил и пошел спать, оставив ее одну. На соседней полке уже давно дрых Пашка Зотов.

12.

Бабушка насыпала мне полный карман семечек. Я попытался всучить ей несколько мятых купюр, уговаривал, но она только возмущенно махала руками.

– Служи, солдатик! Только не войой! – произнесла она на прощанье.

Я лишь рассеянно улыбнулся в ответ, схватил вещмешок и побежал догонять остальных.

Москва гудела. Ленинградский вокзал был похож на муравейник, все сновали туда-сюда, с ба-

улами и без; ларечницы торговали отвратительными чебуреками, водой; плели свои хитроумные сети таксисты и грузчики; рота солдат была для них всех лишь мимолетным пейзажем обыденности. А меня такое скопление людей в одном месте оглушило и взволновало. И даже залетная мысль промелькнула: а ну как бросить все к чертовой матери и дезертировать...

И тут я увидел ее. Маша. Машка. Машенька. Девушка из моей далекой юности. Первая любовь, если так можно назвать. Идиотская вообще это фраза – «первая любовь». Просто родной человечек. С которым легко молчать и дышать одним воздухом. С которым можно разговаривать одними глазами. И каждый раз прощаться, как навсегда.

Я еще из части написал ей смс, сообщил время прибытия и номер поезда, но до самого последнего момента не верил, что она придет. А она пришла, подлетела ко мне, вся легкая, почти невесомая, обняла за шею и ткнула носом куда-то в плечо.

– Ну, здравствуй!

– Здравствуй!

И нам больше ничего не надо было говорить друг другу важного и ответственного. Радость встречи опознавалась без слов.

– Ты понимаешь, я чуть не опоздала! Летела на всех парах, а на Тверском бульваре в пробку попала. Автобус минут сорок двигался со скоростью черепахи. Я уже думала, что не застаю тебя. Ты понимаешь? – она тараторила и улыбалась.

– Понимаю. Ты бы меня потом не нашла. У меня батарея села на телефоне, а зарядить – сама видишь. Я всего на несколько часов в Москве, потом у нас пересадка, и – в Грозный.

– Ты дурак! Ты самый большой дурак в этом городе!

– Я знаю! И я чертовски рад тебя видеть! – я улыбался во всю грудь.

– Ну, зачем, зачем тебе все это надо?

– Ты получила мое письмо? Я же все там рассказал...

– Да, получила! Только ты все равно дурак!

– Может, это наша последняя встреча...

– Ты даже вслух такое не произноси. Иначе я обижусь и уйду!

– Все-все, больше не буду. Ма-а-а-ашка...

Я ловил на себе завистливые взгляды сослуживцев и надувался от гордости, как павлин. Самая красивая девушка Москвы держала мою ладонь в своей, глядела на меня с улыбкой, и все это прекрасно понимали.

Потом мы перешли площадь трех вокзалов, обосновались на Казанском и кинули вещи в углу у стены. Можно было перевести дух.

– А как у тебя с личной жизнью?

– Ее нет, – Маша загадочно улыбнулась в сторону. – То есть, любовь есть, а личной жизни нет... Я тут принесла тебе кое-что. – Она открыла свой рюкзачок и достала синюю папку. – Тут мой новый рассказ. В поезде считаешь. А пока в двух словах расскажу. Это женщина. Ее зовут Софья.

– Что???

– Не перебивай. Я первый раз ее увидела в магазине сувениров. Знаешь, есть такие, продают всякие индийские статуэтки, благовония, эзотерическую литературу...

– Ну.

– Она просто сразу оказалась не такой, как все. Вот моментально. Я заглянула ей в глаза, и мне хватило нескольких секунд, чтобы понять, что меня неудержимо влечет к этому человеку. В ней... Как бы тебе сказать... словно бы вся мудрость мира сосредоточилась. Она купила какую-то книгу, мы обменялись с ней взглядами, улыбкой, а потом она вышла из магазина. Понимаешь? Я сразу же почувствовала, что от меня уплывает огромная звезда нечеловеческого счастья. И если я сейчас же ее не остановлю, то потеряю навсегда. И я пошла за ней. Как дура, держалась в стороне всю дорогу. В метро мы ехали в разных концах вагона. А я все никак не могла собраться с силами, подойти и познакомиться. Потому что... Это все равно что с небожителем знакомиться!

А потом я потеряла ее. Была толпа в вагоне, она вышла, а я не успела пробиться. Ты же видишь, какая я маленькая... Мне казалось, что это катастрофа, крушение мира, вселенский потоп!

Меня всю трясло, колотило... Оставалась одна зацепка – магазин. И я стала дежурить возле него все свободное время. И ничего, никакого результата. Нескольким месяцам прошло, я уже совсем отчаялась, и вдруг на витрине этого магазина увидела объявление, что им требуется продавец! Представляешь! Это был просто подарок судьбы. Мой счастливый билет. Я устроилась к ним на работу, выполняла обычные обязанности продавца, а сама ждала, ждала все это время. И знаешь, была уверена на сто процентов, что однажды эта женщина еще раз зайдет. И при этом прекрасно понимала, что мне, как продавцу, уже точно может не хватить смелости. Тогда я заранее написала записку, и указала там номер своего мобильного... Детство, да? Шпионские игры и все такое, да!? Но это-то и было здорово! Как будто с головой ныряешь в авантюру, без уверенности выплыть на поверхность... А-а-а... У меня даже ноги тряслись от волнения.

И однажды эта женщина снова вошла в магазин. А вместе с этим и в мою жизнь. Опять купила какую-то книгу, а я в закладку подложила ей свою записку. Конечно же, практически сразу пожалела об этом, корила, ругала. Софья позвонила мне в тот же вечер, я что-то мямлила, оправдывалась, а она предложила встретиться. И в тот момент я чувствовала, как она улыбается на другом конце провода.

Маша замолчала, о чем-то задумалась и снова стала улыбаться вдаль.

– Она замужем?

– Нет, она тоже лесбиянка.

– Что значит тоже? Маша, ты нормальная, ты не лесбиянка!

– Да это вообще не имеет значения. То есть, пол – это не важно для любви. Просто у нас глупые стереотипы на этот счет. Или привычка поколений.

– Она не любит тебя?

– Любит, но... по-своему. Как ребенка или сестренку. Ей сорок лет. И у нее давно есть другая женщина. Она живут вместе. А меня она зовет своей Мышей, – она снова улыбнулась, но уже теплее. – Да все нормально. Я не переживаю на этот счет. Бог одаряет нас любовью совсем не для того, чтобы мы ссорились или ревновали. Любовь – это прощение, вечное пожелание счастья. Любовь – это свет, но только от нас зависит, будет ли он сфокусирован в одной точке, или охватит все окружающее пространство.

– Ты действительно так считаешь?

– Конечно! Только так и можно любить по-настоящему.

– А как же счастье?

– Любовь сама по себе уже великое счастье.

– Не знаю, у меня так не получается.

– Надо просто посмотреть с другого угла. Если чувство подпитывается собственничеством, то оно не настоящее. Вот и все... Ладно, не заморачивайся. Я знаю, у тебя и без этого проблем хватает. Это не панацея – лишь моя позиция.

– Ну, хорошо. А дальше-то что будет? Ты думала?

– Нет. А зачем?

– Неужели тебе никогда не хотелось быть по-настоящему счастливой?

– Дим, ты меня не понимаешь. Я счастлива, – она произнесла это просто, но с огромной силой. И невозможно было не поверить. – Я очень рада, что Софья появилась в моей жизни; что мы можем встречаться, разговаривать, улыбаться друг другу. Я счастлива, что она не злится, когда я бужу ее среди ночи звонком, чтобы прочесть только что написанное стихотворение. И каждое утро я просыпаюсь с ощущением свободы и легкости, ожиданием предстоящих открытий нового дня.

– А как же физиология? Потребности тела?

– Ты имеешь в виду...

– Да, именно это.

– Я, наверное, какая-то фригидная, но для меня секс вообще не имеет никакого значения. Тем более, я не смогу отдаться человеку, которого не люблю. Даже симпатия и влюбленность не в счет. Ты просто сам для себя всегда знаешь, настоящее это чувство или так, природа проказничает. И совершенно не важно, порхают в животе бабочки или нет.

– Ты не пробовала написать пособие для безнадежно влюбленных? – попытался я перевести

разговор в шуточное русло. – Судя по тенденции времени, будет пользоваться бешеным спросом.

Маша шутку не оценила:

– Нет универсальной формулы. У каждого свой путь. И свое понимание любви. Даже самый заманчивый «бутик» не вызывает желания зайти, когда глядишь на него из окна переполненной маршрутки.

– Это к вопросу о точке зрения?

– Просто мысли вслух.

Она вдруг показалась мне очень уставшей, как пчела, всеми лапками завязнувшая в банке с вареньем: уже не жужжит, не пытается улететь, а терпеливо ждет, когда всеильный Бог возьмет ее двумя пальцами, вырвет из плена и задумается, – отпустить или раздавить.

– А еще любовь всегда дает невероятный творческий импульс. Ты не поверишь, я пять картин написала за несколько месяцев, буквально одну за одной. А идей в голове еще на добрый десяток. Творю, как заведенная, и молю Бога, чтобы это состояние не покидало меня. Восторженность на грани безумия.

– Я бросил писать...

Маша посмотрела на меня глазами мудрой совы, которая всегда и все знает о каждом.

– Это временно.

– Ты так думаешь?

– Писать или нет – не тебе решать. Это такая же потребность, как дышать, любить, смеяться.

Желания здесь неуместны.

– А если я разучился?

– Смешной, как можно разучиться дышать!? В твоей власти лишь на какое-то время зажать нос и задержать дыхание, но в скором времени легкие скрутят спазм, и ты жадно вдохнешь. А временный недостаток кислорода только усилит жажду свежего воздуха. И ты задышишь часто-часто, воздух покажется сладким, пьянящим, и даже ударит в голову.

– Эх, Машка, твоими бы устами да мед пить.

– Только не спрашивай, откуда я все это знаю, – она положила руку мне на плечо и легонько сжала, словно бы говоря этим: мы с тобой в одной упряжке.

– Может быть зря все это? О чем-то думаешь, фантазируешь, пачкаешь бумагу, а ведь это никому не нужно, кроме тебя самого. Приходят в голову какие-то идеи, ты оформляешь их в сюжет, художественно обрабатываешь... Но, в конечном итоге, результат никто не видит. Да и плевать всем на него с высокой колокольни. У нас гениев, как собак нерезаных. И все непризнанные. А вот ручками работать никто не хочет, всем лишь бы творить.

– Блин, ну это лотерея. На тысячу непризнанных одного рано или поздно признают. И каждый надеется занять вакантное место.

Мы весело смеемся.

– Ты надеешься дожидаться?

Маша вдруг становится серьезной, веселость улетучивается, как будто и не было ее секунду назад.

– Я из другого теста. Мне насущно необходимо выливать на бумагу и холст себя самое. Иначе я в психушку попаду. Правда.

Милая серьезная девочка, какую я знал несколько лет назад, осталась в извилинах переулка прошлого. Она заблудилась в них и не нашла выхода. Передо мной стояла другая Маша. Мыша. С ранеными глазами и потрескавшейся душой. С грузом усталости над переносицей. Но с неистребимой яркостью в каждом жесте, с верой в добрую сказку.

Объявили мой рейс по громкой связи. Подполковник отдал команду на сбор.

– Ну что, будем прощаться? – сказал я.

И тут Маша совершила странность, которая навсегда останется в памяти. Взяла в руки мою ладонь, погладила большим пальцем, а потом резко подняла и прижалась губами.

– Возвращайся! Обязательно!

И, не дожидаясь ответа, развернулась и пошла в сторону метро. Я смотрел ей вслед до тех пор, пока она не завернула за угол. На руке остывал ожог от ее поцелуя.

Снова поезд, снова плакатное мироздание. До отправления оставалось несколько минут. За

мутным в разводах окном суежилась Москва, уже бесконечно далекая, вырванная из круга. А мой собственный мир обрел прежние границы – и совершенно ничего в нем не поменялось.

На соседний путь огромным ленивым удавом вползал поезд «Ростов – Москва». Вот он оставался, раздраженный фыркнул, открылись двери вагонов... И вдруг, как конфеты из порванного пакета, посыпались на перрон человеческие фигурки в новенькой камуфляжной форме зеленого отлива. Они весело обращались друг к другу, шутили, восторженно оглядывались по сторонам. Сапоги свежие, без трещин и оскомина, форма всего несколько дней как со склада, шевроны к рукавам еще не пришиты, подшивы на воротнике еще нет. А в глазах – щенячья наивность, открытость и простота; готовность радоваться самым незначительным пустякам: весеннему солнцу, грязным воробьям под ногами, городу и целому миру. Нет в этих глазах никакой тревоги, злости нет. В каждом движении тела горделивый лоск приверженности к касте военных, но даже движения еще легки, пропитаны детской непосредственностью. А самое главное – для них существует только одна реальность, знакомая с детства и продолжающаяся по сей день.

Я глядел на этих новобранцев, и острое чувство темной, обволакивающей зависти проникало под кожу. За то, что они довольны и смеются, что форма их еще не знает стирки в ледяной воде, что под глазами нет мешков и фингалов, а ноги никогда не затекали от многочасового стояния на тумбочке... И мне было совершенно плевать на то, что вины их в этом нет и быть не может.

- Молодые, – сказал Зотов.
- Да, духи еще. Только в часть едут.
- Ага. Суки.
- Твари последние.

Наш поезд тронулся, веселые и довольные новобранцы стали уплывать в глубину вокзала, а мне вдруг стало до безобразия обидно. Как будто их неведение наносило лично мне глубочайшее оскорбление, отрывало мой мир, отрицало меня и всю мою жизнь, дробило на части все мои наряды, драки, бессонные ночи, строевые смотры, подрывы по тревоге, зарядки, уборки снега... Как будто все это было зря, без цели и оснований! Их неведение, их незащищенность издевались над всеми нами, делали бессмысленной смерть Бизякина, разрыв Славкиной селезенки; их наивность выжигала клеймо в душе, оправдывала Верину измену...

И, повинувшись внезапному порыву, я поднялся, опустил скрипучую раму окна и с перекошенным ртом заорал во все горло:

- Вешайтесь, духи! Вешайтесь!..

Поезд медленно набирал скорость, увозя нас на Кавказ; молодые ребята на перроне замерли, их веселость как ветром сдуло. Напряженные, испуганные лица. Косые взгляды. И уже все мы – пятьдесят человек доморощенных контрактников – повысовывались из окон и заорали:

- Вешайтесь, духи!

И еще раз, вдогонку миражу большого города:

- Вешайтесь...

Плясало джигу в душе чувство восторга. Глаза заволокло пеленой бесноватого экстаза, и я в первый раз почувствовал, какой сладкой на вкус может быть ненависть... Поезд мчал уже на всех парах, солдатики остались далеко за бортом, но я продолжал стоять, высунувшись из окна вагона. Уже ничего не кричал – некому, да и лишнее уже. Жизнь вместе с поездом неслась на всех парах, обещая неизведанные горизонты, новые Любви, страхи и переживания. Где-то там, вдалеке, обосновалась маленькая Чечня с гордым и воинственным народом. На другом конце географии купалась в море собственного счастья Вера. Уже не моя. Уже чужая. Далекая. А поезд все летел вперед... И на одно короткое мгновение мы с ним стали единым всесокрушающим организмом.

Огромный мир стремительно пронесся перед глазами, ветер яростно хлестал по лицу, а я вдыхал его во весь разворот прокуренных легких, дышал, дышал... и никак не мог насытиться.

СТАРОСТЬ ШАКАЛА

Повесть

– Ооу!

Екатерина Андреевна Соколова покраснела и стыдливо, как смущенная собственным смехом восьмиклассница, прикрыла рот ладонью. Соколовой сразу вспомнился Михаил Иосифович Шифман, бывший главврач третьей кишиневской поликлиники, в которой она, пульмонолог высшей категории, добывала последний год перед пенсией. Душевным человеком был Михал Иосич, несмотря ни на что, царствие ему небесное, или что там у евреев после смерти.

Восемнадцатого января семьдесят седьмого года (дату она запомнила на всю жизнь) Екатерина Андреевна засиделась на работе дольше обычного – «горел» годовой отчет. Коридор остывал после нашествия пациентов, непривычно-настораживающую тишину разбавляли лишь гулкие шаги сторожа, скучавшего в вестибюле первого этажа. Внезапно загремел телефон, и, встрепенувшись, – «господи!» – Соколова почувствовала в горле пульсирующую боль, что всегда случалось при сильном испуге.

– Екатерина Андреевна, зайдите на пару минут, – загудела трубка баритоном Михал Иосича, – и отчет с собой прихватите.

Прижимая к груди пухлую папку, Екатерина Андреевна нервно засемила в противоположный конец коридора – туда, где за лакированной дверью скрывалась тесная комната, формально – приемная главврача, на самом деле – предпыточная. Во всяком случае, так называли помещение все медработники, кроме, естественно, самого Михал Иосича.

Бумаги на столе секретарши, принятой на работу редкостной растеряхой, аккуратно возвышались двумя одинаковыми стопками – заслуга требовательного шефа, умевшего, чего скрывать, создать атмосферу, в которой любая запорхнувшая в коллектив белая ворона быстро чернела от внезапных, как ураган, проверок, строгих выговоров с занесением и самого высокого, среди всех медучреждений Кишинева, процента увольнений по статье, и уж тем более по собственному желанию. Себя Михал Иосич тоже не щадил: лампочка в его кабинете перегорала чаще, чем у других, но даже осознание феноменальной работоспособности шефа не приносило сотрудникам желаемого облегчения.

Собственные испытания работой Екатерина Андреевна переносила без видимых усилий. Нельзя сказать, что ей приходилось легче, скорее наоборот: с заведующего отделением всегда особый спрос. Утешало ее одно – бескорыстная любовь к главврачу, не обращавшего, однако, никакого внимания на излишне томные и долгие, даже для подхалимажа, взгляды Соколовой на планерках, случайные прикосновения при уточнении графика дежурств и даже особую интонацию голоса – безотказное, как ей самой казалось, оружие, применявшееся Екатериной Андреевной в особых случаях – когда выпадало счастье остаться наедине с шефом в его кабинете. Проще было плюнуть на толстокожего зануду – служебный роман пройдет, а презрение коллег останется

Сергей Дигол родился в 1976 году в городе Каушаны, Молдавия. По образованию историк, работает в рекламном бизнесе. Живет в Кишиневе. Лонг-лист «Русской премии» за 2011 г. в номинации «Крупная проза». Публикуется в «Волге» с 2010 года.

– но каждый раз, оказываясь в приемной, пульмонолог инстинктивно выпрямляла спину, распалая в глазах никак не хотевший гаснуть огонь.

– Войдите! – услышала она в ответ на свой стук. От голоса Михал Иосича на теле Соколовой всегда радостно суетились мурашки, но в тот раз даже у них вышло чересчур резво.

Переступив порог начальственного кабинета, Екатерина Андреевна уронила папку и упала – хорошо, что на дверь, вовремя оказавшуюся за спиной. Перед ней стояло огромное и совершенно голое мужское тело – «снежный человек!», взвизгнул кто-то в голове Соколовой, причем без ее ведома. И хотя от удара о дверь из головы что-то словно высыпалось на пол, пульмонолог не то что сообразила, а скорее ощутила умом, что мысль о снежном человеке как-то связана с запахом хвои, в котором Екатерина Андреевна безошибочно распознала аромат одеколона «Шипр».

– Ооу! – пропела Екатерина Андреевна и, уже теряя сознание, успела почувствовать щекой ворсистую грудь Михал Иосича.

Воспоминание о первой измене мужу всегда сладостно волновало Соколову. Но сегодняшнее волнение изрядно горчило. Стараясь не смотреть на свое отражение, мелькавшее за спиной пациента, Екатерина Андреевна и без зеркала знала, что краснота на ее лице становится пунцовой, и причиной тому – стыд и досада. Бог с ним, с Михал Иосичем, с кем не бывало по молодости? Да и срок давности – есть ли такой у супружеской неверности? – давно уж, наверное, вышел. Досадовала же Екатерина Андреевна потому, что была профессионалом, которые, в отличие от дилетантов, не ищут повода для угрызений совести – угрызения приходят к ним сами и без приглашения.

Застонать при виде полураздетого пациента? Да простительно ли такое врачу с ее стажем? Обычно Екатерина Андреевна обращала на обнаженное тело столько же внимания, сколько электрик – на предупреждение «не влезай – убьет» на двери трансформаторной будки. Как и для электрика, оболочка не представляла для Екатерины Андреевны никакой ценности, в отличие от внутреннего устройства. А среди всех внутренностей внимание Соколовой, что естественно для пульмонолога, привлекали легкие.

Но промах был допущен, и даже без удивленного взгляда пациента Екатерина Андреевна знала, что требуется, так сказать, пояснение.

– Какие они у вас, – пробормотала Соколова, не в силах оторвать взгляд от тела мужчины.

Ей и в самом деле никогда не приходилось видеть на чьей-либо груди огромный крест, с трефообразными узорами на концах, сделанный – нет, не из золота, а прямо на коже пациента. Как, впрочем, и все остальные татуировки, занимавшие всю грудь и верх живота мужчины. Слева от креста (со стороны пациента – справа) рябил частокол, и тоже из крестов, от маленьких до едва различимых, в зависимости от размеров куполов, на которые эти кресты опирались. С левой груди надменно взирала совершенно обнаженная женщина, загадочным образом сохранявшая равновесие, стоя на занимавшем полживота колесе с двумя выраставшими из него крыльями. Примерно такие же Екатерина Андреевна видела на спинах актеров, сыгравших сосланных на землю ангелов в одном кровавом американском фильме, который постоянно крутили по кабельному телевидению.

– Красивые, – добавила Соколова. Испугавшись, что ее предыдущие слова не были поняты правильно, она тяжело задышала, охваченная новым приступом стыда.

– Дышите, – сдерживая гнев, выдавила Екатерина Андреевна и прислонила мембрану стетоскопа к вульгарного бюсту женщины на колесе. Нарисованные груди закачались в такт добросовестному дыханию пациента, и Соколова вдруг поняла, что это тело, этот торс пожилого мужчины со слегка расплывшимися татуировками и редкой сединой на груди, вызывает в ней противоположные чувства – раздражение и, как оказалось, не навсегда позабытое возбуждение.

– Глубже дышите, – ненавидя себя, прошипела Екатерина Андреевна и, не удержавшись, бросила взгляд в глаза пациенту.

Мужчина, словно почувствовав смущение доктора, отвернулся, насколько позволяла шея, покорно и шумно втягивая и выдыхая воздух.

Вдох.

«Что же ты, тетка, пялишься?.. Наколоч не видела?..»

Выдох.

«Старый козел, думает... Плевать!... Не милостыню пришел просить...»

Вдох.

«Заплатил же всем... Поликлиника, мать ее... С пенсионерами как с собаками...»

Выдох.

«Нет, все-таки при Союзе...»

– А теперь спиной! – рявкнула Екатерина Андреевна и, схватив пациента за плечи, развернула его лицом к зеркалу.

Вдох.

«Слава богу, хоть на спине нет!... На семьдесят пять он не выглядит... Но татуировки, фу, мерзость!..»

Выдох.

«Ой, да он же... Мамочка!... Точно, бандит!... Вот ужас-то...»

Вдох.

«А мой что, лучше?... Проклятый инсульт... Толку что моложе...»

Выдох.

«Сколько это уже?.. Сколько он прикован к постели?..»

Вдох.

«Три? Господи, три года уже... А этот смотри-ка!.. Подтянутый, с деньгами... Откуда, кстати... Стоп, а это что?..»

– Сидели? – спросила вдруг Екатерина Андреевна.

Развернувшись, старик-пациент смотрел на нее сверху вниз, причем не только из-за разницы в росте, из-за которой Екатерину Андреевну, все еще за глаза, но вот уже лет двадцать как, все, даже санитарки, называли Шпингалетиной. Пациент тяжело дышал, хотя в этом не было необходимости: докторша уже вынула из ушей наушники стетоскопа.

Ну что с такой сделать? Послать? Это никогда не поздно, вот только кроме как на врачей, которых старик презирал не меньше, чем педерастов, – в тюрьме и те, и другие норовили залезть если не в задницу, то в глотку, – надеяться было не на кого. К тому же за полтора часа скитаний по провонявшим медикаментами коридорам поликлиники он оставил врачам восемьсот леев. Любый его ровесник – а все они, в отличие старика, были нищими пенсионерами – имел право на полный медицинский осмотр – бесплатно, согласно полису обязательного медицинского страхования, гарантирующего престарелым толкотню и обмороки в многодневных очередях.

Но старик ждать не мог, и приходилось терпеть. И безжалостные поборы учуявших запах денег врачей, и холод больничных кабинетов, и даже вопросы, за которые на зоне принято отвечать тому, кто спрашивает.

– Сидели, я спрашиваю? – повторила Екатерина Александровна и поправила очки.

Ну, это уже слишком!

– Вы же сами видите, – засипел старик, кивнув подбородком на татуировки, – может, подробности хотите? Пожалуйста: количество куполов означает...

– Меня не интересует, – перебила Екатерина Андреевна, – что это там у вас означает.

– Что же вам надо? – растерялся старик.

– Можете хоть зарубки ставить, как Робинзон Крузо, – все больше распалялась пульмонолог, будто не расслышав вопроса пациента, – год – зарубка, еще год – еще зарубка. Я, мой дорогой, почти тридцать пять лет в медицине, и мне достаточно моих ушей и стетоскопа, чтобы выслушать амфорическое дыхание. Подозреваю – после туберкулеза. Одевайтесь!

Она гордо уселась за стол, взяла ручку и чистый бланк.

– Как, говорите, ваша фамилия?

– КАСАПУ!!!

Крик охранника Санду был достопримечательностью кишиневской тюрьмы. Нечто подобное выпадало, должно быть, жене диктора Левитана в пылу семейной ссоры. То еще испытанице: трубный баритон, сбивающийся на истерический визг. И хотя эки посмеивались – почаще бы он дежурил, глядишь, тюрьма и рухнула бы, – после каждого такого выкрика оглушенная камера затихала, чтобы через пару мгновений наполниться нервным шепотком, перебивавшим, словно бусинки на ожерелье, одни лишь матерные слова.

– Касапу, на выход! Давай, старик, пошевеливайся!

Криво улыбнувшись, Валентин Касапу пожал плечами, то ли извиняясь перед сокамерниками, то ли кивая на Санду, – что, мол, с дурака возьмешь. Внутри у Валентина легонько поскребывало: ему и в самом деле было неловко перед ребятами, тем более, что подготовился он еще с вечера – знал ведь, что кричать охранник будет громче обычного.

Это было пятое последнее утро Валентина в тюрьме. И все четыре последних утра начинались одинаково – с бешеного крика дежурного. Менялись камеры и этажи, менялись тюрьмы и охранники, а последнее утро каждого срока всегда начиналось одинаково. Дежурные будто только и ждали этого дня, чтобы, затаившись спертым тюремным воздухом, забываемо исполнить свою партию и продолжать репетировать дальше – пока не придет время выпускать на свободу очередного мерзавца. В отличие от сокамерников – а сажать стали все больше молодых да глупых, из тех, кто еще не сидел, – Касапу заранее поеживался от голоса Санду. И ведь даже вещи собрал накануне, да только – эх, старость, старость – в последний момент закемарил, упершись локтем в свернутый рулоном матрас. Что бы ни говорили, а шестьдесят лет – много, насчет этого Валентин готов был биться об заклад. Особенно, если из этих шестидесяти двадцать семь провел за решеткой.

Освободившись в пятый раз, Валентин Касапу попал прямиком в мечту всей своей жизни. В Кишинев образца 1993 года. Сколько себя помнил, Валентин не то что ненавидел советскую власть, он ею, скорее, брезговал. В молодости грезил бунтом, мечтал о свержении коммунистического режима и об отмене колхозного строя. Сердце Валентина пылало революционным нетерпением, но руки его, ловкие и разборчивые, тянулись не к винтовке, а к чужим кошелькам.

«Долой коммунистов!», – думал Валентин каждый раз, уводя толстое ли портмоне из сумочки модницы или пару мятых купюр из дырявого кармана фронтовика. Касапу повторял это как заклинание, не переставая радоваться своей выдумке – фразе из двух слов, верно служившей ему и талисманом, и девизом. Объясниться Валентин ни с кем не решался, но себе давно доказал, что урон Советам наносит уж по крайней мере не меньший, чем бездарные бунтовщики вроде «лучников Штефана Великого».

Разве кражи имущества граждан не подрывают социалистический строй? То-то. Тех же, кто ночами крушил сельсоветы, быстренько перестреляли-повысылали в Сибирь и Казахстан, а талисман Валентина подводил карманника по-божески – всего-то раз в три-четыре года. Но даже в тюрьме Касапу не представлял крушения коммунизма без своего, притом непосредственного, участия, опасаясь лишь одного – проспать минуту своего триумфа.

Поэтому, когда огромная империя незаметно, без торжественных речей и акта о капитуляции рассыпалась словно трухлявое дерево, Валентину хотелось перегрызть себе горло. Он почувствовал себя обманутым, как дуэлянт, который тщательно готовится к поединку, привередливо меняет секундантов, ночами корпит над завещанием, а днем фехтует до онемения руки – и вдруг узнает, что соперник глупейшим образом погиб, упав с лошади. Впрочем, сил на решающую схватку – и в этом самому себе Валентин, не без горечи, но признавался, – давно не осталось, поэтому он с радостью согласился бы и на роль шакала, описывающего круги вокруг чужого, уже изрядно опустошенного стола.

Между тем Советский Союз уже два года как лежал в руинах, и золотой песок из его разлагающегося трупa вовсю сыпался в наиболее проворные карманы. Где мои силы, где молодость, думал

Валентин, умиленно разглядывая выросшие повсюду, словно бурьян на заброшенном поле, торговые палатки. Шестьдесят лет – а Валентин вышел на свободу как раз в год этого не внушающего радости юбилея – еще не конец, но и не тот возраст, когда начинают с нуля. На воле же Валентин оказался с честным словом в кармане. Некоторую надежду внушало лишь то обстоятельство, что слово дано было Митричем – вором в законе, при котором Валентин дослужился до смотрящего – впервые за пять отсидок.

– Найдешь Рубца, скажешь, что от меня, – говорил, наверное, в сотый раз в жизни, меняя лишь имена, Митрич, – он все сделает.

Валентин молча слушал Митрича, сидя у того в одиночке, за невообразимым для этих стен столом – с вином и бараниной, мамалыгой и плациндами, виноградом и дыней – изысками, запах которых сводил с ума обитателей соседних камер. Прощальный ужин Митрич наметил заранее, и хотя ему было жаль расставаться с Валентином, не отблагодарить Касапу за шесть лет преданности он не мог.

– Он мне должен, – добавил Митрич и поморщился: воспоминания о Рубце были явно не из приятных, – так что смело требуй. До чего довели...

Последние слова дались вору в законе с трудом – Валентин и сам почувствовал что-то вроде спазма в горле. Пускать слюни на плече нижестоящего, пусть трижды верного, для авторитета смертельно, но что еще остается, когда ты на обочине и знаешь, что навсегда? Из самых крутых переделок Митрич выходил молча, но когда тебе семьдесят два, ронять слезу не зазорно.

Из тех парней, с которыми он куролесил в молодости, никто не пережил даже генсека Брежнева. Никто, кроме Митрича, который, пережив перестройку, теперь если и мог кого убить, то исключительно за разговоры о демократии, рыночных реформах и западных кредитах. Нет-нет, Митрич не был убежденным коммунистом. Он вообще не был коммунистом и советскую власть любил не больше, чем Валентин. Но и в страшном сне – а Митричу часто снился туннель, по которому он шел, казалось, бесконечно, и чем дальше шел, с тем большей ясностью и бессилием понимал, что туннель этот – расстрельный, – даже в таком сне ему не могло привидеться, что крах коммунизма станет и его крахом. Концом его власти, а значит, и просто концом.

– Сучата, а ведь вот как всех держал! – сжимал он трясущийся кулак и, раскрасневшись лицом, выпучивал глаза так, что, казалось, не миновать беды – или глаза вытекут, или кулак разорвет.

Имен Митрич не называл, но каждый зэк и без подробностей знал, что сучата – это Андрей Лях и Нику Аполлон, вору в законе, двое из трех на всю советскую Молдавию. Третьим был Митрич, но никому и в голову не приходило назвать его третьим. Митрич крышевал и Ляха, и Аполлона – ювелирно, как старый хирург, который уже роется в кишках, а пациент все ждет первого надреза скальпелем. Московские вору – а над ворами молдавскими они имели такую же власть, как ЦК над республиканским комитетом партии, – всё, конечно же, знали, но вмешиваться не торопились. Митрич не беспредельничал, работал по понятиям и, главное, вовремя и сполна отстегивал в союзный общак – чего же еще беспокоиться? Лях и Аполлон тоже не подавали вида, во всяком случае, на больших сходняках, куда съезжались авторитеты со всего Союза, держались так, словно Молдавия и в самом деле поделена на три справедливых доли.

– Орёл! – воодушевлялись они, когда речь заходила о Митриче, и только поэтому можно было заподозрить, что сами-то они – синицы.

Подрезать орлу крылья, чтобы самим взлететь повыше, Лях и Аполлон сговорились, стоило лишь московским паханам вдохнуть ветер перемен, а заодно – учуять запах больших денег и настоящей, охраняемой армией и ментами, власти. Союзный сходняк оказался не прочнее центрального комитета, и уже в начале девяносто второго года, отгородившись друг от друга и от московских воров государственными границами, теперь уже бывшие союзные авторитеты вдохнули – каждый свою – порцию сулящего власть и деньги ветра.

Удача, которую Митрич будто носил с собой – в одном кармане с четками и «Макаровым», впервые оказалась по другую сторону решетки. Сам же он, как назло, как раз находился за ней, коротая очередной, седьмой в жизни срок.

– Дайте только выйти! Дайте же выйти! – кричал он и грозился грохнуть – нет, не Ляха с Аполлоном, а ублюдка в судебной мантии.

Надо же было додуматься – посадить человека в преддверии крупнейшей геополитической катастрофы двадцатого века, как формулировал пятнадцать лет спустя сам Митрич, сидя в одиночке за одним столом с Валентином Касапу.

Свои прежние сроки Митрич принимал как должное и даже нужное. В тюрьме, где ничто не отвлекало от дел, он чувствовал малейшие колебания нитей, которыми опутал криминальный мир республики. В середине семидесятых он даже добился продления истекшего было срока: опасался на свободе, как он сам говорил, «выпасть за канаты».

– Чтобы боксер озверел, его надо оцепить канатами, – часто повторял он.

Тюрьма была для Митрича чем-то вроде санатория и рабочего кабинета одновременно. Здесь он был сыт, силен, уверен, и, как опытный шофер, точно знал, что ждет за поворотом.

И вдруг, в девяносто втором...

– Ничего, дайте только выйти, – грозил Митрич, но от этих увещаний пользы было не больше, чем шизофренику – от самолечения.

Война подходила к концу, и каждый новый день являл Митричу новые признаки поражения.

Только странная это была война. Если бы у Нептуна, владыки морей и океанов, была подводная лодка, он, возможно, и достиг бы той степени могущества, к которому привык Митрич, сидя в кишиневской тюрьме. Можно субмарину назвать темницей Нептуна, а можно – неприступным убежищем, наводящим страх на и без того покорных обитателей морских глубин. В своей лодке Митрич безошибочно угадывал движение каждой самой мелкой рыбешки, да что там – малейшее помутнение воды не ускользало от его внимания. Он знал, что его боятся, и точно знал, кто, когда и где его перестанет бояться, как если бы обшивка субмарины была оснащена сверхчувствительным датчиком. Он контролировал все, пока его лодка не оказалась в подводной – не расстрельной, но не менее коварной – пещере, выход из которой кто-то поспешно замуровал. Передатчик продолжал работать, но ничего, кроме бессильного бешенства, поступавшие известия Митричу не приносили.

Апелляции, которыми он завалил суд, отклонялись с быстротой пробивающего талоны компостера. Его защитники – из Москвы были выписаны звезды российской адвокатуры – словно сговорились: один исчез за день до судебного заседания, второй не менее внезапно взял самоотвод и уехал в срочную командировку, из которой так и не вернулся, третий и вовсе умер, сиганув с балкона гостиничного номера. Погибали и те, кого Митрич называл опричниками, – этих изводили оптом и в розницу. То сразу пятеро взорвались в мерсе в самом центре Кишинева, то ведавший кассой бывший вундеркинд по кличке Минфин не проснулся после ночи с любовницей. Но большинство людей Митрича – а любое большинство тяготеет к победителям – спокойно и незаметно перетекло к новым хозяевам.

Да-да, к двум из трех, хотя никому уже и в голову не приходило называть Митрича третьим. Все что у него осталось – полный грев, который Лях и Аполлон не решились отобрать, а еще – воспоминание об утраченной власти.

– Касапу, пора! – постучав – в камере Митрича орать не полагалось даже дежурным – робко заглянул Санду.

– Закрой, – даже не обернулся Митрич, и дежурный тут же исчез.

– Давай еще выпьем, – поднял кувшин Митрич, и вылил остаток вина в кружку Валентина.

«Бульк!» – ответила кружка, и Валентин заметил, как в темном вине исчезает, уходя на дно, что-то тускло-золотистое. Валентин поднял кружку и, глядя в ставшие вдруг цепкими глаза Митрича, выпил до дна, не разжимая челюсти. Не закусывая, Касапу нащупал языком что-то холодное, царапнувшее губу изнутри, и сразу определил, что это гильза.

– Ну, с богом, – поднял пустой кувшин Митрич и повернулся к двери. – Дежурный!

Валентин встал и, молча поклонившись Митричу, вышел через открывшуюся дверь. Поднял руки, оперся о стену, расставил ноги и подождал, пока его нехотя, словно стяхивая с одежды пыль, общьет Санду.

Ну, Митрич! Ну, старый бестия!

Если капитан субмарины, заметив в пещере щель, достаточную для прохождения водолаза, ничего не предпринимает – дерьмо он, а не капитан.

Касапу шел по тюремному коридору и чувствовал, как слюна наполняется металлическим привкусом.

Значит, он и есть тот самый водолаз, хотя поначалу Валентин подумал было о бутылке с посланием, которой так наивно доверяют последнюю надежду все потерпевшие кораблекрушение.

Значит, послание в гильзе, а Валентин, в отличие от безмозглой бутылки, знает имя адресата.

Значит, Рубец, который, по словам Митрича, крышует кишиневский рынок.

На Валентина словно натянули бронежилет – идти было тяжело, но с каждым шагом он ощущал себя все уверенней, будто держал за щекой не гильзу, а оберег.

Он снова коснулся ее языком, словно боялся, что металл растворится в слюне.

Оставалось облачиться в скафандр и выплыть через главные ворота кишиневской тюрьмы.

Рубцом оказался Николай Семенович Мунтяну – во всяком случае, на этом настаивала сербистая табличка на двери кабинета. В верхней части ее, в два ряда, громоздились, толкая друг друга, важные буквы: «ООО Муниципальное предприятие Центральный рынок», а под фамилией примостилось скромное «директор» – именно так, с маленькой буквы. Слово «Рубец» на табличке отсутствовало.

В кабинете директора муниципального предприятия Валентин почувствовал себя непутевым пассажиром, соскользнувшим с подножки улетающего в будущее экспресса. Дыша белизной стен, сверкая обрамленными в пластиковые рамы стеклами (кажется, такие окна называются стеклопакетами), кабинет Рубца скрипел, жужжал, свистел всевозможными чудесами техники – факсом, компьютером и еще одним устройством, из которого бумага выходила с уже отпечатанным текстом, словно внутри умещалась первоклассная стенографистка в придачу с печатной машинкой. Вдобавок ко всему, к ремню на брюках Рубца крепился диковинный, размером с ладонь, черный прямоугольник, на котором имелось что-то вроде табло калькулятора.

– Пейджер, – ответил Рубец на вопросительный взгляд Валентина и, пожав руку, гостеприимно указал на кресло у окна.

– А что делать, сейчас без этого никуда, – добавил он, шурясь в отверстие гильзы, попавшей к нему с рукопожатием Валентина, – миллион дел в день, только успевай крутиться. Уберешь руку с пульса – нет гарантии, что завтра у самого с сердцебиением проблем не будет. Вот он и спасает, – Рубец кивнул на пейджер, – хотя скоро, базарят, беспроводные телефоны будут.

Покопавшись в столе, Рубец нашел изящный пинцет и уже извлек было из гильзы – аккуратно и быстро – крошечную, завернутую в целлофан бумажку, как вдруг замолчал стрекотавший до этого факс. Бросив на стол весточку Митрича, Рубец ловко сорвал с аппарата длиннющий свиток. Несколько минут он молча читал, хмурия брови, и Валентин, вдруг почувствовавший себя ничтожным мелким в огромном кожаном кресле, вежливо кашлянул.

– Ну так вот, – встрепенувшись, Рубец стал аккуратно складывать свиток, – сейчас каждый должен быть на своем месте. Делать то, что лучше всего умеет. Прошли времена, когда кухарка управляла государством. Рыночная экономика, так-то братан. А где же еще быть рыночной экономикой, как не на рынке? – он рассмеялся неожиданным фальцетом.

Братан!

Сказать, что Валентин почувствовал себя мерзко – ничего не сказать. О чем он, эта гнида? На зоне такие чушки боялись заговорить с Валентином, сторонились смотрящего даже взглядом. Во всем виде Рубца было слишком много несоответствующего его положению: мелкий, вертлявый, с реденькими пшеничными волосами и бегающими голубыми глазками, в красном, не по мерке, пиджаке, рукава которого он беспрестанно одергивал к локтям, обнажая бледные кисти. На безволосых

пальцах его, под широченными перстнями, скрывались бледно-синие наколки.

Директор, мать его! Да он за последнего баландера не сойдет, а разносчиками всегда берут мужиков крупных – чтобы по десять похлебок за раз донести, да случись заварушка, вовремя дать деру, расчищая площадку профессионалам – головорезам с дубинками, наручниками и стволами.

Что ж, приходилось привыкать к тому, что за тюремными стенами все перевернуто с ног на голову.

– Нужны спецы, – продолжал разглагольствовать Рубец, – а с теми, кто трется вокруг, и так перебор. Менты, налоговики, санстанция бля, таможни. Хорошо, что я, так сказать, из этой сферы, так хоть с крышей вопрос решен.

Он решил с крышей! Блядь, неужели теперь на воле кругом такие вот авторитеты?! Не был бы Валентин голодный, как выброшенный за забор состарившийся сторожевой пес, он бы уже заблевал свежоотремонтрованный кабинет.

– В общем, место я тебе нашел, – Рубец поднялся и подошел к окну, выходившему на овощные ряды.

Валентин тоже встал и стал смотреть вниз – туда, где из движущихся навстречу, чтобы перебежаться друг с другом, потоков людей то там, то здесь выпадали одинокие фигуры и, словно перебежчики, устремлялись под навес овощного павильона. Еще с минуту их потускневшие силуэты можно было различить в полумраке, после чего они растворялись под тенью гигантской пластиковой крыши, а когда выплывали назад – чтобы вновь унести могучей людской рекой, их было уже не узнать – казалось, и одежда на тех, прежних, была другая, а уж баулов в руках – так точно на порядок меньше.

– Супер! Что скажешь, а! – Рубец толкнул Валентина плечом, и Касапу поморщился – то ли от внезапно удара, то ли от идиотского слова.

– Что скажешь, старик? – повторил, усаживаясь за стол, директор.

Тут же в кабинет вошли три крепыша в кожаных куртках, и Валентин решил, что у Рубца где-то под столом спрятана кнопка, которую он незаметно нажал. Не сказав ни слова, здоровяки усталились на хозяина, не удостоив Валентина даже случайным взглядом.

– Условия такие, – поджав губы, Рубец защелкал зажигалкой и, к ужасу Валентина, поднес ее, вспыхнувшую, к зажтому в пальцах посланию Митрича.

– Сдаешь всю кассу моим людям...

Бумага занялась неохотно, и Рубец, кивнув на парней в коже, по-прежнему игнорировавших Валентина, словно директор общался сам с собой, повернул крохотный свиток загоревшимся концом вниз – так, чтобы целиком утопить его в пламени.

– Двадцать процентов от заработанного – твои. Оплата в конце недели, день можешь выбрать сам...

Спрятав зажигалку в карман, Рубец бросил бумажку, вернее то, что от нее осталось, в пепельницу – дотлевать, испуская дух в виде белого дыма.

– Сейчас с ребятами познакомишься, пройдешься, так сказать, по цеху, осмотришься.

Пока парни в коже продолжали невозмутимо и, как показалось Валентину, слегка надменно смотреть в глаза Рубцу (интересно, а как он успевал смотреть в глаза сразу троим?), у Валентина где-то внутри словно уронили рельсу: он почувствовал, что не в состоянии пошевелиться. От бессилия у него задрожали руки, а еще – от одной мысли, что ему, еще вчера смотрящему в кишиневской тюрьме, теперь, чтобы не содохнуть на воле, придется горбатиться на какого-то недоноска, в котором так жестоко ошибся Митрич.

– Это все, что я могу для тебя сделать, – развел руками Рубец.

– А что делать-то?

В душном кабинете – на стене висел ящик, который Валентин принял за кондиционер, но он почему-то не работал, – повисла пауза, и Касапу почувствовал, что духота становится невыносимой.

– Да, постарел Митрич, – подмигнул своим молодчикам Рубец, – а мне сказали, что ты – профи.

– Я смотрящий, – надулся Валентин.

Парни в коже одновременно повернулись к Валентину, будто услышали кодовое слово.

– Кто-кто? – театрально подставил ладонь к уху Рубец. – Я что-то не расслышал.
– Смотрящий!

– Смотрящий под кем? Не под грозным ли Митричем, а? Да вот он, твой Митрич, – схватив пепельницу, Рубец перевернул ее, обрушив на стол снегопад из пепла, – нет его больше! – он вскочил, поправляя брюки. – А ты – щипач, причем первоклассный. Для тебя здесь, на рынке – эльдорадо просто! Тьма народу, и у каждого кошелек. Митрич ему сдался! Другой бы ползал тут, ноги целовал, что к себе беру. Кому ты бля такой нужен...

Валентин слушал Рубца молча, потрясенный – нет, не его словами – а собственными мыслями. Мать твою за ногу, а ведь купился! Как это, оказывается, просто – торговать собой! И одновременно – продавать других.

– А, может, Митричу хотя бы, – начал Валентин, не понимая, кто заставил его, вскочив с кресла, пятиться спиной к выходу – возможно, Рубец, который, словно забыв о присутствующих, стал озабоченно раскладывать папки на столе, – может, помочь как-то, я не знаю...

– Все, идите, идите, – не переставая перекладывать папки, быстро кивнул на дверь Рубец, и парни в коже ретировались.

– Сожгли-то зачем? – уже в дверном проеме почти прошептал Валентин.

Закрывал он за собой осторожно, стараясь не хлопнуть дверью, но все равно хлопнул, успев услышать ответ Рубца:

– Это все, что я мог для него сделать.

– Девушка, ну долго еще?! Забирайте товар, люди ждут!

Расползающаяся к низу, словно тающий снеговик, сетка с засохшими томатными косточками на переднике поверх спортивных штанов нетерпеливо трясла кулком с помидорами.

– Подождать можете, да? – нервно запихивая кошелек в сумочку, огрызнулась покупательница, блондинка в темных очках.

– Очередь, говорю, ждет! Очки бы сняла!

Что тут началось! Сотканное из сотен голосов мерное жужжание, покрывавшее овощные ряды, разорвали, многократно отражаясь о крышу павильона, два женских визга, перебивавших друг друга целых три минуты, из которых Валентину Касапу хватило первых двух секунд.

Очень скоро Валентин понял, что едва истекшее заключение променял на новую тюрьму. На этот раз – огороженную четырьмя стенами кишиневского рынка. Если это и был перевод с одной зоны на другую, то – с понижением. Пошмонать, на правах смотрящего, забивших на понятия эзков в их собственных камерах Касапу не мог, да и не было больше никакого смотрящего Касапу. Не было, впрочем, и эзков, а лишь рабы рынка: реализаторы, грузчики, кладовщики и прочая почти дармовая сила, и еще – щипач Валентин Касапу.

В качестве персональной камеры, за пределами которой Валентину настоятельно рекомендовали не распускать умелые руки, ему отвели овощной павильон, и, видимо, поэтому Касапу получил от Семена Козмы, острого на язык начальника охраны рынка, новое прозвище. Хотя, почему новое? Погонял на Касапу никогда не лепили, даже для авторитетов он всегда был просто Валентином, а тут придумал же – «Вегетарианец». Питаться, однако, Валентину хотелось не только растительной пищей, и он плюнул – хоть горшком называйте, лишь бы поближе к печи. Пошустрить в соблазнительных мясном или молочном павильонах Валентин не решался: мешало данное Рубцу слово и служба Семена Козмы, что была крепче любой самой убедительной клятвы.

Правда, еще одно препятствие Валентин придумал для себя сам. Пообтеревшись пару недель, он решил, что охотиться будет только на женщин и исключительно на тех, кто решился на покупку. Шастающие между рядами, лишь бы поканючить о заоблачных ценах, бабы его не занимали. Он ждал, когда покупательница расстегнет сумочку и достанет на спущаемый пластиковой крышей свет кошелек.

Насколько этот, изобретенный им же механизм идеален, Валентин не подозревал, пока не попал, как ему показалось в начале, случайно, на репетицию одной странной речи.

Вообще-то Рубец вряд ли рассчитывал на такого слушателя. Выскочив из здания администрации, директор отчаянно вертел головой, пока не наткнулся взглядом на сутулую фигуру старика в песочной кепке.

Так Валентин во второй раз оказался в огромном кожаном кресле, у окна в кабинете директора.

– На рынке мужчина особо остро ощущает свою вторичность, – читал Рубец, нервно вышагивая перед Валентином, – много ли удовольствия недовольно сопеть в спину благоверной и уныло закатывать глаза, пока та выбирает капусту потверже, а у тебя и без всякой капусты ладони изрезаны ручками пудовых сумок, задевающих при ходьбе асфальт. В компании с женщиной мужчина на рынке жалок – нет, не из-за перегруженных рук; в конце концов, тяжести – по мужской части. Унизительна сама диспозиция: инициативная женщина уходит в отрыв, пассивный мужчина плетется сзади и, если и не отстает, то напоминают скорее заглохшую машину, взятую на буксир. Между прочим, женщине ничуть не легче: представьте себе, каково это – буксировать под завязку груженный самосвал. Только вместо троса между женщиной и мужчиной – узы брака. Да, как не горько кому-то сознавать, но вся жизнь мужчин протекает в соответствии с неумолимой формулой семейного движения: баба, словно поводырь, тянет мужика вперед, причем к своей (он поднял палец) цели, пропуская его вперед лишь при необходимости. Как правило, чтобы пробить головой стену, внезапно возникшую на ее пути. Так правомерно ли упрекать мужчину в отсутствии энтузиазма? Чему должен радоваться, бреясь субботним утром, мужчина, обреченный подчинить свою личность явно не знающей границ женской воле? Не лучше ли так называемым семейным психологам отвлечься от расхолаживающей кабинетной атмосферы, от безликих теорий и запывившихся многотомных руководств? Пройдитесь по рынку, дорогие знатоки человеческих душ, и, может быть, тогда вы решитесь признать, хотя бы себе, что истинная проблема многих семейных пар – в систематически подавляемом врожденном лидерстве, которое, тем не менее, не вытравить из генов даже самых безвольных мужчин.

– Ну, как? – прервал он чтение, чтобы, по-видимому, торопливо пояснить: – Я тут книжку пишу. О рынке. Ну, скажем так, почти о рынке.

Валентин давно перестал удивляться происходившим с Рубцом переменам. Малиновый пиджак на узких плечах директора уступил место новому, кофе со сливками, костюму, сшитому так, будто Ив Сен Лоран – а Рубец любил повторять, что костюм от Ив Сен Лорана, – лично производил замеры талии, плеч и ног, чтобы, не дай бог, не расстроить любимого заказчика. Исчезли золотые фиксы, выдававшие в Рубце, во что бы тот ни был одет, мелкого уголовника, и теперь Николай Семенович Мунтян, директор муниципального предприятия, чуть небрежно пряча руку в кармане итальянских брюк, благодушно улыбался ослепительной эмалью зубов из металлокерамики.

Стремление к респектабельности не помешало Рубцу сохранить почти инстинктивное чувство реальности. Рассказывали, что как-то, в течение нескольких секунд, он распорядился проспонсировать городской конкурс красоты и сбросить в канализацию тонну куриных окорочков, в которых главврач санэпидемстанции, не получивший своей обычной доли, грозился обнаружить вирус птичьего гриппа.

Рубец стремительно выходил из тени, с видимым удовольствием отдаваясь щедрым лучам легального – пусть и на бумаге – бизнеса. Рассеянно слушая директора, Валентин рассматривал дипломы на противоположной от окна стене. Раньше такие же, под стеклом, в лакированной рамке, только с Лениным и серпом с молотом вместо молдавского триколора и гербового орла, вручали за успехи в социалистическом строительстве. Если верить дипломам Рубца, его вклад в рыночную экономику был оценен рядом ответственных функций в государственных и общественных организациях, а именно:

в 1997 г. – председателя Ассоциации рынков Молдавии;

в 1999 г. – сопредседателя Республиканского профсоюза работников агропромышленного комплекса;

в 2002 г. – постоянного члена коллегии Министерства сельского хозяйства;

в 2003 г. – члена комитета по торговле при правительстве.

Валентин подобным карьерным ростом похвастаться не мог. Он вообще не мог похвастаться ростом: за пятнадцать лет, проведенных на рынке, спина его заметно сутулилась. А еще эти пятнадцать лет понадобились Валентину, чтобы выиграть спор у себя самого.

Да-да, оказалось, что шестьдесят лет – еще не старость. В отличие от семидесяти пяти.

– Ладно, иди, – замахал кипой бумаг Рубец.

Он пожалел, что позвал Валентина. В глазах карманника читалось такое равнодушие, что Рубец даже поморщился: Валентин ни черта не понял. Даже не пытался вникнуть.

– Кстати, изучи, – вынув из кармана сложенную вдвое бумагу, Рубец вложил ее в ладонь Валентина, – и постарайся как-то ускорить.

Так Валентин узнал о наличии в своих действиях точной, как швейцарские часы, системы. Если бы не дурацкое предисловие Рубца, содержание бумаги сошло бы за признание высочайшего класса воровского мастерства – не больше, но и не меньше.

секунды 1–3: покупательница расстегивает сумку и достает кошелек

секунды 4–15 (в зависимости от достоинства купюр и расторопности покупательницы): отсчитывает деньги, вручает их продавцу

секунда 9–15 (в зависимости от продолжительности предыдущего этапа) – не позднее, вне зависимости от начала третьего этапа, секунды 20: продавец вручает сдачу (если потребуется), но не спешит отдать товар

секунда 21–23: покупательница прячет деньги в кошелек, а кошелек в сумку

секунда 24–25: продавец в настойчивой форме требует от покупательницы немедленно забрать приобретенный товар – до того, как покупательница успеет закрыть сумку

секунда 26: кошелек – в кармане В.

Валентин сидел на скамейке в центральном парке Кишинева, пропуская через бессмысленный взгляд мелькавшие троллейбусы. Хорошенькая аудиенция, ничего не скажешь. Стоило ли пятнадцать лет ждать?

«Надо ускорить».

Валентин вцепился рукой в скамейку. Выходит, встреча не была случайностью?

«Не может быть», – повторял он, представив себя на месте директора рынка, Валентин затосковал. Глупо, да что там – непростительно рисковать свиданием, да еще в собственном кабинете, с карманником, обкрадывающим твоих же покупателей. Пусть и со своим, карманным, так сказать, карманником. Да и служба охраны прекрасно справляется: угрюмые жлобы искусно оберегали Валентина, и так же безупречно следили за каждым его шагом.

Первую волну – бессильного отчаяния – смысла внезапно нахлынувшая надежда, и, наполняясь радостью от вида подгонявших друг друга троллейбусов, напоминавших о кишиневских послевоенных трамваях, в которых долговязый и худощавый, юркий и неуловимый Валентин Касапу потрошил карманы и сумочки ничего не подозревающих пассажиров, щипач, словно ребенок, сжалившийся над канарейкой, позволил выпорхнуть из клетки своей души одной безнадежной мечте.

Вот он в кабинете Рубца, откуда, кстати, исчезли факс и принтер, но зато появилась приемная с длинноногой секретаршей. Чего только нет у нее на столе: тут и исчезнувшие факс с принтером, и компьютер со сканером, и два телефона, и куча лотков и бумаг. Вот Валентин в знакомом кресле у окна. Он говорит, а Рубец слушает, кивает головой и изумленно поднимает брови: ну, мол, даешь старик! А Валентин продолжает рассказывать, купаясь в накатывающем удивлении директора. Рассказывает, как в свои семьдесят пять бегают – каждый день! – в центральном парке: час утром и полчаса перед сном. Что вот уже года два как не есть мяса (нет, что вы, не в деньгах дело!), зато потребляет витаминизированные йогурты, и размалеванные бляди в супермаркетах, все в золоте и силиконе, заглянув в молочный отдел, брезгливо отшатываются от сухощавого старика, чтобы – Валентин чувствовал это спиной – открыв рот и хлопая накладными ресницами, тупо рассматривать его, удаляющегося, сзади и, восторженно, сгresti в тележку упаковки чертовски

дорогого йогурта, не меньше, чем прихватил этот (ну надо же!) совсем не нищий пенсионер. И еще Валентин много говорит о том, что его работа требует точности, профессионализма и хладнокровия, почти как труд оператора на атомной станции. Попробуй облажаться – устроят карантин не хуже чернобыльского. Так что, если есть такая возможность, хотелось бы пересмотреть, так сказать, условия. Нет, что вы, не в деньгах дело, а в справедливости, денег-то хватает...

– Так поделись, дед!

Валентин поднял глаза: двое ухмыляющихся парней с бутылками, из которых они по очереди отхлебывают пиво. Парней явно заинтересовали мысли Валентина, незаметно переключавшиеся в речь.

– Поделись, а? Бедным студентам не хватает на пиво!

Валентин нащупал в кармане нож и оглянулся по сторонам. Через пару скамеек обнимались влюбленные – их здесь, в парковой аллее, под сводами протягивающих друг другу кроны каштанов, и днем-то не разглядеть, а уж в сумерках...

– Ладно, дед, жируй! – сказал парень – тот, что до этого молчал, и потянул за собой приятеля.

– Капиталист! – гаркнул на Валентина второй, и оба, заржав и шатаясь, направились в сторону обнимающейся пары.

Валентин поднялся и быстро пошел в противоположную сторону. Покидая каштановую аллею, он вдруг понял, что может ответить на вопрос, с сотворения мира мучающий всех несчастливых людей. Вопрос был следующим: «почему я такой неудачник?». Ответ – именно ответ, а не вариант ответа, – теперь знал Валентин, и он был таким: «потому что всегда не успеваешь». Самую малость, но опаздываешь.

О чем теперь говорить с директором, о каком таком новом проценте, после того как Рубец опередил его? Да-да, на самую малость.

Да и решился бы Валентин? Посмел бы?

Неудачник! Самый что ни на есть, мать вашу!

«Ха-ха-ха! Руки вверх, ваша песенка спета!» – торжествовал шпион из мультфильма о капитане Врунгеле. Как-то пролежав два часа перед телевизором, Валентин вдоволь нахохотался над чудным мультиком и недоумевал – как это не приходилось видеть его раньше. Должно быть, сидел, успокаивал себя он.

«Да вот же она!» – хотелось Валентину, подчинившись мультяшному герою, вскинуть правую руку вверх – так, чтобы все убедились: его оружие в полной готовности. Но теперь он спешил по парковой аллее, не обращая внимания на каштановый свод над головой и ровный – большая редкость для Кишинева – асфальт под ногами.

«Надо ускорить», не вышло у Валентина из головы, и ему привиделась рука – тоже правая, но чужая, которую он сразу возненавидел.

Рука не была морщинистой и безволосой, со вздувшимися, как у Валентина, венами. Это была другая рука – мохнатая, молодая и мускулистая, стремительная как кобра и точная как копье.

Рука нагло копалась в дамских сумочках вместо руки Валентина.

Глава пятая

В одной из предыдущих глав были проведены, хотя и крайне поверхностно, параллели между продовольственным рынком и социально-экономическим устройством государства социалистического типа. В действительности проблема гораздо серьезней, чтобы ограничиваться рассчитанными лишь на эмоциональный отклик аллюзиями. Чтобы не вводить читателя в подобный наркотическому эмоциональный тупик, а заодно не водить его за нос, обозначу основополагающие положения данной главы в самом ее начале. Итак, я убежден, что:

1) Социалистическое государство реализует двоякую задачу в отношениях с индивидуальной человеческой единицей, а именно:

а) обеспечивает минимальный уровень социально-экономического благополучия, необходимый

для поддержания лояльности человека государству в обмен на практически неограниченную эксплуатацию его трудового потенциала в собственных целях;

б) максимально ограничивает человека в возможностях достижения качественно иной ступени социально-экономического благополучия. В социалистическом обществоведении эта тенденция именуется «социальным равенством». Нетрудно догадаться, что в действительности речь идет о вынужденной мере, своего рода предупреждении имманентно хрупкого социалистического строя от краха, равнозначного трансформации социалистического государства в капиталистическое. Система общественных взаимоотношений последнего характеризуется, как известно, естественной конкуренцией, при которой нет и не может быть места социальным иллюзиям, и в их числе наиболее опасной, ввиду ее привлекательности, уже упомянутому так называемому социальному равенству.

2) Муниципальное предприятие «Центральный рынок», г. Кишинев, Республика Молдова в условиях становления системы социального неравенства – зачаточного, как его определяют сторонние аналитики, или дикого – по терминологии участников процесса, капитализма, – в своих базовых функциях совпадает с функциями социалистического государства, а именно:

а) позволяет поддерживать минимальный уровень социально-экономического благополучия, сдерживая таким образом рост социальной напряженности в период первоначального накопления капитала;

б) поддерживает видимость социального равенства, этого ментального рудимента, занимающего, тем не менее, центральное место в массовом сознании постсоциалистического общества. Чем очевидней крах системы социального равенства, тем больше степень веры масс в этот общественный фантом, вне зависимости от того, было ли социальное равенство реальной социалистического устройства, или элементом массового гипноза.

Невозможно представить, чтобы в модном бутике (к этой аналогии мы вернемся еще не раз) покупатели (скорее покупательницы) сварливо обсуждали заоблачные цены на, как их сейчас принято называть, брендовые вещи. Да что одежда, что обувь! В продовольственных магазинах самообслуживания, которые наши сограждане интуитивно, но по сути совершенно справедливо предпочитают называть супермаркетами, базовым критерием потребительского интереса является не цена на товар, как это имеет место на рынке, а сам товар. Качества товара в самом широком смысле: от собственно качества в том банальном понимании, в каком этот термин трактовался в условиях социалистической системы, а именно – минимального набора функциональных свойств, до социальных, эмоциональных и тому подобных, на первый взгляд, умозрительных качеств. Последние в действительности обладают огромной ценностью, более того, они незаменимы для покупателя капиталистического типа. В последнем случае товар выполняет сигнальную функцию, идентифицируя социальный статус – структурообразующий элемент личности любого потребителя капиталистического типа. В связи с этим трансформируется и восприятие цены, поскольку оценивается не товар, а фактически место покупателя в общественной иерархии. Не удивительно, что потребитель готов переплачивать за продукт, социальные свойства которого на порядок превосходят функциональные.

В отличие от покупателя капиталистического типа, посетители Центрального рынка г. Кишинева знают лишь свою функциональную цену, а она, по подсчетам американских ученых, не превышает восьми долларов; во столько оценивается химический состав человеческого организма. К представленным на рынке товарам у такого рода покупателей отношение соответствующее: никакого пиетета, никакого атрибуирования иных функций, кроме функциональных, никакого иного применения, кроме удовлетворения прожиточного минимума. На первый взгляд, носители такого подхода – реалисты до мозга костей, практичные двуногие машины, у которых вместо головы – калькулятор. В действительности, это наиболее многочисленная и наименее приспособленная часть общества социального неравенства. Как остальные – те, кого мы отнесли к покупателям капиталистического типа, каким образом они, при равных стартовых условиях, таких как: стандартное советское образование, идентичное идеологическое воздействие, более широко – общая

социальная среда, как они, представители этой куда менее многочисленной категории, оказались в авангарде становления капиталистической системы, предстоит, надеюсь, выяснить наиболее светлым умам будущего. Пока же мы вынуждены констатировать сознательное или неосознанное, но в любом случае ничем не оправданное пренебрежение обществоведами старого, но все еще эффективного компаративного метода для оценки нынешнего этапа становления капиталистической системы на постсоветском пространстве.

Мы уже выяснили, что так называемое социальное равенство является наиболее хрупкой и наименее долговременной формой общественных взаимоотношений, поскольку, и это также представляется очевидным, в основе этих отношений лежит естественный принцип неравенства, что бы там не утверждали так называемые универсальные декларации. Нет ничего удивительного в том, что массы оказываются в простейших психо-социальных ловушках; в конце концов, психология толпы намного примитивнее внутреннего мира отдельного индивидуума.

Намного печальнее, когда люди, призванные в моменты роковых поворотов общественной жизни находить новые ориентиры, формулировать и аргументировать новые цели, способные не столько утешить массы, сколько внушить им достижимость новых перспектив, как эти люди либо сами оказываются в ловушках, либо, что еще хуже, создают их в циничном расчете заарканить как можно больше потерявших ориентиры сограждан. Чем же еще объяснить господствующее сегодня в нашем обществе представление о том, что социалистическое социальное равенство – чуть ли не синоним гарантированного прожиточного минимума? Возникающие при этом неизбежные аналогии с капиталистической системой трактуют последнюю как строй, созданный для богатых, которые купаются в роскоши, в то время как подавляющая часть общества борется за достижение того самого минимального уровня, который при капитализме якобы гарантирован.

Дело не только в идеологической зашоренности данной формулировки, и даже не в ее очевидной фальшивости. Апологеты подобной точки зрения упорно и, как нам кажется, намеренно сопоставляют феномены социальной жизни из двух несопоставимых периодов. Разве в первые десятилетия Советской власти, вплоть до начала Второй мировой войны, меньше говорилось о необходимости социального равенства? И разве не были предприняты радикальные шаги для достижения этой цели? Одна коллективизация с индустриализацией чего стоят. Привело ли все это к социальному равенству? Если брать во внимание тотальное обнищание – наверное привело, ведь в бедности все равны. Вот только как быть с гарантированным прожиточным минимумом? Так справедливо ли сравнивать уровень социального благополучия, достигнутый в период т.н. развитого социализма с уровнем социальной адаптации при капитализме становящемся – периоде, который наше общество переживает в настоящее время? А ведь именно этим занимаются современные социологи, политологи, и просто политические популисты, эксплуатирующие наиболее низменные социальные инстинкты масс. Что ж, это легче, чем вести кропотливую работу по трансформации массовых инстинктов в социально-конструктивные ментальные установки – мощнейший механизм преобразования общества в соответствии с объективно сложившимися реалиями, где не должно быть места социальной апатии, прикрываемой деструктивной ностальгией по прошлому. Поэтому, если и сопоставлять развитие капиталистического и социалистического обществ, то, применив уже упомянутый компаративный метод, необходимо оперировать равноценными периодами, и тогда не будет казаться странным, что между 1990 и 1993 годами наше общество прожило не три года, а целую эпоху, и вряд ли кого-нибудь удивит, что между Америкой 1937-го и Молдавией 2007-го много общего: в обоих случаях мы наблюдаем массовый исход обездоленных мигрантов.

Возможно, когда такое осознание произойдет, Центральный рынок г. Кишинева и перестанет играть ту социально-терапевтическую роль, которая неблагодарно не осознается меньшинством капиталистического типа, погруженным в первоначальное накопление. Кто знает, происходило бы это накопление так же беспрепятственно, не будь у обездоленного большинства социально-экономического утешения, такого декоративного социализма, роль которого играет наш Центральный рынок?

Между прочим, эта роль гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, и именно в психо-со-

циальном аспекте. Обратим внимание на рыночную толпу. Найдется ли в современном молдавском обществе более красноречивая аллюзия на жизненный путь человека при социализме? Отдельному человеку вырваться из рыночной толпы подчас не легче, чем сардине – из могучего косяка, тянущему ее к южному побережью Африки. И если сардина, маленькая безмозглая рыбешка, и плавником не поведет, чтобы отделиться от общего движения вперед, ибо чувствует – ее сила в единстве, то человек, этот прямоходящий организм, стоит ему начать сопротивление так называемому «стадному» инстинкту рыночной толпы, являющемуся в условиях социалистического общества ничем иным, как инстинктом самосохранения, сразу оказывается в сомнительном положении, как правило, перед ненужными или дорогими товарами, и, что гораздо хуже, вообще без места в толпе, которое не занято другими и не вакантно – его просто больше нет, как не остается пустого места в косяке от сожранных хищными рыбами сардин.

Между тем, роль рыночной толпы в обеспечении пресловутого прожиточного минимума отдельной человеческой единицы трудно переоценить. Достаточно вспомнить, как она, я имею в виду толпу, безошибочно ведет индивидуума к так называемому оптимальному соотношению цены и качества.

Стандартная ситуация: группа людей штурмует торговую точку с помидорами, в то время как соседние лотки – с томатами точно такого же цвета, размера, сорта и вкуса, не вызывают ровно никакого интереса. Здесь впору говорить о присущем рыночной толпе инстинктивному чувству цены, ведь разница между двумя идентичными продуктами может не превышать считанных процентов. Отдельный индивидуум на рынке может довериться толпе, даже желательно, чтобы на те полчаса-час, что он проводит здесь, его личность как бы растворилась в коллективном разуме, о чем ему не придется жалеть: ведь действительно удачными его действиями будут решения толпы, которым он всецело подчинится. Путь нашего покупателя – от западных ворот к восточным, или наоборот, – это жизнь человека социалистического типа. Жизнь, в которой не выжить вне толпы, и стоит ли удивляться, что к нам так тянутся люди, потерявшие толпу своей жизни.

Можно, конечно, радоваться, что поток наших клиентов, а значит, и приток прибыли иссякает, похоже, не скоро и даже гордиться тем, что мы не так уж плохо справляемся с социальной функцией, которой нас официальные органы не наделяли, хотя утешение обездоленных – как раз по части государства.

Но, знаете, с гораздо большим удовольствием мы протянули бы между стенами рыночного металлического каркаса, навесив на него жестяные листы, имитирующие старый добрый шифер. Мы залили бы весь асфальт бетоном, постелив поверх сверкающей кафель, а обшарпанные стены закрыли бы по всему периметру идеально ровным гипсокартоном. Мы провели бы сотни метров канализации, водопровода, электричества, вентиляции и сигнализации. Установили бы километры торговых полок в несколько ярусов и с полсотни касс последней модели. Мы не пожалели бы средств, сил и времени, чтобы создать самый большой, самый совершенный и самый удобный супермаркет в городе, и больше не вспоминали бы о рынке, где десятки тысяч людей ежедневно приобретают всякую дрянь, экономя на всем, только бы дотянуть до следующего визита к нам.

Мы бы радовались как дети, зная, что большинство сограждан больше не веряет решению проблемы собственного выживания толпе, но для этого нужно, чтобы вопрос о выживании потерял свою актуальность. Мы с гордостью считали бы свою миссию выполненной, и в наших сердцах не нашлось бы и уголка для ностальгии по рынку, который позволил людям пережить смутное время становления системы социального неравенства. И пусть в нашем супермаркете выбирали бы сыр не подешевле, а повкуснее. И пусть бы у полок застывали тысячи мучительно размышляющих, привередливо рассматривающих этикетки одиночек, а не тысячная толпа, мгновенно и безошибочно решающая задачу, но только одну – «что-бы-такое-купить-подешевле-чтобы-не-сдохнуть».

В конце концов, человек – он ведь дороже восьми долларов.

И, кстати, супермаркет – чертовски прибыльное дело!

Лист, который Касапу так и не развернул по дороге домой, теперь валялся, скомканный, под диваном. На обратной стороне лежал Валентин и шурился в телевизор. Этот фильм он смотрел раза четыре, и это только за последний год. Сегодня он впервые решил досмотреть его до конца и как раз наблюдал за развязкой.

Актер, изображавший, кажется, демона – на дьявола он не тянул, хотя и очень старался, – на самом деле походил на чикагского гангстера. Галстук, шляпа, голливудская улыбка, обаятельная и кровожадная. Но главное – автомат, из которого он резал очередями крылья ангелов. Ангелы, кстати, те еще были: два вполне взрослых обалдую, весь фильм паливших в кого попало. Так что Валентин не пожалел бы, если бы демон и вовсе пришел их. Но он лишь перебил им крылья, без которых ангелы стали, наконец, теми, кем, похоже, и стремились стать – ублюдками, перебившими кучу людей.

Выругавшись, Валентин прицелился пультом в экран, отчего телевизор тут же выключился и, кряхтя, полез рукой под диван. Развернул мятый листок, прогладил и стал читать.

Вообще-то, эти четыре строчки Валентин запомнил сразу и наизусть, но приятные слова хочется перечитывать снова и снова, верно? Тем более что, увидев этот сложенный вдвое лист впервые, Валентин отшатнулся как от огня, – по идее, смертельно опасного как раз для этого клочка бумаги.

– Тебе передали, – шепнул охранник Женья, вкладывая лист Валентину подмышку.

Касапу, словно ему сунули раскаленный уголь, взмахнул рукой и отпрыгнул в сторону.

– Не понял, – похоже, действительно не понял Женья, и Валентин, буркнув что-то невнятное – сам он так и не вспомнил, что именно, – наклонился за упавшим на асфальт листком и зашагал прочь, на ходу складывая бумагу: вначале вчетверо, затем – в карман.

И хотя ему хотелось бежать – прочь с рынка, из города, из этой, будь она неладна, жизни, шел он медленно, оттягивая мгновение, когда окажется в квартире и – куда деваться, – развернув бумагу дрожащими руками, станет читать.

«Надо ускорить», пульсировало у него в голове, пока он плелся по улице Митрополита Варлаама, обгоняемый вечно спешащими маршrutками.

«Надо ускорить», подгонял его скроенный из выхлопных газов теплый ветер, который у каждого автомобиля свой.

В кармане словно развели костер, набросав бревен – так там было жарко и тяжело. Почему-то Касапу вспомнилась древняя легенда, то ли греческая, то ли египетская. В ней герою подсунули одежду, пропитанную, как оказалось, ядом. У Валентина даже потемнело в глазах – казалось, яд с бумаги растекается по организму прямо из кармана.

В съемной квартире Валентина было, как всегда, тихо, но теперь молчали даже настенные часы: их заглушал пульсирующий шум в ушах.

«Надо ускорить», бог знает в какой раз повторил кто-то в голове Валентина, и он полез дрожащей рукой в карман.

секунды 27–35/42 (в зависимости от местоположения В. в овощном павильоне): В. перемещается в рыбные ряды.

секунды 43–47 (в зависимости от обстановки у «рыбников»): В. оставляет кошелек на наименее людном прилавке

секунды 47–48: следящий за В. охранник забирает кошелек и направляется в условленное место

секунды 48/52–60 (в зависимости от местоположения В. в рыбном павильоне): В. возвращается в овощной павильон, чтобы начать с секунды 1.

Итого: 60 секунд

Раньше Валентину едва хватало трех минут, чтобы добраться в другой конец рынка. Там, на углу перед входом в мясной павильон, всегда дежурил кто-то из охраны, которому запыхавшийся Касапу бросал добычу через расстегнутую до пупка молнию. Кошелек падал внутрь плотно облегающей ниже пояса куртки, в которой охранник стоял, словно талисман мясного павильона, кру-

глый год – мерз, потел, мокнул под дождем и ненавидел старика, исправно приносившего деньги. Охранники менялись, но куртка на них и старик с деньгами оставались теми же.

Пока Валентин читал, перед ним словно маячил Рубец – злой, взмыленный, нервно надиктовывавший длиннющей секретарше эту, если ее так можно назвать, инструкцию.

«Шагу! Шагу без меня не сделаете!» – кричал он, переводил дыхание и продолжал диктовать.

Почему-то Касапу решил, что бумагу составлял именно Рубец. Уж точно, не кто-то из охранников, что было ясно из Жениного «тебе передали». Возможно, Козма, но Валентину все же хотелось думать, что именно Рубец.

Пятнадцать лет жить с чувством, что тебе сделали одолжение! Словно подобрали на улице. Бросили кость. Вытащили с помойки, да еще и подарили золотиносный рудник. На, вкалывай на здоровье!

И Касапу вкалывал: обчищал женские сумочки шесть дней в неделю (в понедельник рынок не работал), по шесть часов в день, лишь бы не чувствовать себя должником. Чтобы и мысли такой у Рубца не возникло. Когда же пару лет назад Валентину шепнули, что Митрич умер в тюрьме, Касапу, не сдержавшись, разрыдался. Не от жалости – в конце концов Митрич был старше на двенадцать лет. Благодарность – вот что сочилось из глаз Валентина. Запоздалое признание за обеспеченную старость, билетом в которую Митрич щедро одарил Валентина в день их последней встречи.

Но теперь, лежа на диване съемной квартиры, ценой двести евро в месяц – целое состояние для молдавского пенсионера, – Валентин ощутил во всем теле легкость от одной мысли, что никому и ничего не должен.

Что? Рубцу больше нечем заняться, как думать за гребанного воришку?

Плевать!

У него комиссии, министерства, заседания, а он чуть ли не с секундомером просчитывает каждый шаг за старого пердуна?

Да плевать же!

У него бизнес на миллионы – миллионы, мать вашу, евро, а он тратит два часа – знаете, знаете, сколько стоит минута его времени? – которые не удосужился потратить на самого же себя занюханный щипач?

Плевать, мать вашу, плевать!!!

«Надо ускорить»!

И это после пятнадцати лет, да еще кому? – старику, который в отцы годится! Пусть оглянется вокруг, высунет морду из затонированного, блядь, мерседеса, пусть посидит у засанного парашета, рядом с нищими, искалеченными жизнью и такими вот ублюдками стариками! И пусть попробует после этого...

Да! Пусть попробует найти хотя бы одного толкового карманника, пусть!

Хрен он кого...

Валентин закашлялся – он опять не заметил, как заговорил, вернее, закричал.

Эх, старость, старость...

Старость и одиночество. Сестры-двойняшки. Две не разлей вода реки, уносящих к последнему водопаду, за которым – пропасть в бесконечность.

Одиночество доставляло Валентину не меньше хлопот, чем старость. Дело не в семье, которой у него никогда не было, а в настоящем одиночестве, которая сродни болезни. Если так, то Валентин был обречен – его болезнь достигла последней стадии.

Это когда не с кем поговорить. Совсем.

Необходимое условие работы карманника – незаметность – предстало перед ним в жутком виде, как если вместо слепой любви подданных правитель внезапно почувствовал бы на собственной шкуре истинную причину поклонения себе – парализующий страх перед тираном. Валентина не замечали не только жертвы, что не давало повода для беспокойства, но и те, кто так же, как он, кормился с рынка – более или менее законными путями. Или замечали, но делали вид, что его вовсе нет.

Кто же будет разговаривать с тем, кого нет?

Исключения составляли «пастухи» Валентина – охранники, да и те перестраховывались, заговаривая лишь в крайних случаях. Торгаши овощного павильона, повязанные обязательством осуществлять отвлекающий маневр, и вовсе ненавидели Касапу. Нет, в глаза ничего такого себе не позволяли, но смотрели в лучшем случае как на привидение.

Однажды Валентин не выдержал и, подмигнув Нине – любимой реализаторше (о, как она выдерживала паузу, как вовремя теребила покупательницу за рукав – «забирайте, забирайте, очередь же!»), чувствуя прилив ничем не объяснимой веселости, спросил: «Почем картошка?»

Ох! Хорошо, что Нина – не экстрасенс. Вроде Кашпировского или Чумака. Взглядом, которым она обожгла Валентина, не то что воду заряжать – человека сжечь можно. Валентину будто дали в морду и под зад одновременно: покраснев, он побежал, вилля в толпе, и остаток дня провел в центральном парке, мрачно вышагивая по асфальту каштановой аллеи, пересаживаясь с одной скамейки на другую.

Лучше перо под ребро, чем такой взгляд!

Хотя нет.

Про день, когда молчаливая ненависть выплеснулась-таки наружу, Касапу не мог думать без одышки. День этот мог стать для него последним днем на свободе, но стал последним рабочим для Игорька – шустрого продавца зелени.

– Ой, кошелек украли! – растерянно воскликнула женщина с двумя хвостами – одним, спадающим роскошными волосами с затылка на спину, и еще одним, тянущимся едва уловимым шлейфом дорогих духов, по которому Валентин и вычислил новую жертву.

– Не иначе, старый шакал увел, – услышал Валентин голос Игорька, поспешно покидая овощной павильон с толстым лакированным кошельком в кармане.

На следующее утро реализаторы о чем-то тревожно перешептывались и подавленно замолкали. Накануне вечером окровавленного, с проломанной головой Игорька обнаружил случайный прохожий под забором Армянского кладбища. Поговаривали, что лечение займет месяца три и что Игорек, даже если выкарабкается, не сможет не то, что торговать – ходить вряд ли будет. Как бы то ни было, а стол Игорька пустовал недолго – через неделю петрушка и сельдерей бойко расходились из рук высоченной девки, исключенной из колледжа за долги по оплате учебного контракта.

После случая с Игорьком от Валентина стали отворачиваться задолго до его приближения, в особенности продавцы соседнего с овощным рыбного павильона. Стоило ему появиться у них в междурядье, когда кошелек, словно черная метка, мог в любую секунду оказаться перед носом каждого из торгашей, медленно сползая по липким рыбьим бокам, как реализаторы либо ныряли под стол – якобы за товаром, либо поворачивались боком – пересчитать выручку, а то и вовсе показывали Касапу спину, затевая ставший вдруг неотложным разговор с коллегой из соседнего ряда.

Валентин чувствовал себя котом, попавшим в мышиное царство. Повсюду его покусывали – зло и исподтишка, хотя и не смертельно. Но так же как кот, уйти он не мог – слишком уж лакомым было место.

«Как прокаженный!» – задыхался от ненависти то ли к торговцем, то ли к себе Валентин. В таком состоянии его взгляд обычно останавливался на цыганках, вытянувшихся живой цепью во всю центральную аллею рынка.

– Отрава, отрав! Отрава для мышей, тараканов, – галдели они с утра до вечера, – свечи, носки, чулки!

Как же он раньше не замечал? И в самом деле, цыганки никогда не прятали взгляда от Валентина, теперь же он не мог не заметить, что они не просто видят – они его рассматривают.

«Да-да, и они тоже. Их тоже никто не любит», – думал Валентин, и сердце его наполнялось неожиданным теплом при виде этих смуглых и сморщенных лиц.

– Может, вы мне погадаете? – подошел он к одной из них, чувствуя, что больше не может, да и не нужно, сторониться этих, возможно, последних родственных душ.

Другие цыганки, как по команде, замолчали и усталились на Валентина. Самая пожилая, ко-

торой Касапу доверил рассказ о собственном будущем, недоверчиво покосилась на протянутую ладонь карманника. Покопавшись в сумке, они достала тонкую церковную свечку, шелкнула невесте откуда взявшейся зажигалкой и поднесла огонь к фитилю.

– Лучше я за тебя свечку поставлю, – сказала она, – вот так.

И, перевернув фитилем вниз, погасила свечу о ладонь Валентина.

Глава седьмая

Давайте сразу условимся: женщина гораздо лучше мужчины приспособлена к обществу потребления. Возможно, это прозвучит цинично, но без женщины никакого общества потребления не было бы. Хотя, не исключая, что, не наступи эра потребления, исчезли бы и сами женщины. Как бы то ни было, а без признания превосходства женщин над мужчинами в данном аспекте настоящая глава не сложится, как не выйдет победителем из спора с женщиной мужчина без признания ее правоты.

Истина не в том, что к женщинам мужчины подчас относятся как к товару, при этом некоторые из них считают себя продавцами. Но даже если и так, то и подобная расстановка – в пользу женщины. Не каждый день продавцу улыбается удача, он терпит убытки, может даже разориться, а качественный товар всегда найдет покупателя, это я вам как директор рынка заявляю. Не продавец торгует товаром – товар меняет продавцов.

Огромный недостаток политической экономики – социально-экономический анализ без учета психологии полов. С таким же успехом можно изучать причины таяния арктических льдов, заранее исключив фактор глобального потепления. А ведь причина обоих процессов – в позитивной динамике среднегодовой температуры на планете. Причина возникновения общества потребления и особого места, занимаемого в нем женщиной, – тоже одна, а именно – женская зависть.

Нет, вообще-то зависть женщины к женщине так же естественна, как мужское бахвальство. «Женщины склонны к обману», – то и дело слышим мы, забывая или умалчивая тот факт, что за женским обманом не кроется злого умысла или, более того, маниакальной наклонности. Обман – всего лишь боеприпас зависти, играющий примерно такую же роль, как серебряные пули в борьбе с вампирами: без них не справишься, но и сами по себе, без прилаженного к ним орудия они совершенно бесполезны – не станешь же, в самом деле, расстреливать вурдалаков из рогатки.

«Привет, дорогая, как ты?»

«Прекрасно выглядишь!»

«Тебе так идет!»

«Ой, как тебя классно подстригли!»

«Целую, подружка!»

Обман и зависть, зависть и обман. Женщина усыпляет бдительность другой женщины, чтобы нанести внезапный удар, поднимающий ее на вершину успеха у мужчин. В этом, повторимся, нет ничего необычного и страшного. Зависть одной женщины к другой – и не зависть вовсе, а здоровая конкуренция, подталкивающая женщину к самосовершенствованию.

А вот когда женщина завидует мужчине...

Что я слышу? Откуда эти истеричные визги? Неужели феминистки?

Мужчины, опасайтесь собственного малодушия! Феминизм – не столько защита слабых, сколько уничтожение сильных. Эта плотина, перегордившая вечно живую реку эволюции, и вот уже все мы плещемся не в кристально чистом, стремительном потоке, а барахтаемся в мутной жиже, где отовсюду слышится мерзкое кваканье. И пусть многие из лягушек – вылитые принцессы, лучше от этого не становится. В конце концов, не каждому нравится жить в болоте. Беда в том, что, кроме болот, других пригодных для жизни мест, похоже, уже не осталось.

Как, феминистки требуют справедливости? Я не объективен, я умалчиваю истинные причины? А какие, позвольте спросить? Ах, неравенство в правах, дискриминация по половому признаку, несправедливая оплата труда?

Что ж, я отвечаю. Лучшие всего – результатами триумфального шествия феминизма. Вместо неравных прав – господство серости на всех ступенях общества. Вместо недоплаты за женский труд – пожизненные финансовые гарантии массам ничтожеств, этих живых мертвецов, до самой смерти захороненных в офисных складах. Наконец, вместо сексуальной дискриминации – орды инфантильных мужчин, для которых мужественный поступок – не обделаться в застрявшем на пару часов лифте.

Не хочется, да и не буду цитировать преданных феминистками анафеме авторов, которые, несмотря на ожесточенное сопротивление, нет-нет, да и умудряются, благо Интернет пока не закрыли, высказать о женской эмансипации то, что думают, а не то, что нужно прогрессивной политкорректной общественности.

«Среди представителей точных наук феминисток нет». «Феминистки изгнали с экрана обнаженную натуру, но не имеют ничего против самых кровавых сцен, вплоть до расчлененки». «Политкорректность, это чудовищное порождение феминизма, рассматривает психически нормального гетеросексуального мужчину как исчадие ада».

Я далек от теории неполноценности женщины в сравнении с мужчиной, но не в силах объяснить упорное стремление феминисток выдать слабое за сильное, глупость – за ум, черное за белое. А главное – их патологическое желание выдать себя за мужчин. Политика – нет, это частное явление, всего лишь верхушка айсберга, все самое страшное скрыто в пучине так называемой повседневной жизни так называемых обычных людей.

Хотя, если уж речь зашла о политике...

Кажется, мы слышали это всю жизнь: «в политике недопустимо мало женщин», «женщин не пускают на государственные должности», «женщины дискриминируются в своих политических правах». Стоит только, уверяли нас, отдать женщинам ключевые посты, как голодные насытятся, здоровые поправятся, мир станет мирным, а человечество – человечным.

Оглянитесь вокруг: женщины-министры, женщины-спикеры, женщины-канцлеры, женщины-президенты. Ну, и как вам этот мир? Гуманный мир, сытый мир, самый мирный из всех миров, не так ли? Не знаю как другие, но когда я вижу на экране этих монстров в юбке, африканские президенты-каннибалы не кажутся мне злом в последней инстанции. Вот женщина – министр иностранных дел, спокойным, без малейшего намека на дрожь, голосом объявляет о начале военной операции. Женщина-министр экономики прогнозирует увольнение десятков тысяч работников нерентабельных отраслей. Женщина-президент вручает государственные награды и улыбается подпрыгивавшим головорезам, пожимая их старческие руки, с которых даже времени не под силу смыть кровь.

Не слишком ли они заигрались в мужчин? Да так, что превзошли их в цинизме, жестокости, безответственности – в тех самых гнусностях, которые феминистки приводят в доказательство безнадежной безнравственности сильного пола?

Между прочим, феминизм, пусть и частичный, всегда присутствовал в советском обществе, и не нужно плутать в политических дебрях, достаточно вспомнить доблестных крановщиц и штапоукладчиц, Пашу Ангелину и Валентину Терешкову. Вот только о своих правах наши женщины слышаны не были, да и слова такого – «феминизм» – знать ничего не знали. К счастью наших отцов и дедов. А вот нам, похоже, придется столкнуться с опасностью лицом к лицу. Печальной всего то, что опасность живет с тобой в одном доме, спит в одной постели. Все равно, как если бы инопланетное существо проникло в здоровый организм, перепрограммировав его на бесчеловечные гнусности – вот что такое феминизм для нашего общества.

Взгляните на женщину, идущую по Центральному рынку г. Кишинева. Много ли в ней от женщины? Нет, она может попытаться оставаться женщиной и на рынке, но среда, среда...

Как неуместно будет выглядеть на рынке женщина кокетничающая, женщина стильная, женщина обворожительная и сексуальная. Вот она в платье с вырезом, в шляпке с вуалью, на высоких шпильках, гордо протискивается между мешков с картошкой и лотков с капустой. Она потеет, с нее сбивают шляпку, платье мнут. Отдав шпилькой чью-то ногу, она немедленно вознаграждается явно не заслуженным комплиментом («вот уродина!») и после всех злоключений

выглядит помятой, нелепой, заплаканной неудачницей, которая на рынке уместна так же, как гусарский жеребец на графском балу.

Но может быть, женщине вообще бессмысленно показываться на рынке?

Если и показываться, то вот какой.

Вот она входит через западные ворота, заранее надев на лицо маску деловой озлобленности и отчужденности. На ней обычные джинсы, темная неприметная блузка и туфли на низком. Холодная и сосредоточенная, она вклинивается в толпу и медленно, синхронно с общим движением, направляется в сторону молочного павильона. Она не старается быть красивой (большинство женщин преднамеренно не красятся перед тем, как отправляются на рынок, чем безмерно радуют мужей, устающих от ежедневных часовых кривляний супруги перед зеркалом). На рынке женщина не улыбается, не старается говорить томно, или высоко, или гулко (у каждой женщины есть собственная убойная интонация – еще один боеприпас зависти, который недалекие мужчины считают сексапильным голосом). Ей и в голову не придет подражать знаменитой походке Синди Кроуфорд. Одним словом, на рынке женщина не пытается быть лучше, чем она есть на самом деле. Сюда она приходит без зависти к другим женщинам, она честна настолько же, насколько может быть честной в общении с поднадоевшим мужем или с соседкой сверху, заливающей квартиру после каждого ремонта.

«Почем капуста? Да подавитесь такими ценами! Сама дура! А ну-ка, поверните телятину! Да какая же свежая, вся потемнела! Вот врет-то, а еще задницу отъела! Мужчина, а вы куда прете! Я перед вами занимала!»

И все-таки женщина на рынке завидует. Завидует мужчине, его грубой физической силе, с которой он продирается сквозь толпу, завидует его нетерпению, с которым он пронесется по рынку, подобный урагану, – женщина инстинктивно противится такой скорости в местах торговли (мужчины тяжело вздохнут, вспоминая бездарно потраченное в модных бутиках время в ожидании прекрасной половины).

Итак, женщина на рынке честна и не завидует другим женщинам. Собственно, это уже вердикт, поскольку перед нами – не женщина. Это – машина, циничная и расчетливая, жестокая и непривлекательная. Вылитая феминистка.

На наше счастье, до общества всеобщего потребления, а следовательно, до диктатуры феминизма нам еще далеко, и не факт, что с такой жизнью большинство из ныне живущих дождутся этой поистине жуткой эпохи. Но стоит уже сейчас задуматься, хотим ли мы в этом обществе оказаться.

А лучше – решать проблему феминизма уже сегодня, когда наше, кажущееся пока далеким, развитое капиталистическое будущее, похоже, предопределено.

Люди в церкви гудели, как рой слетевшихся на покойника мух. Отдельные слова – что-то о столовой и калачах – доносились лишь из задних рядов, тех, что теснились у входной двери, к которой прислонился, оказавшись внутри, Валентин.

Собравшиеся и в самом деле провожали покойника, вернее покойницу, гроб с которой занимал почетное место под центральным куполом церкви Святого Пантелеймона. Лицо у почившей старушки было неестественно сморщенным, словно померла она лет пять назад.

«Зачем мумию отпевать-то?» – подумал Валентин и тут же звонко хлопнул себя по лбу, словно изгоняя богохульные мысли.

На хлопок укоризненно обернулись, но жужжание разговоров стихло, лишь иногда кто-то невидимый покашливал, и еще – слышались сдержанные, но нетерпеливые вздохи. Людей можно было понять: батюшка работал добросовестно, и это утомляло.

Валентин застыл в дверях, не решаясь уйти, но и не понимая, зачем оставаться. Он почему-то был уверен, что в будний полдень в церкви будет пусто, но не учел, что люди умирают, не сверяясь с календарем.

– Проходите, что же вы, – женщина, которой Валентин загородил вход, подтолкнула его в спину и заодно – к решению остаться.

Да и тянуть Валентину было уже нелегко.

– Двенадцать штук, – ткнул он пальцем в свечку и полез за деньгами.

– Заупокойную будем читать? – ласково спросила женщина в черном за прилавком, если только стол, с которого продают ритуальные принадлежности, в церкви разрешено называть прилавком. – Только подождать придется, – она кивнула на скорбящую толпу.

– Нет-нет, я сам, – испуганно замахал Валентин и, расплатившись, сгреб свечи.

– Куда это... ставить? – остановился он, направившись было к иконе в ближайшем углу. – Мне бы за здравие.

Когда цыганка ткнула его свечой в ладонь, Валентин ничего не почувствовал. Никакой боли. Что он – ребенок, что ли? Людей в средние века на кострах жгли, и ничего, терпели. Еще умудрились умные речи толкать, да погромче, чтобы всем зевакам слышно было. Вот бы с нынешними горлопанами так – долго бы они митинговали?

Нет, Валентин даже не ойкнул. И не ударил – как можно? – наглуго цыганку. Ударить женщину он не мог, не имел права: ударить ее означало обратить на себя внимание.

Проклятая незаметность! Ничем не заменимая незаметность! Так и спалиться недолго, думал Валентин. Да нет, не от свечи, конечно же! Но кто скажет, не воткнул ли ему в следующий раз шило в задницу? Те же цыганки, мать их! И будет ли Рубец – а ведь он узнает, как пить дать, – потом разбираться, кто ткнул, чем ткнул, найдут ли, что вранье ли, то самое шило? Одно можно сказать точно – рисковать Рубец не рискнет, а значит – прощай, Валентин, прощай, визжащий на весь рынок, хватающийся за задницу воришка!

Глядя на вонзившуюся в его ладонь свечу, Касапу не издал ни звука, даже рта не раскрыл. Поэтому выступившие на его глазах слезы выглядели не вполне естественно: так подозрительно выглядит заплаканное, но совершенно не расстроенное лицо человека, если не знать, что он только что нашинковал гору лука. Нет, правда, свечой о ладонь – совсем не больно, но пусть кто-нибудь осудит человека, потерявшего последнюю надежду.

А ее-то, не больше и не меньше, Валентин и потерял. Гребаный рынок! Не то что родственной, ни одной живой души не встретишь! Озлобленные и жадные, завистливые и бездушные твари! И, главное, цыганкам-то он чем не угодил?

После Игорька Касапу зарекся закладывать провинившихся реализаторов. И кто его за язык дернул? Валентину и в кошмаре не могло привидеться, что эти безмозглые гориллы, числящиеся сотрудниками службы безопасности рынка, чуть не угрожают парня. Да и не желал он ничего такого Игорьку, бог с ним, у него вся жизнь впереди. Вернее, должна была быть впереди. А пока, в обозримом, как говорится, будущем, у Игорька впереди больницы, операции и куча дорожных лекарств, а еще – больная безработная мать, у которой нет денег на больницы, операции и лекарства для сына. Для ее единственного, между прочим, ребенка.

– Он у матери единственный сын, между прочим, – укоризненно покосился на Валентина охранник Мишка, калечивший Игорька в числе прочих ублюдков.

Валентин втянул голову в плечи, чувствуя, что может не вынести ноши, к которой, помимо бед несчастного Игорька, добавились моральные страдания охранников. А в том, что служба безопасности страдала, Валентин после слов Мишки не сомневался.

Катись оно ко всем чертям! Торговцы, деньги, цыганки, съемная квартира в центре, охранники эти долбаные! Провалиться этому рынку вместе с директором, мысленно слал проклятия Валентин, лежа на промокшей от слез подушке – один, в пустой, окутанной вечерним сумраком квартире.

Лишь бы не видеть их всех. Не слышать. Не говорить с ними, хотя это последнее пожелание давно исполнилось.

На следующее утро исполнилось и первое.

Проснувшись, Валентин по привычке протер глаза, но увидел не то, что ожидал. Этим не тем была сплошная пелена – белая, как если бы на глаза повязали салфетку, и Валентин даже усомнился – а жив ли он? Вспомнились рассказы очевидцев – их в последнее время часто передавали

по телевизору, – переживших клиническую смерть. Люди рассказывали о длинном коридоре с белым светом в конце. Свет бил им в глаза, слепил, поэтому стены коридора никто толком описать не мог. Отчего же они решили, что это был коридор, недоумевал каждый раз Валентин.

«Что смерть всего лишь клиническая – это, конечно, хорошо, но вот кто меня будет вытаскивать?» – запаниковал Касапу, представив, как над забинтованной головой Игорька склоняется врач, проводящий утренний осмотр.

Пошарив рукой, Валентин узнал по очертаниям родной диван и решил присесть. Пощупав лицо и убедившись, что на глазах посторонних предметов действительно нет и что глаза открыты, он снова лег и начал вспоминать.

Однажды в передаче «Здоровье» рассказывали, что инфаркт не случается внезапно, хотя большинство инфарктников уверены в обратном.

«Вспомните, – ласково уговаривала ведущая участников передачи, – наверняка бывало, что вам не хватало воздуха или отнималась левая рука. Это и был своего рода желтый предупреждающий сигнал, включенный светофором вашего организма, и если бы вы...»

Черт, что же там было? Словно пыльные страницы семейного альбома, перебирал Валентин события прошлого, надеясь отыскать хоть что-то похожее на симптомы расстройства зрения и – надо же! – ничего не мог обнаружить. Да он и об очках-то никогда не думал, и это в свои семьдесят пять! Он вообще не мог вспомнить, болел ли когда-нибудь серьезно. Разве что кашель в тюрьме – даже туберкулез ставили, так ведь для эков это вроде близорукости для библиотекарей: и болезнью не считается. А так – разве что в детстве и, кажется, грыжа (он попытался нащупать шов, но ничего не нашел – должно быть, зарос).

Точно, грыжа, и вроде бы даже перитонит был. Видимо, еле выходили, решил Валентин, вспомнив печальное лицо матери. Ее влажные от слез глаза Касапу ясно видел даже сейчас, и это было единственное, что он видел. Мать почему-то он запомнил именно такой – плачущей. Рыдания она всегда прятала, зарывшись головой в подушку. Горевала ли мать из-за мужа – отца Валентина, кто теперь ответит? Да и был ли он мужем, был ли Валентину отцом? Ясно одно: страдала мать из-за мужика, этого неизвестного, то ли мужа, то ли отца, которого Валентин никогда не видел, во всяком случае, не запомнил. Помнится, бабка Евдокия, тетушка матери, обнимала ее, содрогавшуюся в рыданиях, за плечи и ласково уговаривала: «Поставь за него свечку! Только огнем вниз – сама увидишь, сосохнется не по дням, а по часам».

Мать ва...!

Господи!

Господи, мать вашу!!!

Валентин почувствовал, как холодный пот – липкий, тяжелый, как свинец, – из волос он что ли берется? – скатываясь со лба, с затылка, струится по шее, по груди и спине, повсюду оставляя за собой зловонные следы.

Господи, неужели?!

«Давай-ка я за тебя свечку поставлю», – повторила цыганка в голове Валентина и утопила пламя в его ладони.

Змея! Сука! Отродье дьявольское!

Проклятье!

Да-да, проклятье, мать вашу, проклятье! Оно самое! И до чего быстро сработало, а? Вчера прокляла, сегодня ослеп! Значит, не брехня все это про цыган? Про наговор, про их колдовскую силу?

Валентин вспомнил, как долго, уже будучи взрослым, завидев цыганку, он каждый раз инстинктивно сжимал губы – из детского страха. Считалось, сколько зубов успеет сосчитать цыган, столько лет и проживешь.

– Так ведь с закрытым ртом совсем ничего не сосчитает, – возразил как-то Валентин друзьям, таким же оборванцам, как он сам, – что ж тогда – сразу помирать?

Но пацаны только замахали руками – не задавай, мол, глупых вопросов, и Валентину ничего не оставалось, как верить и еще плотнее сжимать губы.

Теперь, может, цыганки подсчитали, сколько часов нужно Валентину, чтобы ослепнуть? Касапу снова прошиб пот. Помимо уймы неудобств, потеря зрения означала для него смерть, и не клиническую, а самую что ни на есть окончательную. Чем теперь заглядывать в дамские, чтоб их, сумочки?

Скорая! Срочно нужен врач! Может, еще можно что-то сделать. Валентин сполз с дивана и на ощупь пробрался в прихожую, где, пошарив, сбил трубку с телефона на пол.

Какой же там номер, подумал он и ужаснулся – номера скорой помощи он, хоть убейте, не помнил. Нет, раньше, в советские времена эти номера знали все: пожарная – 01, милиция – 02, скорая – 03 и так далее. Но сейчас к ним прибавили то ли одну, то ли две цифры. 1403, что ли? Или 2203?

Валентин тупо (он знал, что это выглядит именно так) пялился туда, где, если его не обманывали руки, располагался телефон, и вдруг увидел, как из сплошной белизны перед глазами выглядывают, словно всплывая в молоке, квадратики телефонных кнопок. Вначале правильным контуром обозначились кнопочные границы, за ними показались негативы цифр и наконец – сам телефон, но не прежний, ярко-красный, а будто с выцветшей фотографии, отчего казался устаревшим, хотя Касапу и купил его всего с полгода назад.

Валентин застыл над телефоном, упершись в стену зажатой в руке трубкой, и тяжело дышал. Капли пота падали, срываясь с кончика носа, на кнопки телефона, но массы их было недостаточно, чтобы набрать даже однозначный номер.

Слава богу! Спасибо, тебе, господи, прошептал Валентин и еще что-то, что, как ему казалось, Всевышний согласится зачесть за молитву.

«Пойду, Богом клянусь!» – пообещал себе Валентин.

И на следующий же день был в церкви.

С двенадцатью свечами в дрожащих руках – а он заранее решил, что свечей должно быть по числу апостолов – Валентин подошел к иконе, стараясь не смотреть в центр зала – туда, где проходила панихида. Поцеловав одиннадцать свечей пламенем двенадцатой, он пробормотал «дай прозреть, господи!» и направился к выходу. Взявшись за ручку тяжелой входной двери, Валентин содрогнулся, словно от удара током. Двенадцать – число-то четное! Он купил еще одну и вернулся к своим свечам, которые, печально оплывая, приняли в свои ряды свежеиспеченную соседку – пока еще стройную и высокую.

Выйдя из церкви, Валентин почувствовал необычайную легкость, будто душа его и в самом деле очистилась. По алее каштанов, опрометчиво салютовавших первыми побегами обманчивому кишиневскому марту, спустившись вдоль Дома печати к Органному залу, он остановился у входа в городскую мэрию, откуда открывается замечательный вид на проспект Штефана Великого с Главпочтамтом, Макдональдсом и магазином Детский мир. Взглянув на рекламный щит, загоревший окна второго этажа американской закусочной, Валентин прищурился, чтобы понять, что же там изображено, но ничего не разглядел. Воображение подсказывало, что на красном полотнище не может быть ничего иного, кроме многослойных булочек с котлетами и пластиковых стаканчиков с прохладительными напитками, вот только все эти гамбургеры и колы виделись Валентину как после наркоза, когда кажется, что наблюдаешь становление мира – настолько гибкими представляются даже самые твердые предметы.

На углу у мэрии Касапу теперь останавливался ежедневно и каждый раз чувствовал себя обкраденным, что для вора примерно то же, что для брандмейстера – пожар в собственном доме. Зрение Валентина словно побывало в ломбарде, потому и вернулось не полностью – без комиссиона, удержанного за хранение. Черт с ними, с гамбургерами, но глаза жгло, как при попадании хозяйственного мыла, от ламп, автомобильных фар и даже от робких весенних лучей. На рынке Валентину приходилось прикрывать глаза ладонью как козырьком, что существенно снижало маневренность рук. От мысли о солнцезащитных очках пришлось отказаться – любой намек на подозрительную внешность исключался, к тому же и без темных очков он с трудом различал кошельки в полумраке сумочек.

Зато Валентин понял, насколько совершенны его пальцы. Он почти перестал доверять глазам и, чуть не коснувшись сумочки носом – убедиться, что она открыта, – выпрямлялся и запускал руку внутрь почти не глядя, иногда даже вертел головой по сторонам. Пальцы не подвели ни разу, словно обладали собственным, более совершенным зрительным аппаратом, на который не действовали цыганские чары.

Цыганки наверняка знали, что происходит с Валентином: чем же еще объяснить их презрительные ухмылки? А может, и не было никаких ухмылок, а виной всему – воображение и никудышное зрение? Думая так, Валентин стал грешить на себя, чертыхаясь и бледнея каждый раз, когда вспоминал, как из-за нелепого суеверия разменял двенадцать апостолов на тринадцать («счастливое», что и говорить, число!) свечей, но потом успокоился. В конце концов, если Бог был в состоянии помочь, он бы так и поступил, думал Валентин и понял, что не обойтись без старого бабушкиного способа – посещения окулиста. Не мешало бы, решил он, целиком провериться – как бы помимо глаз другие болячки не появились. Как ни крути, а семьдесят пять лет – не шестьдесят.

Больничные очереди Валентин миновал, благоразумно уплатив сто леев регистраторше. Больше ста врачам он не давал. Меньше – тоже; в конце концов, собственное здоровье чего-то да стоит. За каких-то сорок минут, ведомый уверенной регистраторшей, Валентин прошел семерых врачей, так и не вкусив угрюмости очередей и равнодушия медработников. Выйдя из последнего кабинета – пульмонолога, с кипой бумаг в руках и без восьмисот леев в кармане, он вдруг понял, что, кроме настойчивого совета немедленно лечь на операцию по удалению катаракты, другого ответа на главный вопрос – как улучшить зрение, он так и не получил. Помывшись, Валентин зашаркал к кабинету окулиста, где его уже поджидали мстительные взгляды.

– Куда? – взвизгнула очередь и, словно удавка, затянулась вокруг Валентина.

– В конец! В самый конец! – обрызгала Валентина слюной невероятно страшная, видимо, из-за собственной худобы старушенция. При желании он мог бы убить ее одним ударом кулака.

Спорить с ошетилившейся толпой Валентин не стал и, нащупав в кармане предпоследнюю сотку, поплелся в регистратуру.

Выписанные врачом капли помогли. Глаза перестало жечь, но зрение если и изменилось, то не в лучшую сторону. Эх, были бы капли от злости, Валентин охотно поделился бы с цыганками. А лучше – отворот от приворота, противоядие от ядовитого укуса цыганской свечой. Только вот где его, это чудесное средство, взять, после того, как капитулировали и церковь, и медицина?

– Тебя Николай Семенович хочет видеть, – столкнувшись в воротах с Валентином, на ходу бросил охранник Женя.

Рубец!

Валентин еле сдержался, чтобы не обнять Женю. Конечно же, Рубец! Как же он раньше не додумался!

Сбиваясь на бег, Валентин с надеждой поглядывал на окна второго этажа администрации, за которыми, знал он, окажется через пару минут. Проклятая робость! Нет, к черту! Надо, наконец, решиться и потолковать с Рубцом. Пусть знает все, как есть. Все равно надеяться больше не на кого. Засмеет? Пускай! Пошлет? Ну что ж, так тому и быть.

Но – нахотавшись до колик и послав Валентина в самые грязные путешествия – Рубец, пусть в шутку, пусть лишь бы отвязаться, но потребует от цыганок снять с Валентина проклятие.

И куда им тогда деваться? Разве что навести порчу и на Рубца.

Часы на арке работали исправно и даже брали на себя больше положенного. Пробивая одиннадцать, они исполнили мотив песни о городе – мелодию, ежечасно оглашающую центр Кишинева с других часов – тех, что на башне городской мэрии, метрах в двухстах от настоящей Арки Победы. Поразившая Валентина арка была совсем как та, настоящая, по циферблату которой

сверяют время чиновники из здания правительства напротив. Да пожалуй, она и была настоящей – из чистого золота, и стоила, подумалось Валентину, не многим меньше оригинала. Сам стол, на котором гордо возвышалось пресс-папье в виде арки с беззащитно укравшими мелодию часами, словно впад в немилость, переместился в дальний угол комнаты и совершенно не привлекал бы к себе внимания, если б не золотая копия шедевра кишиневской архитектуры.

Центр директорского кабинета теперь занимали два стула, примостившиеся к прозрачному круглому столику на изящных ножках. Недопитая бутылка шампанского в окружении одного стоически чистого и двух меченых помадой бокалов, двухэтажной вазы с потемневшими бананами и подсохшими дольками нарезанных апельсинов и киви – вот все, что занимало поверхность крохотного столика. С другой стороны к нему примыкала широченная кровать, которую язык не повернется назвать двупальной – минимум на четырех человек, хотя подушек действительно было две. Еще одна кровать нависала с потолка – в зеркале, полностью совпадавшем размером и расположением с ложем внизу.

Чуть в стороне от окна, из которого Рубец когда-то показал Валентину будущее место работы, на темной тумбе с высокими стеклянными дверцами расположился огромный телевизор с плоским экраном, по обе стороны которого возвышались два серебристых небоскреба – звуковые динамики. Чтобы увидеть спящих между рядами людей, теперь пришлось бы одернуть розовые бархатные шторы, которые гармонировали, и то с оговоркой, разве что с дальней стеной, выкрашенной, в отличие от трех желтых, в бордовый цвет. В правый угол бордовой стены и был сослан бывший хозяин кабинета – неуместный в новой обстановке офисный стол с золотой аркой победы, в другом же примостилась изящная этажерка, представлявшая что-то наподобие открытого бара – так тесно было на ее полках бутылкам с разноцветными жидкостями.

– Нравится? – послышался голос Рубца, – проходи, не робей.

Вынырнув из-за этажерки с бутылкой виски в одной руке и двумя бокалами со льдом – в другой, директор присел к стеклянному столику, кивнув Валентину на стул напротив.

– Когда же... – присел Валентин, не переставая оглядываться.

– Когда успели? – перебил Рубец, – вижу, ты совсем заработался. Две недели чуть ли не круглосуточно ремонтировали. Хотелось, знаешь, чтоб и на работе как дома, – он покосился на кровать-аэродром.

– Виски? – приподнял бутылку Рубец.

– Спасибо, я на работе.

– Ну и как работаете? – ошпарил лед струей «Джек Дэниелс» Рубец.

Заерзав, Валентин придвинулся на край стула.

– Я как раз хотел поговорить, – торопливо начал он.

– Говорят, ты бабки ныкаешь.

– Что-что?

Подняв бокал, Рубец с равнодушием палача следил за кусочками льда, которые и кубиками уже нельзя было назвать – так быстро растворялась их индивидуальность во враждебной алкогольной среде.

– Цыганки сказали, – сказал Рубец и залпом выпил.

– Ка.. какие цыганки?

Показав Валентину ладонь – мол, подожди – Рубец сморщился, а затем выпучил глаза и открыл рот.

– Ххууу... аааа... – он закинул в рот кусочек апельсина вместе со шкуркой, – наши цыганки, какие ж еще?

– Да ты что?

Валентин вскочил, и Рубец только сейчас заметил, что старик, оказывается, совсем не маленького роста.

– Они видели, как...

– Да змеи они, цыганки твои!

– Все нормально, – снова вытянул ладонь, на этот раз успокаивающе, Рубец показавшемуся в дверях начальнику охраны Козме, – мы сами справимся. Так ведь, Валентин? – спросил он тоном переговорщика, убеждающего психа не прыгать с крыши многоэтажки.

Касапу послушно присел, тем более что ноги вдруг перестали слушаться, будто стоял он в вагоне разогнавшегося на стыках рельс поезда.

– Видишь ли, – Рубец вытащил из пачки на столе сигарету, – я все понимаю. Тебя, как бы это сказать, – он закурил, пыхнув на Валентина дымом, – прямо скажем, недолюбливают.

Валентин тяжело ссутулился, словно подтверждая неприятный факт.

– А если посмотреть с другой стороны? У тебя ведь другие ставки. Да, другие риски, – он взмахнул рукой с сигаретой, – но и деньги не те, что у всей этой шушеры. Морковка, свечки, кофе. Даже свинина, блядь. Они вкалывают не меньше твоего, но разве можно сравнить по деньгам?

– Я просто хотел, чтобы вот эти необоснованные...

– Ты погоди. Не горячись. В твоём возрасте, извини, конечно, что напоминаю, но что поделять, если в твоём возрасте нервничать действительно вредно. Да, ты можешь этот аргумент – я имею в виду возраст – привести и в свою пользу. И будешь прав. Прав, потому что ты единственный экземпляр. В свои, сколько тебе – семьдесят? больше? – в свои годы заткнешь за пояс двадцатилетнего. Нет, серьезно, не скромничай, таких ведь больше нет. Сколько уже – лет десять? Нет, какие десять? Десяносто тре... сейчас какой? две тысячи во... Пятнадцать! Пятнадцать лет! Без единого – тыфу-тыфу – даже намек на прокол! Это, я скажу тебе... – Рубец уважительно поджал губы, – и неужели ты думаешь, что я это не цену? Я же все вижу, и у меня нет к тебе претензий. В этом плане, как минимум. Но если я не идиот – а мне почему-то кажется, что я не идиот, – почему мне, спрошу тебя, почему бы не подумать о завтрашнем дне и не подобрать – нет, не равнозначную, равнозначная замена тебе – это утопия, – а хотя бы более-менее достойную альтернативу? Сам посуди, старик, а?

Валентин не двигался и даже дышать старался неслышно.

– В конце концов, это бизнес. Деловой человек нуждается в подвижных глазах – совсем как у хамелеона. Чтобы пялиться не только под ноги, но и заглядывать за горизонт, и желательно делать оба дела одновременно. Понимаешь, о чем я?

Валентин кивнул.

– Давай договоримся, – Рубец явно перешел к деловой части разговора, о чем свидетельствовал мобильный телефон, который он достал из кармана, чтобы беспорядочно нажимать на кнопки – была у него такая привычка, – ты работаешь как работал. Тише воды, ниже травы. Петрушки, киндзи, лука, ну и прочего, чем торгуют сам знаешь где. Шучу, конечно. Как, кстати, твои помощники?

– Кто?

– Нина, тетя Маруся, Богдан, Василий, Доминика, кто там еще? А говорят, я страшно далек от народа. Даже из обычных реализаторов кое-кого помню. Игорек опять же... Ах, да, – он покосился на Валентина, – Игорек-то как раз уже не работает. Так что, содействуют? Проблем нет?

– Ну... – замаялся Валентин.

– Не понял, саботирует кто? – напрягся Рубец, – ты только шепни.

– Нет-нет – испугался Валентин, – что ты... вы.

– Да ладно, я ведь тебе в сыновья гожусь, – заулыбался Рубец.

– Я хотел сказать – очень даже. Я и не знаю, что бы без них...

– Это точно, – с гордостью подтвердил Рубец. Еще бы – ведь схему с ассистентами-реализаторами придумал именно он.

– Ты хотел что-то добавить? – спросил Рубец, заметив, что Валентин открыл рот.

– Вооот... А что я хотел? – спросил себя Рубец после того, как Валентин отрицательно помотал головой. – Ну да, работать. Продолжай, никто тебя не тронет, да пусть бля рыпнется кто! Главное, чтобы все по понятиям. Прозрачно. Транспарентно, слышал, наверное, такое слово? Даже если эти сучки черножопые и наговорили – я сам их, признаться, не перевариваю, но мой внутренний расизм не должен мешать бизнесу, понимаешь? Ну кто из нас без недостатков? Зато я – спокоен.

Ты – не обижен, не так ли? Ну, хочешь, подниму цыганкам арендную плату? В качестве моральной компенсации, а? Шучу, шучу, – хлопнул он Валентина по плечу, вставая – прием был окончен.

В дверях Касапу обернулся.

– А ведь они все время пасут меня, – сказал он.

– Кто? – не понял Рубец.

– Да фраера твои. Женьки, Мишки, Виорелы все эти. Я же шагу без них ступить не могу.

– Ну и?

– Ныкал бы я деньги, неужто не усекли бы? – развел руками Валентин.

– Ну, – улыбнулся Рубец, – если они ни разу так и не усекли, как ты уводишь кошелек...

После этого странного разговора с Валентином словно гора свалилась.

«Шел бы он», – мысленно решал он, куда бы послать Рубца – так, чтобы не мешал разбираться с цыганками.

В голове Касапу словно ожил давно потухший вулкан: мозг плавилась кипящая лава ненависти. Война так война, определился Валентин, а еще – решил, что обязательно прижмет цыганок. Пришучит, бля, черножопых. Кровью будут плевать, но зрение вернут.

Но лучше крови, подумал Валентин, пустить слух. Он по себе знал, что родившиеся на рынке слухи разносятся, как смертельная эпидемия – стремительно и сражая наповал. Словно бациллы, разбегалось по городу бабье, заражая страхом перед неуловимым карманником, который – и куда только смотрит полиция! – грабит женщин на рынке среди бела дня. Другие женщины вздыхали, цокали языками и ругали правительство, но стоило им затесаться в рыночную толпу, как тут же забывали об опасности.

С цыганками еще проще. Цыганок сторонятся все, даже те, кому позарез нужны дешевые свечи или тряпичные туфли. Была мысль пустить «пушку», что в их тараканьем яде содержатся нитраты. А что – в Молдавии все панически боятся нитратов, считая, что к ним и прикасаться опасно, не то что употреблять в пищу. Или, вспомнив детство, прибегнуть к самому убедительному аргументу – колдовской силе цыганок? Шепнуть, что на какую сумму купишь у них свечей, яда, сумок и прочего дерьма, столько часов проживешь и ни секундой больше? Или что цыганки по одному взгляду вычисляют адрес, телефон и код домофона?

Вариантов было – хоть отбавляй, и Валентин уже представлял, как бубнит то одному, то другому покупателю, заговорщически косясь на смуглых теток со сморщенными лицами.

И тут – она.

Алое платье до колен, стройные ноги и огромные черные очи, прожигающие до самого сердца даже сквозь белесую пелену на глазах Валентина. Поначалу Касапу принял ее за любовницу кого-то из охранников – так примелькалось на рынке ее алое платье. А может, и самого Козмы, решил было Валентин, пока не застучал красотку с цыганками, голосащей таким же мерзким голосом и, конечно, на тарабарщине, из которой выпадали отдельные молдавские и русские слова. Валентин остолбенел: цыганки так вились вокруг женщины в алом, послушно кивая в ответ каждой ее фразе, что сомнений не оставалось – она и есть над всеми цыганками цыганка.

«Хана вам, змеюги!» – ликовал Касапу, прикидывая, в какую сумму может оценить свое зрение. Пристроившись в паре метров от алой цыганки, он внимательно рассматривал ее и запоминал. Получалось прилично: с десятков золотых перстней на обеих руках, массивный золотой браслет и тяжелые, отягивающие мочки, кольца в ушах. Роскошное – надо признать – платье и в тон ему туфли на высоком каблуке. По всему выходило, что в сумочке, тоже красной, притаился пухлый – нетрудно догадаться, какого цвета – кошелек.

Одна проблема: красавица-цыганка никогда не заглядывала в овощной павильон.

«Домой ей, что ли, продукты доставляют?», тосковал Касапу, но поработать на чужой территории не рискнул.

Охранник Мишка, вращавший головой как флюгером, в три секунды находил Валентина даже в самой непроходимой толпе. Поэтому, когда цыганка в алом застыла у лотка с цитрусовыми, Валентин, уже стоявший за ее спиной, мысленно произнес всего два слова: «долгой коммунистов».

– Какие ж это два кило, девушка? – цыганка размахивала кульком с апельсинами. – А ну-ка давай еще раз, – и она метнула кулек на весы.

Секунды 0–1: кошелек падает в сумку. Руки покупательницы тянутся к весам.

Секунда 2: правая рука В. цепляет кошелек.

Секунда 3: правая рука В. задерживается в сумочке, зафиксированная посторонней рукой №1 (здесь и далее посторонние руки и голоса обозначены номерами).

Секунда 3: рука №2 загибает левую руку В. за спину. Спина В. рефлекторно сгибается параллельно асфальту.

Секунда 4: над головой В. вспыхивает яркий свет, источник которого не идентифицирован.

Секунды 5–6: раздается голос №1: «Улыбочку, дедуля! Вас снимают!». Рука №3 поворачивает голову В. глазами к яркому свету.

Секунды 7–16: рука №1 извлекает из сумки правую руку В. с зажатым в пальцах кошельком. После насильственного разжатия пальцев В. пальцами руки №1 кошелек неслышно исчезает. Одновременно раздается голос №1: «Свидетели, прошу оставаться на местах! Сейчас последует пересчет денег!»

Секунды 17–18: рука №1 заламывает правую руку В. за спину. Обе руки В. заковываются в наручники.

Секунды 19–20: руки №1, 2, 3 и 4 ведут В. в неизвестном направлении.

Секунда 21: В. вспоминает, что кроме кошелька, иных предметов в красной сумке не было.

Итого – 22 секунды.

Ну вот, совсем другое дело!

Глава десятая

Чем теоретик лучше практика? Тем же, чем мудрый правитель лучше глупого народа. Что ни прикажет, все не так поймут, и уж тем более не так сделают. А правитель – он вне подозрения. Ошибки? Побойтесь бога! Это все они, глупые людишки, толкуешь им, разжевываешь, да все без толку.

Аналогичное можно сказать и о теоретике: его ошибки – его победы. Собственно, и ошибками-то они становятся в результате практической деятельности, поэтому винить принято горе-практиков, этих безруких (вернее, безмозглых) вершителей безупречной теории. А теоретик – он велик. Он годами не спал, думал, работал, записывал за собой, и вот те на: из-за каких-то бездарей гигантский труд, гениальные мысли, сомнения, терзания и великие открытия – все обращается прахом.

Славно и сладостно быть теоретиком. Поэтому в этой главе – ни слова о теории. Разве что совсем чуть-чуть.

О чем вы, какое благородство? При чем тут рыцарство?!

Теория всесильна и неуязвима, а вы о ветряных мельницах толкуете. Да, она умозрительна, как те драконы и вражеские отряды, что мерещились Дон-Кихоту в мельничных лопастях и в стаде овец, но класть на одну чашу весов плод больного воображения и теорию – не лучше, чем делать вывод, что радиоактивное облако не опаснее радиоволны – на том лишь основании, что обе эти субстанции невидимы.

Не в рыцарстве дело. Да и кто станет противиться теории, если все ее ошибки суждено испустить практике? Бог совершенен, люди грешны. Сколько бы не начудил теоретик, от ошибок его теория станет еще безгрешней, она лишь «совершенствуется» ценой тысяч, миллионов практических действий. Катастрофические потери практиков никого не волнуют и не удивляют. И уж тем более никто не восстает против теории. К этим ошибкам привыкли, их ожидают, «прогнозируют», смиренно называя их «методом проб и ошибок» и воспринимая как неизбежную плату за доказательство совершенства теории.

Я обещал немного теории – пожалуйста. Теория, которой будет совсем чуть-чуть в этой главе,

аксиоматична и не требует доказательств. Нет даже необходимости ее формулировать. Достаточно первой ее части, которая звучит так: «рынок и секс», чтобы сознание подсказало часть вторую – «вещи несовместные», и вот уже перед нами теоретическая аксиома, не нуждающаяся, что ясно любому психически уравновешенному человеку, в каких-либо доказательствах.

И на этом – действительно довольно о теории. Долой доказательства! Аксиома – и точка. И не ждите подвоха – я не убью остаток главы на то, чтобы незаметно, крадучись, взять в кольцо никем не доказанную и оттого безупречную теорию, и когда она окончательно забронзовеет в ваших умах, внезапным сокрушительным штурмом сбросить ее с постамента. Если даже вам так и покажется – что ж, это ваше право. На мой же вкус, практическая деятельность не всегда нуждается в доказательствах. Как, впрочем, и в теоретическом обосновании.

Это было в теперь уже далеком девяносто третьем. Молодые люди, тем кому сейчас восемнадцать-двадцать, вы многое потеряли, не застав этого времени. Впрочем, те, кто застали, потеряли не меньше. Целую страну, а вместе с ней – спокойствие и уверенность. Согласен, страна могла бы дать и больше, но для тех, кто потерял спокойствие и уверенность, не обретя веры в себя, подобные потери невосполнимы. Допускаю, что отчаявшиеся тогда, даже сейчас и даже самим себе не признаются, что если и дожили до сегодняшнего дня, то лишь благодаря тем, кто в начале девяностых поверил в себя. Благодаря спекулянтам, рэкетирам, челнокам и валютчикам. Благодаря тем, усилиями которых заклинивший было механизм, пусть со скрипом, пусть и в противоположную здравому смыслу сторону, но был запущен. Теперь время работало на всех, даже на тех, кто отчаялся. Страшно представить, что было бы, если б никто не обрел веру в себя. Его, этот механизм, попросту некому было бы крутить. И, знаете, сегодня мне не стыдно сказать: я тоже его крутил.

Я знаю, что вы скажете. Вы скажете: тогда, в начале девяностых, вы, мы то есть, гребли деньги мешками. Так оно и было. Никаких супермаркетов, частные магазины только начали появляться, а на центральном рынке – изобилие, невиданное для советского человека. По популярности мы обошли митинги, бушевавшие на центральной площади Кишинева, тем более, что митинговавшие к этому времени успели изрядно проголодаться. Да, мы загребали, но обогащались-то покупатели. Это ведь они узнали, что батончик – это не пол-хлеба, а «Сникерс», что нет такого города – Бавария, а есть пиво, и что зубная паста и «Поморин» – не одно и то же. Что же плохого в том, что люди расширили свой, извините за пошлый термин, потребительский кругозор? Что благодаря нашему рынку этот кругозор у них, строго говоря, и появился?

А плохо вот что. Недолго они его расширяли. В сентябре девяносто третьего молодое, но очень уверенное в себе молдавское государство ввело в оборот леи – собственную валюту. Да так ввело, что покупательная способность разом упала в десять и более раз.

А вы говорите – загребали.

Загребали! Еще пару недель после обмена.

Этого времени хватило на то, чтобы люди поняли, что их надули. А поняли они это потому, что у них за две недели закончились деньги, которых обычно хватало на месяц. Неудивительно, что люди перестали покупать. Перешли, пользуясь сегодняшним сленгом, на энергосберегающий режим.

А вы говорите – загребали. Девяносто третий – это год, в который мы едва не коснулись макушкой Луны: такой высоченной была гора из денег, на которой мы вальяжно развалились.

Девяносто третий – это год, когда мы чуть не сгорели вместе с внезапно вспыхнувшей под нами бумажной горой, когда мы с ненавистью и надеждой смотрели в небо – только бы не видеть эту Луну, только бы она скрылась за тучами и на нас полился бы, пусть из мелочи, но хоть какой-нибудь денежный дождь.

Как-то утром ко мне заявились три арендатора, которым я сдавал примерно две трети всех торговых мест на рынке, и заявили, что расторгают договор. У них затоварены склады, у них гниет картошка, портятся окорочка, выходит срок годности маринованных грибов, сгущенки, шампуней и порошков. Они – банкроты, и улучшения ситуации не предвидится. У них перестали покупать. Они не рассчитывали, что продажи так резко упадут.

Между прочим, я должен был вернуть им уйму денег, ведь по договору об аренде они оплатили

торговые места на квартал вперед. Это значит, рынок не сможет рассчитаться за свет, воду, канализацию и уборку территории. Персонал лишится зарплаты, нас прижмут за невыплату налогов. Признаюсь честно, в сентябре девяносто третьего мне не удалось избежать греха отчаяния.

Кое-как встряхнувшись, я решился продать рынок. Но то ли оттого, что активный поиск нового хозяина подозрителен сам по себе (как будто вам пытаются втюхать скоропортящийся товар), то ли потому, что оценить перспективу этого бизнеса было некому, моя попытка завершилась ничем.

И тут, как подарок свыше – он. Назовем его N, и никаких других намеков не будет. Он с ходу предложил арендовать все, слышите, все места на рынке, но я смог ему предложить всего две трети – те самые, что освободились от тройки отказников.

Так мы выкарабкались в девяносто третьем. Не уверен, что рынок просуществовал бы до сих пор, если бы не N. Поэтому, вспоминая его, я стараюсь сохранить в душе чувство благодарности, хотя, признаюсь, удаётся мне это не всегда.

Три года мы работали вместе. Хозяин и главный арендатор. По правде говоря, он был почти таким же хозяином, как я. Его стараниями рынок стал таким, каким вы знаете его уже более пятнадцати лет. N нашел беспроигрышные варианты поставки бытовой химии – стиральных порошков, зубных паст, шампуней и средств для мытья унитаза. Он завез миллионы дешевых презервативов из Китая. На арендованных им местах впервые на нашем рынке, да и во всей Молдавии, появились лотки, где и по сей день продают только чай и кофе – десятки видов со всего света, и пусть вас не смущает то, что все они расфасованы в Польше.

N безусловно спас рынок. Спас с расчетом заработать миллионы.

И он их заработал. Нам тоже перепалили приличные куски. С ним было спокойно и уверенно, как обывателю при Союзе. Увы, часто то, что кажется наиболее стабильным, длится меньше всего.

В девяносто шестом мы были вынуждены с N расстаться. Слава богу, без шума. Боюсь, шум крикошетил бы и в нашу сторону, причем неизвестно, кому бы пришлось хуже.

Первым странность заметил один из наших охранников, назовем его M (между прочим, мы сохраняем конфиденциальность данных о всех наших сотрудниках, даже о бывших. M у нас, кстати, больше не работает). M обратил наше внимание на арендованные N торговые места, пустовавшие в разгар рыночной недели, даже в субботу и в воскресенье, когда делается выручка, превышающая суммарный доход остальных дней недели. Мы не нашли бы ничего подозрительного – ну, заболел реализатор, заменить нечем – если бы ситуация не повторялась ежедневно: в караване из переполненных товарами лотков – одна-две, а то и три пробоины, причем каждый раз новые.

И это бы ничего, если бы не странности кадровой политики N. Мы как-то сразу привыкли к тому, что он часто меняет реализаторов. Да-да, именно женщин. Тот же M утверждал, что больше месяца ни одна из них на лотках N не задерживалась. Мужчины – совсем другое дело. Я лично (хотя через возглавляемый мною рынок прошли, наверное, десятки тысяч сотрудников) знал многих из реализаторов N – так примелькались их лица. В общем, информации для дедуктивных упражнений у нас было предостаточно. Оставалось собрать факты и увидеть мозаику целиком.

Итак, что мы имели. Во-первых, N наплевательски относился к сотрудникам женского пола. Они для него были чем-то вроде сухих ветвей, которые нужно постоянно обрезать, чтобы не выхло дерево целиком.

Реализаторы, то есть, мужчины, и это во-вторых, были для N чем-то вроде спелых плодов, вершиной его селекции, ради сохранения которых приходилось массово жертвовать высохшими ветвями – женщинами, разумеется.

Наконец, в-третьих, я не мог избавиться от подозрения, что плоды эти, то есть мужчины, реализаторы лишь отчасти. Истинная их роль зашифрована в их отсутствиях (версию о внезапно поражающих реализаторов болезнях мы отмели: не могли же они все болеть лишь по одному дню).

Дело, напомним, происходило в середине девяностых, и у меня сама собой возникла криминальная мысль о криминале. Рассуждать дальше было страшиновато, но что если, рассуждал все же я, мужчины выполняют, не совсем, скажем так, законные указания N, тем более что последний не-

однократно намекал, что рынок – не единственный его бизнес. Чем же еще объяснить тот факт, что N сознательно отрывал своих подчиненных от работы, фактически, мешал им зарабатывать деньги для себя самого? Знаете, во сколько обходится один день простоя одного торгового места на нашем рынке? А ведь никто не вычитет этот потерянный день из арендной платы. На арендованных N рядах таких дней набиралось 50–60 ежемесячно, а это – два торговых места, арендованных на месяц и простоявших весь этот месяц без каких-либо признаков торговли.

Как не смущал тот факт, что все отлучавшиеся реализаторы возвращались как ни в чем ни бывало на свои рабочие места через сутки, живые, без малейших признаков ущерба для организма (что казалось почти невероятным в случае их вовлечения в преступную деятельность), я все же поручил службе безопасности рынка досконально изучить проблему.

Согласен, такое поручение было не совсем легальным, но, повторяю, на дворе стояла середина девяностых: бандитский беспредел и рэкет – с одной стороны, и полное бессилие вкупе с тотальной коррумпированностью властей – с другой. Кроме как на себя, рассчитывать было не на кого, а рисковать безопасностью рынка я больше не мог.

Нет, я не собирался шантажировать N, просто для откровенного разговора мне нужны были доказательства. Когда же они у меня появились, я пожалел, что все они, все реализаторы N – не киллеры, не сутенеры и не наркоторговцы. Меня и сейчас мутит, когда я вспоминаю об этом.

Мать их! Они, все эти педерасты, упивались друг другом в своих педерастических оргиях. N, перед тем, как присоединиться, снимал их на камеру. И свое участие тоже снимал! И так ежедневно! Два-три реализатора-гомосексуалиста и их гомосексуальный хозяин. Перманентная смена женского состава отряда реализаторов была своего рода страховкой: женщины, они ведь существа интуитивные и любопытные, так что им просто не давали времени на то, чтобы все разнохатъ.

Расставил мы с N, как я уже говорил, мирно. Он меня понял. Я понял, что он меня понял. Я пообещал. У него не было оснований не верить мне. Мы долго (да, три года для эпохи дикого капитализма – это чертовски долго) работали вместе и ни разу друг друга не подвели.

И все же при расставании руки я ему не пожал. Надеюсь, вы меня не осудите.

А потом мы прославились. Нет, N с нами уже не было, но даже если бы его история стала достоянием общественности, сомневаюсь, что резонанс от нее был такой же.

А ведь вы наверняка слышали. Да что вы – вся Молдавия в две тысячи шестом гудела.

Что Молдавия – вся планета включилась. Не будет преувеличением сказать, что сотни миллионов землян узнали о нашей стране именно благодаря этой истории. А все потому, что агентства Рейтер, Ассошиэйтед Пресс, ИТАР-ТАСС и Синьхуа распространили новость с пометкой «срочно». Кстати, именно китайское агентство протрубило первым: «В Молдове – вспышка птичьего гриппа!» Еще бы, они-то, в Китае, не знают, что с этим вирусом делать, а тут такой повод почувствовать чью-то причастность к собственной беде. Мир всполошился, и даже молдавское правительство, обычно хранящее ледяное спокойствие, пообещало принять экстренные меры.

А все из-за сущего пустяка – в Кишиневе стали находить мертвых петухов. Вряд ли кто-нибудь спохватился бы – вон у нас весь город усеян дохлыми собаками, никто и бровью не поведет, только носы отворачивают. А тут, подумаешь, петухи!

Будь их десять, двадцать – никому бы и дела не было, даже если бы петухов свалили в одну озерную яму. Так ведь находили их в разных районах города. Оцепаненные, выпотрошенные, обезглавленные петухи разве могли кого-то напугать?

Но на момент, когда все закончилось, их было найдено 147 (сто сорок семь), и нет никаких оснований считать эту цифру окончательной. Петух – не иголка, но и не бегемот. Считалось, что некоторые птицы были захоронены или выброшены в мусорные контейнеры, так что об этих безвестных птицах никто не говорил как о жертвах: какой смысл вспоминать тех, кого никогда не найдут. Впрочем, в данном случае важно не столько количество птицептрупов, сколько причина загадочной петушиной эпидемии.

А то, что это эпидемия, поначалу не сомневались. Разумеется, территорию вокруг каждого вновь обнаруженного петуха оцепляли в радиусе сотни метров. Естественно, птиц подбирали специ-

ально обученный человек в скафандре и тут же прятал петухов в абсолютно герметичную емкость. Без преувеличения, Кишинев был близок к панике – еще бы, птичий грипп, да не в каком-нибудь богом забытом селе. В столице! Руководство готовилось к эвакуации себя и горожан: первых – за границу, вторых – в молдавскую провинцию.

Конечно же, нас закрыли. Ночью рынок оцепил по всему периметру отряд ОМОНа, и даже я на следующее утро не смог попасть в собственный кабинет. Были конфискованы, вывезены неизвестно куда и, по-видимому, уничтожены все мясные, молочные и рыбные продукты, обнаруженные в складских помещениях и в холодильных камерах. Из десяти последовавших за этим дней семь я провел в прокуратуре и в городской санэпидстанции, давая показания и содействуя изучению изъятых у нас документов. Утром на одиннадцатый день, когда я, скорее уже по привычке, собирался на очередную встречу со следователем, мне позвонили и что-то невнятно пробормотали. Я переспросил и получил раздраженный, но понятный и, главное, долгожданный ответ о том, что ехать мне никуда не надо.

Впервые за полторы недели оказавшись на рабочем месте, я узнал причину удивившего меня телефонного разговора. Ехать к следователю мне не рекомендовали потому, что следователь сам удостоил меня визита. Он был смущен, но резок, и я понял, что причиной его дурного настроения является не чувство неловкости передо мной, а неприятности на работе.

То, что он сообщил, потрясло меня не меньше, чем закрытие рынка. Все 147 (сто сорок семь) птиц погибли в результате сексуального насилия со стороны человеческой особи мужского пола. Проще говоря, петухов, извините, затрахал до смерти неизвестный маньяк-зоофил. Такого не ожидал никто. Смирившаяся было с птичьим гриппом мировая общественность вновь всколыхнулась, лишь китайцы сдержанно сообщали, что новые данные нуждаются в дополнительной проверке.

Увы, новость не избавила наш рынок от подозрения властей. Скорее наоборот. Выяснилось, что этот ненормальный (экспертиза подтвердила, что петухов насилует один человек) приобретал будущих жертв именно на нашем рынке, и теперь у нас ежедневно дежурили человек тридцать полицейских в штатском, причем некоторые – под видом торговцев птицей. Уверен, что искали бы они его долго – не устанавливать же слежку за каждым покупателем, тем более что и руководство страны, раздраженное ложной тревогой о птичьем гриппе, а с ней и уплывшими надеждами на получение международной помощи, потребовало от министерства внутренних дел прекратить заниматься ерундой.

Уже было снято, к нашему облегчению, полицейское наблюдение, и торговцы птицей, вспомнив о понесенных за время простоя потерях, набросились на покупателей, как стая голодных сов на заблудившуюся в ночном лесу мышь, как вдруг он объявился. Он просто подошел к продавщице и попросил две сотни яиц, но с условием, чтобы из них вылупились непременно петушки и чтобы, боже упаси, не было ни одной курицы.

Курятину с тех пор я не ем, хотя и ловлю себя на том, что улыбаюсь, вспоминая несчастных петухов. А вот плачу я действительно редко и лишь в тех случаях, когда сталкиваюсь с чем-то настоящим. Хотя, допускаю, приступы меланхолии объясняются не столько фактом встречи с истиной, сколько осознанием того, что настоящее – это, во-первых, редкость, а во-вторых, даже столкнувшись с ним, не каждый раз способен распознать это самое настоящее. Оно ведь серое с виду и не трубит о себе на каждом углу, не фонтанирует красками. Напасть на след настоящего – большая удача; обычно это происходит тогда, когда оно, чуть зазевавшись, вляется в разлитую повсюду краску.

Нечто похожее произошло и у нас. Они вляпались в историю, и мы их разоблачили. Что, кстати, никак не принижает «настоящность» этой истории.

Да что там истории! Самой что ни на есть лав-стори!

Как там? «Он был старше ее, она была...». Да-да, она была чертовски хороша! Стройная, белокуроая, с голубыми глазами и светлой кожей, которая струится, как молоко, откуда-то с макушки, и становится страшно оттого, что вот-вот стечет с высоких каблучков, навсегда исчезнет в земле.

Она была замужем, он женат, у обоих дети. Что их объединило? Да мало ли таких историй?

Разве влюбленные выискивают причины, по которым они вместе? Им просто хорошо. Этим двоим было хорошо, не смейтесь, на нашем рынке. Честно сказать, не знаю, что бы я придумал на его месте. До такого точно не додумался бы. Может, я просто никогда так не любил?

Он был слишком известен, слишком успешен и слишком любил семью – жену и двух сыновей. А еще – какая редкость для бизнесмена – панически боялся связей на стороне, и даже в секретарши брал исключительно тех, кому за пятьдесят.

Но видели бы вы ее глаза! Беззащитные глаза, похотливые глаза. Будь я поэтом, я бы выбросил перо, вылил чернила и сжег всю бумагу в доме, ибо нет на свете рифмы, достойной одного взмаха ее ресниц. Чем больше человек боится чего-то, тем больше он уверен, что опасности ему, в конечном счете, не миновать. Его притягивает опасность, как идущего по краю пропасти манит туман на дне ущелья. Достаточно одного шага, который лишь по недоразумению называют неверным. Нашего бизнесмена сдуло в пропасть – да-да – одним взмахом ресниц. Но разве не к этому он стремился? И где же им было укрыться в маленьком городе, где слетни опережают замыслы?

Гостиница, квартира, даже индивидуальные апартаменты – все это, как вы сами понимаете, для него не вопрос. Но и не решение: наш герой панически боялся расстроить жену, которую – можете не верить, и все же – он не стал любить меньше. Даже в авто, пусть и с затонированными стеклами, наши влюбленные не уединялись. Кстати, именно в затонированном Ауди он проезжал мимо рынка в понедельник.

Да-да, в понедельник, когда у нас на рынке выходной день. В этот день вы не встретите здесь никого, кроме пяти охранников – двух, курсирующих по торговым рядам и трех, присматривающих за складскими помещениями, и еще трех женщин, приводящих территорию рынка к относительной чистоте перед новой безумной неделей. Каждый из этих восьми зарабатывал по двести долларов за то, что каждый понедельник два абсолютно одинаковых черных Ауди одновременно въезжали на рынок через западные и восточные ворота и останавливались, нос к носу, у молочного павильона. Спустя час павильон покидали мужчина и женщина, быстро садились в разные машины, которые стремительно разъезжались в противоположные стороны. Поскольку охранники менялись каждую неделю, последним, кто узнал о том, что павильон, где обычно торгуют маслом, молоком и брынзой, по понедельникам превращается в дом свиданий, был начальник охраны рынка, которому по должности не положено нести дежурство наравне с подчиненными.

Да и узнал бы он об этом, если бы не родное МВД?! Между прочим, им и в голову не пришло предупредить администрацию рынка о том, что у нас установлены камеры наблюдения. Целых тридцать шесть штук! Устанавливали тайно, под покровом ночи, чтобы, как пояснил мне впоследствии один высокопоставленный полковник, «обеспечить чистоту эксперимента».

Дай нашему человеку кредит на построение капитализма, он все равно колхоз организует. МВД же получило международный грант на установку системы видеонаблюдения на дорогах. Только проэкспериментировать, как всегда, решили на людях. «Где же еще такой транспортный человекопоток (вот словечко-то выискал!) встретишь, как у вас?» – спросил меня тот самый полковник. Он же, загадочно улыбаясь, принес и видеозапись: «Полюбуйтесь, какие сливки мы сняли в вашем молочном павильоне!»

Так что я узнал об этой истории предпоследним и тут же вызвал начальника охраны. Бедняга так озверел, что собрал всех охранников в разделочном павильоне. Не остуди я его пыл, боюсь, крови и свежерубленного мяса было бы не меньше, чем перед Пасхой.

Зато никак не отвыкну казнить себя за тогдашнее малодушие. Иногда, в приступе гнева, не имеющего никакого отношения к той истории, я думаю: может и вправду стоило размазать охранников по асфальту? Вышвырнуть к чертовой матери начальника охраны. Прекратить эти безумные свидания, послать их куда подальше, ну и что с того, что он большой человек?

Но в итоге преступником оказался я. Получается, из-за меня рухнули две семьи, считавшиеся благополучными, и возникла одна – с сомнительными перспективами. Как ни крути, а положительного сальдо не выходит. Да еще дети – это самый болезненный пункт обвинения.

Но знаете что? Если случится, что я буду долго и мучительно умирать от какой-нибудь са-

дистской болезни, из тех, что находят особое удовольствие в долгоиграющих истязаниях больного, от болезни настолько длительной, что в каждом усталом взгляде, в каждой вымученной улыбке близких я буду читать пожелание скорейшей смерти, мне бы хотелось, чтобы эти мучения длились как можно дольше. Ведь покидать этот мир я буду под аккомпанемент воспоминания об этих двоих.

Я не праведник – пальцев одной руки много, чтобы пересчитать поступки, которыми я могу гордиться. И все-таки я умру умиротворенным.

Во всяком случае, теперь я точно знаю, для чего Бог создал наш кишиневский рынок. Можете смеяться, но, да-да, для спасения этой грешной любви.

Ша-бэ.

Эм-эн-ка.

Ы-эм-бэ-ша.

И-эн-ша-эм-ка.

Ка-эн-ша-эм-ы-бэ-и.

Эн-ка-и...

– Встать! Руки за спину, лицом к стене!

Когда конвоир зорал, оставались еще две с небольшим строчки, но Валентин почти не расстроился. Он помнил расположение букв наизусть и давно не верил в пользу упражнений. И все же легкая досада осталась – последние, величиной с ноготь, буквы Касапу различал почти без труда, и каждый раз, когда проходил таблицу целиком, а делал это он дважды в день, ему хотелось петь. Но теперь было не до песен – после бессонной ночи голова гудела и даже будто прибавила в весе.

По узким коридорам кишиневской тюрьмы, через три зарешеченные двери, два человека, Валентин и конвоир, долго – первый из-за старческой слабости в ногах, второй из-за еле передвигавшегося впереди старика – шли, пока не оказались перед камерой, в которой Валентин не был последние пять лет.

Когда за спиной закрылась, громыхнув, тяжелая дверь, Валентин осторожно, словно по льду, прошаркал к столу и, кряхтя, уселся на краешек стула. Стол был темным от налета лет, но, странно, без единой царапины. Валентин отодвинулся было назад – опереться о спинку, но понял, что так не дотянется до стола. Попытался придвинуть стул поближе – ах, да, привинчен же.

Загremели засовы, и звон тишины, подзабытый в камере на двенадцать человек, разлетелся как ледяная статуя – на мелкие осколки, которые не склеить и не уберечь – все равно растают.

Вошедший был адвокатом – это можно было определить, не требуя лицензии на право юридической практики. Общественного защитника, которого Валентину определили пять лет назад, он принял было за нового сокамерника. Бледный, с куриной шеей и швом, разошедшемся на левом ботинке, он всегда приходил с запахом пота. Виногато глядя на Валентина, он словно знал, чем кончится дело и заранее извинялся за собственное бессилие.

Этого, нового, назвать общественным защитником язык не повернется. Окажись он здесь пять лет назад, Валентин уже испытал бы что-то вроде эйфории солдата, знающего, что в атаку пойдет плечом к плечу с самим генералом.

Но теперь, когда до окончания шестого срока оставался всего месяц, появление адвоката не сулило ничего хорошего. Неужели подстава, думал Валентин, раздражаясь от холеного вида юриста.

– Доброе утро, Валентин Трофимыч, – говорит адвокат подчеркнуто вежливо, что не мешает ему сохранять привычную надменность, правда, всего на несколько секунд.

На шее – галстук с золотым зажимом, наверняка из Парижа или Милана и, конечно, подобран любовницей, которую он привык брать в заграничные командировки.

Галстук, на котором повесился Валентин, был ядовито-желтого цвета. Касапу взял его у Хво-

ста из пятой камеры, якобы для свидания с женщиной.

– Семнадцать лет как расстались, – пояснил Валентин, заметив мелькнувшее во взгляде Хвоста недоверие, – может, в последний раз видимся.

Хвост не ответил, лишь покорно улыбнулся, чтобы не ставить в неудобное положение авторитета, состоящего к тому же на полном грее.

О том, что он завязывает, Валентин объявил на первом же сходняке с начала шестой отсидки. К удивлению Касапу, для эзков он остался тем же, кем был двадцать лет назад – аксакалом зоны, чуть ли не хранителем воровского закона. Такое положение, хотя и позволяло Валентину не париться о будущем, повергало его в уныние каждый раз, когда он пытался уравновесить волю с неволей и, как не старался, вынужден был признать, что тюрьма больше никакой не конкурент кипящему за ее стенами миру.

Опровергать, однако, легенду о себе Валентин не стал, и вскоре его тихий голос уверенно звучал в мертвой тишине сходняков. Возразить Касапу мог лишь один человек – Пахан Македонский, сменщик покойного Митрича. Македонский, хотя и держал слово последним, сказанное Валентином превращал в обязательный для остальных эзков закон.

– Как чувствуете себя? – нутужно улыбается адвокат.

Он впервые здесь, можно не спрашивать доказательств обратного. Он вообще впервые в тюрьме – Касапу понял это по его пружинящей улыбке и пугливому взгляду, который адвокат бросает на все вокруг: на серые стены и зарешеченное окно, на стол, к которому он брезгует прикоснуться, а еще – на руки Валентина: их адвокат разглядывает с особой тревогой.

– У вас Шевроле? – спрашивает вдруг Валентин.

– Что, простите?

– Ничего, ничего, – извиняюще вытягивает руку Валентин.

Может, и не Шевроле. Может, Мерседес или БМВ. Какая разница, на чем он въехал на первый курс юрфака Кишиневского университета? Схема-то одинаковая: деньги, машина, юрфак, диплом и собственное адвокатское бюро, которых в Кишиневе столько же, сколько табачных ларьков. Что, впрочем, никак не снижает перенаселенность городской тюрьмы.

– Давайте перейдем к делу, – становится серьезным адвокат.

Так ему проще отключиться от пугающего наваждения, от того, что он вдруг представил себя сидящим напротив человеком – стариком, отбывающим бог знает какой срок, немощным эзком, который не видит ничего, кроме этих кажущихся вечно сырыми стен и решеток на окнах. И еще – этого сытого и трусливого лица напротив.

Охранник Мишка, заявившийся к Валентину около года назад, начал примерно также.

– Вообще-то я по делу, – сказал он заговорщическим тоном.

Мишку, как и Валентина, с рынка выжали цыгане.

– Это беспредел какой-то, – шептал Мишка, умолчав о том, что первым начал именно он. Ведь это он, а не кто-то другой, потребовал у цыган, обчищавших теперь покупателей вместо Валентина, откат. Не больше и не меньше, а ровно столько, сколько привык брать с Касапу.

Валентин отстегивал Мишке почти десять лет, и эта была, надо признаться, умеренная плата сразу за две услуги: право уводить часть денег из-под носа Рубца и молчаливое попустительство самого сообразительного из охранников. Цыгане же откатывали сразу двоим: Рубцу и собственному покровителю – полковнику МВД. Мишка был явно лишним в этом списке.

– Хуже чем на вокзале, – ныл Мишка, – цыганята шныряют повсюду: в молочном, мясном, даже реализаторов пару раз обокрали. Покупатели боятся сунуться на рынок. Уже и облавы были, да что толку, если у них крыша ментовская.

Цыгане и вправду работали топорно, брали числом, а не как Валентин – высоким воровским искусством. Если бы не камеры наблюдения, о которых Валентина никто, даже Мишка, не предупредил, с выходом на тюремную пенсию можно было и повременить. А так – состав преступления в прямом эфире.

– Ты почему о камерах молчал? – спросил Валентин, и Мишка нервно заерзал.

– Да не знал я, – зашипел он, – да что я – ни Рубец, ни Козма ни в зуб ногой. Менты за ночь

оборудования смонтировали, клянусь! Полковник-то этот спал и видел, как Рубца прижмет. Кстати, когда Рубец отдал менту долю, камеры снимали – вот это мы уже видели.

Еще бы не снимали, подумал Валентин, разглядывая Мишку. Охранник сильно изменился с их последней встречи, а это – четыре года, совсем не шутка, особенно в возрасте Валентина. Мишка похудел и запил, и эти события были как-то связаны друг с другом, а еще – с отсутствием денег: рубашка на охраннике совсем выцвела. К его чести, продолжать падение в пропасть бедности Мишка, похоже, не собирался, но почему-то решил, что войти в одну и ту же реку, вернее, на один и тот же рынок через парадный вход – а теперь его тормозили даже на боковых воротах, тех самых, где привык останавливать он, – сможет с помощью Валентина.

– Рубец в депутаты подался, – почти одними губами, покосившись на стоявшего за спиной караульного, прошептал Мишка, – базарят, скоро полковника завалит.

Странно, что до сих пор не завалил, подумал Валентин. Он уже знал, что стал пешкой в большой игре, а точнее – рядовым на войне, которую Большой Мент объявил Рубцу.

– Или он полковника, или полковник его, – резюмировал Мишка, подтверждая и без него известную истину.

О том, что полковник с Рубцом играют не на шалбаны, Валентин узнал от Пахана Македонского.

– Спрашиваешь, почему именно ты? – пожал плечами Пахан и налил водку в два стакана, себе и Валентину. – Черт его знает. Вообще-то комбинация верная. Менты-то про тебя всегда знали, только бабки шли мимо их кассы. А полковник давно глаз на рынок положил, только Рубец по своей воле разве кого пустит? Базарили, как тебя повязали, он с ОМОНОм к Рубцу завалился, так они побили весь интерьер, во как... А что, правда у Рубца кабинет под бордель был заделан?

Валентин кивнул.

– Ну вот. И по виду ему прокрутили, как тебя, значит, вяжут. У мента-то в кармане две бумаги имелись. Ордер на арест Рубца, все как полагается, с формулировкой – за пособничество и так далее, и другая бумага. Документ о передачи пакета акций рынка. Само собой, на никому не известное физическое лицо. Вот так бя. Рубец прямо там, в разгромленном кабинете, и перевел на этого неизвестного все акции. Ну а формально – да, остался директором, с хорошей – кхе-кхе – зарплатой. Лучше него никто ж не управится. Только думаю, скоро кранты ему будут.

– Почему это? – спросил Валентин.

– Форшманет его полковник. Такое душняка устроит, бя буду. Знает, сука, что Рубец ничего не забывает, а тут еще этот дурень в депутаты полез: это ж неспроста. Попомнишь мое слово: найдутся какие-то махинации в министерстве, или где там еще этот чушок трется? Возьмут его за жопу конкретно. Коррупцию пририсуют – и добро пожаловать на зону. Вот тогда и встретитесь.

Пахан чокнулся с Валентином, и они выпили. Насчет будущего Рубца у Касапу было свое мнение, но на этот раз он решил промолчать. Валентин вспомнил окорочка в канализации и проникся уверенностью, что Рубец выпутается и теперь. Злорадства – о, нет! – Касапу не испытывал и про себя даже оправдывал Рубца. В конце концов, когда тебе вот-вот поставят мат, о пешках думать не принято. Что ж, Валентин оказался той самой пешкой, которой пришлось пожертвовать, хотя поехавший мозгами Мишка и считал, что шанс вернуться на доску есть, да не просто пешкой, а как минимум ладьей.

– Бежать тебе надо, – шепнул Мишка, окатив Валентина запахом перегара, – у меня и план есть.

– Свидание окончено! – гаркнул дежурный, и Валентин моргнул Мишке – потом, мол, перетрем.

Больше на свидание с выпивающим охранником Валентин не являлся. Мишка приходил еще трижды, но каждый раз вместо Валентина выслушивал немногословного дежурного, сухо сообщавшего, что заключенный Касапу болен и не хочет никого видеть.

– Раньше надо было суетиться, – бурчал Валентин на нарах и поворачивался лицом к стене, – камер он, сука, не заметил.

Ох, глаза мои бедные, вспоминал Валентин в сотый, наверное, раз асфальт перед глазами и собственные руки, заломленные за спину. При этих воспоминаниях он всегда краснел и начинал задыхаться – от негодования и бессилия. Во время одного из таких приступов он и одолжил у Хвоста галстук.

– Как, кстати, у вас со зрением? – спрашивает адвокат, протягивая Валентину запечатанный конверт, вынырнувший из скрипнувшего кожей портфеля. – Николай Семенович настоял, чтобы читали лично вы. Но если вам трудно...

– А вы что, не читали письмо? – перебивает Валентин.

– Это не письмо, а признание, – терпеливо поправляет адвокат, – и я его не читал, хотя и ознакомлен с его содержанием. В общих, так сказать, чертах. Так вы сможете прочесть?

– Да-да, конечно, – торопливо вскрывает конверт Валентин.

Разумеется, сможет, ведь доктор оказался настоящим мужиком. Человеком слова, а этого вполне достаточно для нынешних времен, когда не рекомендуется верить даже собственным глазам. Своим-то Валентин давно не верил, поэтому и доктору поверил не сразу.

– Осилишь книжку – прочтешь и другие, – всучил доктор Валентину совершенно потрепанную брошюру, из которой посыпались на пол страницы. – Спирт-то не забудь оставить.

Спирт Валентин стащил из палаты, после того как повесился на желтом галстуке Хвоста. Едва очнувшись, он снова чуть не задохнулся – на этот раз больничным смрадом, и сразу увидел впившуюся ему в руку иглу, от которой тянулся прозрачный и тонкий шланг капельницы.

– На тот свет не терпится, а, дед? – прогудело откуда-то сверху.

Мелькнуло что-то белое, и Валентин увидел над собой врача – круглолицего толстяка в халате. Доктор улыбался, но в глазах его таилось напряжение.

– Мне бы, – начал Валентин и закашлялся: горло с трудом и болью пропускало не то что слова – воздух.

– Спокойно, спокойно, – вцепился в его запястье доктор и, чуть наклонив к пациенту ухо, уставился в потолок, словно рассчитывал не только прощупать, но и услышать пульс, – разговаривать нам пока рано.

– К глазнику бы мне, – прохрипел Валентин.

– Конечно, конечно, – рассеянно перебил толстяк, – вот только окрепнем, сразу к нему. У нас, кстати, славный окулист.

О глазнике Аврабии из тюремного госпиталя Валентин слышал и раньше. Отзывы о нем не отличались разнообразием: алкоголик, который закладывает прямо в кабинете. На увлечение глазника руководство госпиталя старалось не обращать внимания – из-за мизерной зарплаты, на которую не находилось охотников даже среди свежих выпускников мединститута. С пациентов же тюремным врачам брать было нечего: перед посещением госпиталя заключенных обыскивали с особой тщательностью, и даже у Пахана Македонского, которому (уж кому как не ему) было чем вознаградить эскулапов, даже мысли не возникало пронести хотя бы сигаретку в собственном задку.

– Херня! – махнул рукой Аврабий, наливая спирт из колбы, – как же, катаракта!

Он выпил залпом и, не закусывая – ничего напоминающего еду в кабинете не было – закурил.

– Специалисты сраные! Где тебе, дед, диагноз поставили? – гремел окулист, – во второй поликлинике? Доктор Штефанец? Как был бараном, так и остался! Как же, катаракта! Обыкновенная старческая пресбиопия! Как же, катаракта! – повторил он так, словно само это слово оскорбляло высокое звание молдавского врача.

– Даже если катаракта – тоже поможет, – успокоился вдруг доктор, – да у тебя, старик, и выхода нет. В твоём возрасте, да с такими легкими и сердцем, чем на операцию тратить, лучше уж сразу гроб купить. Что, Штефанец заключения кардиолога не читал? Куда же я ее дел? – он стал рыться в выдвижных ящиках. – А, вот!

Брошюра, рассыпавшаяся в руках Валентина, как старый гербарий, называлась «Эффективное улучшение зрения. Быстро и без очков». Автором значился какой-то Бейтс, американский светило, как пояснил окулист.

– Все это чушь! В медицине мудаков не меньше, чем в тюрьме, – громыхал Аврабий, а он и вправду громыхал, ударяя кулаком по столу, – не читай лежа, не напрягай глаза в сумерках, не читай в транспорте! Глаза – те же мышцы! Начнешь жалеть – зрение атрофируется. В общем, эта

книжения для тебя – вроде Библии для монахов. Попробуй послушаться – ад гарантирован! Если хочешь, дед, последние годы, или, кто знает, месяцы, провести не во мраке преисподней, который для тебя и так скоро наступит, придется подчиниться товарищу Бейтсу. Ну, будь здоров! – он снова выпил, и опять до дна.

В том, что у окулиста большие проблемы с головой, Валентин убедился, начав читать книжку не менее странного американца. Начал читать – громко сказано. Шрифт был настолько мелким, а умеющие летать листки – такими замусоленными, что своими глазами Валентин не различил бы и названия глав – а их напечатали куда более крупными буквами. Читал Валентину Индеец – один из одиннадцати сокамерников, смуглый молдаванин, действительно напоминающий то ли индейца, то ли мексиканца. Чтец из Индейца был такой же, как из Валентина – тот особо ценный капитаном матрос, которому доверяют, за его ястребиное зрение, почетное право первым увидеть долгожданную сушу на горизонте.

Запнясь через слово, Индеец то повторял одну и ту же строчку, то пропускал целые абзацы, а то и вовсе путал очередность рассыпавшихся страниц. И все же, вопреки стараниям неумелого чтеца, от мысли покончить с собой Валентин отказался окончательно. Единственный человек, которого бы он с удовольствием вздернул, был профессор Бейтс – занудный, как оказалось, садист, больше всего на свете ненавидящий полуслепых стариков.

«Пол-литра медицинского спирта за такое дерьмо?» – недоумевал Валентин, вспомнив еще одного человека, которому самое место на одной виселице с Бейтсом.

«Если окажется, что все это чушь...» – грозил неизвестно кому Валентин. Но другого выхода – в этом Аврабий был прав – не было, так почему бы и в самом деле не довериться не внушавшей ни малейшего доверия книжке? Разве в Библии больше правды?

– Ну что, все прочли? – торопит адвокат.

Он уже минут десять, как начал ежиться и вертеться на стуле, и у него синее под ногтями: здесь, в комнате для встреч с адвокатом, она же камера допросов, никогда не бывает жарко. Поговаривают, в этих стенах, прихватив с собой бутылёк и девочек, коротает знойные июльские деньки начальник караула, для чего в камеру специально заносят его личный кожаный диван.

– Немного осталось, – бормочет Валентин, тыча пальцем во второй абзац снизу.

Валентин и в самом деле застрял на предпоследнем абзаце, вот только читает он письмо, вернее, не совсем письмо Рубца, уже в третий раз. Он прочел бы его и пять, и десять раз, и не променял бы ни на какого Дюма, даже если бы Валентину сказали, что послание Рубца – последнее, что он читает в жизни. Ему хотелось разрыдаться – прямо здесь, в присутствии адвоката, и он еле сдержался.

Неужели дождался? Оно ли самое?

Пять лет Валентин ждал если не объяснений, то хотя бы весточки от Рубца. Весточки и в самом деле приходили, но ясности они не добавляли, скорее наоборот. Трижды Валентин находил под матрацем конверт с кипой отпечатанных листков внутри. Не подписанные, письма эти, безусловно, принадлежали авторству Рубца, и Валентин не раз корил себя за опрометчивое невнимание, с которым он выслушал, вернее – пропустил мимо ушей отрывок из книги, прочитанный Рубцом в тот памятный день. Теперь эти главы приходили к Валентину целиком, но относился он к ним совсем иначе – так же оказавшаяся в пустыне рыба относится к воде.

Касапу чувствовал себя разведчиком, ищущим нужный код среди вороха наполненных бредом бумаг. Он выучил письма наизусть. Он читал текст через слово. Читал по первым буквам каждой строки. Находил в последующем сообщении явный намек на предыдущее и наоборот. К моменту, когда он распечатал конверт с четвертым письмом, прибывшим в портфеле адвоката, Валентин больше года не тревожил порядком измятые листки, придавленные потайным камнем в стене.

Четвертое письмо безжалостно уничтожило загадку предыдущих – никаких кодов в них, конечно, не было. Но Валентин не жалел – сумел бы он обнаружить зашифрованное послание в четвертом письме, если бы не мучился над предыдущими тремя? Сомнений не оставалось – перед Валентином был код, и он его расшифровал.

Только вот если бы Валентина как человека сведущего спросили, на какую высшую гнусность

способен Рубец, он поднял бы дрожащей рукой это самое четвертое письмо – три набранных на компьютере листка. Сравнить Валентину было с чем: после дешевой медицинской брошюры он прочел книг больше, чем за всю предыдущую жизнь.

Спасибо библии Бейтса!

Из нескольких имевшихся в тюремной библиотеки изданий «Гулливера» Валентин выбрал самый тонкий экземпляр: американский профессор настаивал на шрифте помельче. Касапу читал и чувствовал себя великаном, возвышающимся над мелкими, покорными лилипутами, а он и вправду читал книгу стоя и до тончайшей черточки видел каждую из микроскопических буковок. Вечерами, когда солнце стремительно, будто брезгуя прикасаться лучами к решеткам на тюремных окнах, закатывалось куда-то за высокие стены, Валентин погружался во тьму вместе с ненавидимым прокуратором городом, и все равно его видел, несмотря на полумрак камеры. Вместе с князем Болконским он падал – нет, не на поле под высоким аустерлицким небом, а на нары у окна, и яснее, чем когда-либо, видел небо Аустерлица, видел Болконского, видел Кутузова и Багратиона. Он видел эти и все остальные буквы, слова и предложения в каждой из прочитанных книг и готов был украсть для Аврабия цистерну спирта, только бы эта сказка не заканчивалась. Он с радостью прочел бы и «Графа Монте-Кристо», вот только Арсений Казаку – тихий сорокалетний ребенок, неизвестно за какие грехи сосланный в тюремные библиотекарю, в ответ на просьбу Валентина шарахнулся, как от привидения, пробормотав что-то невнятное о списании фондов.

– Беднягу, наверное, кондратий хватил! – хохотал пахан Македонский, узнав от Валентина о странном поведении библиотекаря, – а говорят, библиотекарь – самая безопасная профессия. Ты что, в натуре не знал?

Покрасневший Валентин лишь развел руками. И в самом деле, неудобно получилось. Но он и вправду не знал об этом суеверном табу, из-за которого ни в одной библиотеке ни одной тюрьмы мира не найти знаменитого романа Дюма.

– Эх, еще бы таблицу Снеллена, – вздыхал окулист, открывая флакон со спиртом, пропавший из процедурной.

С того дня, как Валентин повесился, здоровье все чаще беспокоило его, что, впрочем, никого не удивляло – Валентин был старейшим обитателем кишиневской тюрьмы. Он часто падал в обморок, и в госпитале, куда его каждый раз отвозили, регулярно пропадали сосуды со спиртом – обычно это происходило в процедурной и пару раз – в реанимации. Шуметь о пропажах никто не собирался: медики приписывали этот грех друг другу и молчаливо прощали коллег, в надежде, что в следующий раз простится и им. Валентин же, изображая облегчение так же достоверно, как имитировал обморок, спешил в кабинет окулиста, который, узнавая старика по шарканью в коридоре, заранее напяливал на лицо сердитую маску, ликуя, тем не менее, в душе.

– Где же этого Снеллена взять-то? – озабоченно бормотал Аврабий, – впрочем, есть не хуже, – он ткнул пальцем на плакат на стене.

Это была таблица Сивцева – икона советской офтальмологии всех времен. Даже Валентину казалось, что она была всегда, все неполные восемьдесят лет его жизни.

– Держи, – протянул Аврабий свернутый в рулон плакат, – а я составлю бумагу, чтобы тебе разрешили.

Таблицу Сивцева, с выцветшими пятнами на лицевой стороне и пожелтевшими полосками лейкопластыря на обратной, сокаремники Валентина повесили на стене, прямо напротив его кровати, так чтобы Касапу мог упражняться даже лежа.

Что он и делал трижды в день: поначалу с раздражением, а затем, когда отрицать успехи уже не имело смысла – с радостью собравшего, наконец, конструктор ребенка.

– Ша-бэ. Ы-эм-бэ-ша. И-эн-ша-эм-ка. Ка-эн-ша-эм-ы-бэ-и, – прикрывая ладонью то один, то другой глаз, повторял Валентин с таким старанием, словно произносил заклинание, после которого должно произойти чудо.

Оно и в самом деле случилось – чудо. Другого слова Валентин, хотя и прочел уже с десяток книг, подобрать не мог.

Зато мог выписать подробный рецепт.

Итак, закройте обеими ладонями глаза – так, чтобы пальцы перекрещивались на лбу, стараясь при этом не давить на глазные яблоки. Процедуру повторять раз в сутки после наступления темноты.

Вспомните несколько цветов на выбор – например оранжевый, зеленый, красный. Постарайтесь, чтобы ваша память воспроизвела их с максимальной яркостью, при этом не задерживайте внимание на каждом цвете более одной секунды. Уделяйте этому упражнению не менее пяти минут ежедневно.

Через зарешеченное окно посмотрите на белое облако в солнечный день. Закройте на несколько секунд глаза и снова посмотрите на облако. Закрывайте-открывайте глаза минимум десять раз в течение одной минуты. Не ленитесь делать упражнение каждый раз, когда судьба подарит вам солнечный день.

В положении сидя...

Продолжать Валентин мог долго и, если бы до него этого не сделал американский врач, наверняка написал бы книгу о том, как быстро и без очков улучшить зрение.

– Ноль пять, – удивленно объявил окулист, взглянув на Валентина так, как зоолог – на неизвестное науке животное, – такого и у молодых-то не встретишь.

Аврабий отвернулся и замолчал, издавая при этом какие-то странные звуки – то ли носом, то ли горлом.

– Знаешь что? – глухо сказал он, – ты это... В общем, не надо больше спирта. Я тебя так лечить буду.

Повернувшись, он показал Касапу катящиеся по щекам слезы и, если ошалевшему Валентину не померещилось, улыбку бесконечно счастливого человека.

– Вы что, плачете? – спрашивает адвокат, и его лоснящееся лицо неестественно вытягивается.

Валентин быстро утирает слезу кулаком и отрицательно машет головой.

– Это его требование, – оправдывается адвокат, – я же сказал Николаю Семеновичу. Если у вас проблемы со зрением, мне не трудно зачитать. Но он настоял, чтобы вскрыли и читали вы лично. Вы, кстати закончили?

Валентин кивает.

– Есть вопросы, замечания?

Валентин разводит руками – какие, мол, еще вопросы?

– Так что, будем подписывать? – говорит адвокат и достает из внутреннего кармана пиджака ручку.

Валентин не в силах оторвать взгляда от кончика пера.

– Вам ничего не грозит, – заметив смятение Касапу, начинает убалтывать адвокат, – совсем наоборот.

Да-да, золотое перо. Неужели «Паркер»?

– ...Ваше признание избавит общество от высокопоставленного коррупционера.

Валентин берет поданную адвокатом ручку, но разглядывает свою кисть. Он не хочет, чтобы адвокат заметил, как рука дрожит.

– ...Да еще в органах внутренних дел.

Перебирает пальцами ручку, будто приручает. Может, и вправду гибель в спасении, а спасение – в гибели?

– ...А вам Николай Семенович обязательно поможет. Как только станет депутатом.

Чуть не подбрасывает ручку вверх движением большого пальца. Было бы это так просто: орел или решка! Увы, в этот раз решает не жребий.

– ...Вот выйдете через шесть месяцев, заживете прежней жизнью.

Шесть месяцев! Еще полчаса назад Валентин готов был ликовать: всего шесть месяцев! Но ведь старый шакал должен сидеть в норе, верно?

– ...Да что прежней – лучше, конечно, заживете!

Рассеянным взглядом Валентин скользит по трем листкам на столе.

Чуть слышно вздохнув, резко заносит «Паркер» над головой адвоката.

Послесловие к неизданному

Сложная и необычная эта задача – послесловие к книге, которая не издана и вряд ли когда-нибудь будет издана. Более того, к книге, которая, по большому счету, не написана. Ведь, как справедливо отмечает автор этой загадочной книги, нет смысла вспоминать то, что никогда не найдут.

С чем же мы имеем дело? С мистификацией? Капризом автора? Или роковой цепью случайностей, сопровождавшей, как утверждает автор, судьбу его книги?

Как бы то ни было, а любой мало-мальски уважающий себя критик в рецензии на произведение, которому мы собираемся посвятить ближайшие 3-4 страницы, непременно попытался бы ответить на вопросы, не столько поднимающие его самого на качественно новую ступень в серой околολитературной массе, сколько обнажающие срез скрытых смыслов исследуемого материала, о которых, скорее всего, не догадывался даже автор. Современный рецензент будет, безусловно, прав, избежав безнадежно устаревших клише в оценке любого произведения, таких как: единство формы и содержания, художественная ценность и т.д. – тех самых, наиболее субъективных и неоднозначных категорий, оценка которых может несколько раз меняться с «плюса» на «минус» и наоборот в течение жизни одного поколения, не говоря уже об эпохах. Современной наукой доподлинно установлено, что единственными объективными критериями оценки любого литературного произведения являются: а) личность автора и б) обстоятельства создания – широкая категория, охватывающая целиком т.н. внешний фон – от социально-политических среды, в которой проживает автор до обстоятельств его личной жизни.

В нашем случае критерии объективной, а не умозрительной оценки произведения вырисовываются настолько рельефно и ярко, что вычленение ценности рецензируемой работы представляется процессом скорее техническим, нежели творческим.

Вот эти критерии:

- а) харизматичность личности автора;
- б) цель написания работы;
- в) неординарная судьба произведения.

Начнем с пункта а). Никого не удивил тот факт, что в течение нескольких лет Николай Семенич Мунтяну скрывал, что пишет книгу. Ни у кого не возникло вопросов и после того, как об этой книге, уже завершённой автором, так никто и не узнал, включая самых близких ему людей. В этом нет ничего удивительного, ведь автор – бывший вор, проведший в общей сложности восемь лет в заключении и оказавшийся на рубеже эпох одним из фламанов рыночной экономики в Молдавии.

Рыночной, как он сам любит повторять, во всех смыслах экономики. Отдадим должное остроумию господина Мунтяну, ведь с начала девяностых годов двадцатого века он является бессменным директором Центрального кишиневского рынка. А еще взглянем с другой стороны на его странное молчание и не будем поспешно списывать его на застенчивость графомана. Версия о том, что автор якобы испугался показаться смешным в глазах молдавского научного, литературного и бизнес-сообщества, также не выдерживает критики, разбиваясь об один-единственный контраргумент – сомнительный проект по защите кандидатской диссертации. Сомнительный даже с точки зрения таких сомнительных категорий, как единство формы и содержания и научная ценность. Фактически его кандидатская диссертация является переводом с английского работы, изданной в США еще в 1986 году, что не помешало автору успешно защититься и даже издать на ее основе отдельную монографию тиражом в 10 тыс. экземпляров – беспрецедентный факт для специализированных научных трудов, изданных в Молдавии.

По всей видимости, источники загадочной книги Н.С. Мунтяну и не менее странного отношения автора к собственному труду нужно искать в другом. Как нам кажется, в сложной на первый взгляд комбинации двух приведенных выше критериев – а) и б).

И действительно, возможно ли найти другую, более очевидную цель написания данной книги, кроме попытки автора избавиться от груза собственной харизмы, раскопать, если хотите, второе

и возможно настоящее «я» под толстым слоем стереотипов – как собственных, так и общественных? А может быть, справедливо допущение, что автор попытался избавиться от обоих своих актуализированных «я». Можно ли утверждать, что неизданная книга – манифест, яркий протест как против уголовника, вора, рецидивиста, с одной стороны, так и против бизнесмена, чиновника и общественного деятеля – с другой, хотя все эти ипостаси уместаются в одном человеке? Если следовать этой логике до конца, неизбежен вывод, что истинной целью неизданной книги являлось не обнаружение второго «я», а полная денонация своего договора с обществом, поиск принципиально иного измерения, в котором возможна личность автора без ее непосредственного контакта с социальной средой. В пользу этой последней версии говорит и факт неиздания, а если быть до конца честным, ненаписания, хотя к этой, одной из многочисленных загадок книги, наиболее применим сомнительный тезис автора о роковой случайности.

Какой же вывод мы можем сделать, приняв за исходную гипотезу о книге как об избавлении автора от собственных так называемых реальных личностей? Любой третьекурсник филологического факультета с легкостью ответит на данный вопрос.

Да, перед нами роман. Роман, актуализирующий отказ личности от общественных ролей. Отдадим должное, помимо остроумия автора, его мужеству. Сомнительно, чтобы к моменту, когда замысел книги сложился окончательно, у автора имелось хотя бы смутное представление о возможности реализации личности вне общественной среды. Приступая к роману, автор явно подвергал себя риску, ведь ни для кого не секрет, что утрата собственной личности как общественной единицы чревата, при неблагоприятном развитии психологических процессов, гибелью личности в физическом смысле.

Но не будем перехваливать автора, тем более, что в одной из ненаписанных глав имеется не двусмысленная аллюзия на то, что автор, как минимум, сомневается в целесообразности разрыва своей личности с обществом.

«Пальцев одной руки много, чтобы пересчитать поступки, которыми я могу гордиться», – пишет автор и продолжает: «возможно, для моих “добродетельных” поступков понадобилась бы сороконожка, но, подбивая баланс этих чертовых добродетелей, я поднимаю правую руку вверх и говорю: “вот, смотрите, я готов отрубить себе палец с перстнем, и все равно оставшихся пальцев будет достаточно, чтобы пересчитать поступки, которыми я могу гордиться. Поступки, за которые не пострадало больше одного человека”».

Показательный фрагмент, не правда ли? А еще – запоминающийся, что избавляет вашего поклонного рецензента от поиска надуманных объяснений. Такое сложно не запомнить. К счастью, у меня состоялось несколько бесед с автором, в ходе которых Николай Семенович любезно процитировал вышеприведенный и все остальные цитируемые здесь фрагменты. К величайшему сожалению, основная часть произведения не сохранилась даже в памяти автора. И все же без этих бесед мы не приблизились бы к сути замысла романа, ибо ничто так ясно не актуализирует подсознание, как прямая речь.

В ходе наших бесед, Николай Семенович нередко употреблял слово «добродетель», отчего создавалось ощущение, что в его рассказы, посвященные самым рутинным, так называемым жизненным ситуациям, вкладывается существенно более глубокий, даже сакральный смысл. Поначалу я списывал это его словоблудие (он действительно иногда путался в значениях слова и употреблял его скорее по привычке, чем к месту) на характерную для представителей уголовного мира суверенность и даже набожность. Впоследствии я пришел к выводу, от которого не отказываюсь и теперь: в нем говорил не уголовник, а бизнесмен. Но как точно он уловил историческую трансформацию добродетели! Не удивлюсь, если современное богословие обратит внимание на, пусть мимоходом сформулированное, но поразительно меткое определение.

К счастью, я хорошо стенографирую, поэтому воспроизвожу прямую речь автора слово в слово (диктофоном воспользоваться не удалось из-за запрета службы охраны Н.С. Мунтяну):

«Добродетель... Что, черт возьми, понимают под этим словом? Мы будто забыли, в какие времена живем и что за поступки, за которые раньше убивали, чтобы причислить к святым, теперь

просто убивают. Не может директор рынка думать о добродетели как об абстрактной, а уж тем более, филантропической категории. Добродетель сегодня – категория экономическая. Никаких эмоций, сплошной расчет. Никакого самопожертвования, ведь за тобой, словно шлейф, потянутся другие жертвы – те самые люди, что связали свои планы с твоими.

Уместна ли добродетель, грозящая серьезными рисками? Добродетель в бизнесе – это либо рациональный расчет, либо вынужденная мера. Любое проявление эмоциональной, или, если мыслить должными, то есть экономическими категориями, добродетели не-це-ле-со-об-раз-ной (он произнес это слово именно так, по слогам – прим. рецензента), наказуемо, и это необходимо помнить любому, самому мелкому бизнесмену, не говоря о директоре центрального городского рынка.

Интересуетесь, какую цену можно заплатить за нецелесообразную добродетель? Полмиллиона? Миллион? В леях, в евро? А рынок целиком не хотите? Вам не кажется эта плата чересчур суровой? Мне тоже, только легче от этого не становится».

Должен предупредить, что передо мной не стояла задача подтвердить или развенчать упорно циркулировавшие слухи о том, что господин Мунтяну утратил прежнее влияние на возглавляемый им рынок. Главный вывод, который я сделал для себя из бесед с автором – даже если это, безусловно печальное для него событие и имело место, его значение для переосмысления традиционного понимания добродетели невозможно переоценить.

Позволю себе привести еще один достаточно пространный фрагмент из монолога автора:

«Вот вы (это он мне – прим. рецензента) пишете рецензию к моей книге. А знаете, почему авторы обычно не возражают, чтобы комментарии размещали в конце, а не в начале книги? (я вопросительно пожал плечами – прим. рецензента). Нет, согласитесь, это логично – предварить книгу своего рода предупреждением, подготовить читателя к адекватному восприятию текста (я снова пожал плечами – прим. рецензента). Видите ли, есть особое авторское удовольствие – представлять, как, прочитав роман, пролив слезы над страданиями благородных героев и вознегодовав от вероломства негодяев, читатель, дойдя до комментариев и уже готовый обрушить свой гнев на жестокосердного писателя, вдруг узнает в нем душку, наивного романтика, на долю которого выпало немало испытаний – желательно, чтобы в их числе были безвылазная нищета или брак с невыносимой стервой, или зависть коллег, а лучше – все вместе. Читатель невольно проникается жалостью – на этот раз к писателю, оказавшемуся благороднее самых благородных из его героев, ведь ему приходилось страдать вдвойне: от собственных житейских неурядиц и от страданий им же придуманных персонажей.

Между прочим, мало что задавался вопросом, склонен ли автор к чувству вины. Нет, я не о литературе вообще – хочется верить, что многие писатели искренне страдают от результатов своего творчества. Я о своей книге. Правда, никто ведь и не задумывался? И не возмущился: мол, директор рынка, где каждый день происходит масса нарушений, где правят несправедливость, обвес, махинации, подтасовки, обсчет, где жуткая антисанитария, наконец. Неужели ему не стыдно? Никто ведь и не думал. Впрочем, это неудивительно. Никто ведь эту книгу пока не читал (он закурил – прим. рецензента).

Меня и в самом деле не отпускает чувство вины. Ибо, как учили древние, виновен каждый человек и прежде всего – перед самим собой. Не может волк работать санитаром, как бы упорно люди не награждали его этим титулом. У рынка рано или поздно будут проблемы, если его директор излишне добродетен.

Знаете, я часто думаю, стоит ли человек, ради которого совершается нецелесообразная добродетель, стоит ли он ее, этой добродетели? И как не пытался я разжечь в своей душе костер ненависти, ответить определенно у меня не получилось. Зато я понял, хотя и с опозданием, почему такая добродетель становится нецелесообразной.

Нет, не потому, что ты не все рассчитал. Ты можешь рассчитать все на новейшей компьютерной программе, собрать совет из наиболее приближенных тебе людей и получить их единогласное одобрение. Можно заказать персональный астрологический прогноз, и даже если он тебе благоволит, ты все равно не все просчитал. Просчитать все нельзя. Невозможно заранее знать, готов ли

объект твоей добродетели к твоей добродетели. И не важно, еще ли он не готов, уже не готов или вообще не готов. Сам факт того, что он не готов, и делает твою добродетель нецелесообразной. Ты произгравашь в самом начале, но узнаешь об этом, когда ничего изменить уже нельзя.

Волк не виновен в том, что ему хочется кушать. Я же виновен, ибо нет никакого оправдания директору рынка, от добродетельности которого страдает не только он, но и сотни людей, поверивших ему и связавших свои планы, свое дело, свои, наконец, деньги с его предприятием. Как назвать такого человека? Праведником? У меня язык не повернется».

Я как сейчас помню свои ощущения. Именно после этой, довольно продолжительной тирады, меня, подобно молнии, пронзила мысль: эта книга – жертва. Это – роман-искупление. Или, если пользоваться более актуальными категориями – откуп. Это – актуализация его третьей, «нецелесообразной» личности, но актуализация отнюдь не «нецелесообразная». И книгу он написал для того, чтобы изгнать первые две свои личности – криминальную и деловую – от необходимости совершать «нецелесообразные» добродетели. Увы, но, похоже, что иные возможности сохранения общественных личностей человека, а заодно с ними и личностей «нецелесообразных» в сегодняшнем мире исчерпаны. Так вот, роман Н.С. Мунтяну – сам по себе «нецелесообразная» добродетель, искупительная, повторимся, жертва.

Нетрудно заметить, что критерии оценки произведения, если, конечно, подразумеваются истинные, а не архаичные критерии, тесно связаны друг с другом, вытекают один из другого. Цель написания произведения не может не быть обусловлена личностными характеристиками автора, и в то же время жизнь автора претерпевает изменения, обусловленные книгой, цели которой определены им в полном соответствии с особенностями своей личности.

В этом смысле судьба рецензируемой книги показательна, как никакая другая. Обратившись к пункту в) условленной критериальной схемы, мы рискуем сделать поспешный вывод о том, что судьба, уготовленная книге Н.С. Мунтяну, и есть ее главная цель. Не поддадимся, однако, обману рекламного мышления. Книга погибла не для того, чтобы обратить на себя внимание.

В приватной беседе с вашим покорным слугой автор обмолвился, что роман сгорел случайно, якобы был забыт в папке с предназначенными к ликвидации финансовыми документами. Три главы из двенадцати уцелели якобы потому, что автор зачем-то отвез их домой, по его же словам, для доработки. Остальные девять глав безнадежно утеряны, и, несмотря на мои настойчивые просьбы, Н.С. Мунтяну не просто не пролил света на несохранившиеся части, но и настоял, чтобы, за исключением трех глав, которые мне до сих пор так и не посчастливилось прочесть (хотя автор утверждает, что, кроме него самого, эти главы прочел еще один человек), в этой и во всех последующих рецензиях произведение называли не неизданным, и даже не погибшим, а ненаписанным.

От себя добавлю – и непрочитанным. Что, безусловно, осложняет задачу рецензента, но в то же время максимально ограничивает фактор субъективности. В нашем распоряжении ровно те критерии, которые необходимы для беспристрастного анализа романа: а) личность автора, б) среда написания и в) судьба произведения. Текст романа оказывается не просто необязательным, но нежелательным критерием. Он может понадобиться для оценки личности рецензента, но никак не романа.

Истинная причина гибели романа Н.С. Мунтяну представляется настолько очевидной, что вызывает недоумение тот факт, что версия автора о случайном воспламенении до сих пор принимается на веру без малейшего скепсиса. Возьму на себя смелость утверждать, что знаю, как именно погиб роман.

Во время одной из наших с ним бесед, автор продемонстрировал мне необычное изобретение – ручку «Паркер». На вид ничего особенного – ручка как ручка, если, конечно, такое определение применимо к «Паркеру» с золотым пером. Удивление вызвали два конструктивных момента: во-первых, перо, действительно золотое, но необычайно острое, к которому невозможно прикоснуться без риска порезаться; во-вторых – съемный колпачок ручки, с незаметной встроенной зажималкой. Действие последней господин Мунтяну регулярно демонстрировал вашему покорному слуге, прикуривая прямо от «Паркера».

«Способ борьбы с недобросовестными бумагами», сказал он, заметив мой недоуменный взгляд и пояснил: «если контракт, который мне предлагают подписать, меня не устраивает, я всаживаю перо «Паркера» в шею партнера, а контракт сжигаю, воспользовавшись колпачком-зажигалкой. Впрочем, если с документами все в порядке, «Паркером» можно пользоваться более традиционно. Подписав контракт, например».

Тогда я оценил несколько мрачноватый юмор собеседника, но сегодня могу с уверенностью сказать: «я знаю, кто и чем поджег роман». Протыкать себе шею пером-лезвием автор не стал, наверное, потому, что целью было уничтожение не автора, а романа. А ведь все так просто: роман остается «нецелесообразной» добродетелью до того момента, пока не превращается в продукт. Вероятно, автор оценивал коммерческий потенциал своего произведения так высоко, что сжег его до того, как роман прочтет еще кто-то, кроме него самого. Ну и того второго неизвестного.

Три сохранившиеся главы – это доказательство того, что роман был. Для чего оно автору, точно ответить трудно, но можно предположить, что это своего рода напоминание самому себе, специально для случаев, когда «нецелесообразная» добродетель не дает покоя первым двум личностям автора.

«Будь разумен», – как бы предупреждают эти главы и напоминают: «Ты уже заплатил по счетам. Вот они мы, доказательство твоей “нецелесообразной” добродетели». Оно и верно: жить с осознанием выполненного долга куда как легче.

Вот, пожалуй, и все. Роман, который поверг бы в безвылазный ступор любого анахроничного литературоведа, при анализе методом современной критериальной триады предстает в качестве логичного и даже несколько заурядного произведения. Это неудивительно, ведь в понятие заурядности господин Мунтяну не вкладывает никакого негативного смысла. Во время последней нашей беседы он вдруг начал вспоминать детские годы и, в числе прочего, рассказал удивительно красивую сказку, которую услышал от своего деда.

«К чему это вы?» – спросил я его, не подавшись опьянению красотой.

Поразительный человек! Ни один мускул не дрогнул на его лице, он даже не подал вида, что оскорблен моей попыткой свести самодостаточное великолепие сказки к банальному поводу для перехода на нужную рассказчику тему.

«Не знаю», – ответил он, и я (клянусь!) сразу ему поверил.

«Возможно, – продолжал, впрочем, он, – к тому что двум незаурядностям не ужиться вместе? Не лучше ли было для обоих, чтобы шакал не показывал носа из норы, а волк сам доставлял бы ему пищу, что называется, на дом?»

Возможно, я ищу черную кошку в той темной комнате, где ее нет, но не могу избавиться от мысли, что странная сказка и не менее странное замечание рассказчика как-то связаны с его романом. Хотя, скорее всего, это мои домыслы, неизбежные подозрения человека, который, что называется, заикнулся. А может, мне просто хочется, чтобы во всем, что касается романа, была хотя бы одна загадка, не поддающаяся разрешению?

Как бы то ни было – судите сами.

Волк и шакал.

Давно, но не давным, в старину, но не в седую, в лесах, но не в дремучих, уже не в Богдании, но еще и не в Бессарабии, одним словом, в том самом месте, где сейчас Молдавия, объявился шакал. Как так, удивились люди, сроду не слыхивали о таком звере, а тут на тебе – рыщет у самой деревни, как у себя дома. И все бы ничего, да стали замечать зверя то с беличьей шкуркой, то с заячьими ушами, а то и с фазаньими перьями в зубах.

Эге-ге, переполошились люди, да ведь это хищник! Того гляди, повадится кур да гусей таскать, а то и, страшно подумать, на овец со свиньями позарится. Поразмыслив основательно, но так чтобы

не опоздать, решили хищника изловить, снарядив охотников самых проворных, метких да смелых.

Не долго, но и не коротко, а ровно столько, сколько понадобилось собакам, чтобы напасть на след, вышли охотники на тропу шакала, и занялась погоня. День гонятся охотники, догнать не могут. Второй гонятся – догнать не могут. И третий гонятся, и пятый день, а шакал знай себе бежит да пожевывает: то белку, то зайца, а то и фазана – и с новыми силами еще прытче от охотников удирает. Уже собаки языки свесили, пар выдыхают да жалобно поскуливают. Так ведь и у охотников ноги заплетаются да ружья из рук валяются, того и гляди, обратный путь домой не осилят.

Как вдруг (вот удача!) застыли охотники, глазам своим не верят, даже дышать перестали, словно птицу счастья боятся спугнуть. Присел шакал в кустах, уши свои шакальи прижал, голову в траву спрятал, сидит, спину во всей красе охотникам показывает. Подкрался к зверю охотники, тише мышей амбарных, прицелы на шакала навели, чтобы уж наверняка, как вдруг...

Господи, помилуй, господи помилуй! Закрестились охотники истово, да назад попятнулись, шурша травой и хрустя ветками, забыв начисто про осторожность всякую, про шакала, да про погоню свою утомительную.

Мать божья! Волк! Да какой – не маленький и не большой, а здоровенный, точно медведь! Шерсть густая, торчком, глаза острые как кинжалы, пасть огромная – человеческая рука целиком уместится. Собаки не то что лаять – скулить не решаются, в траве схоронились, уши к голове прижали, поглядывают на волка осторожно, но не без зависти. А волк господином стоит на полянке, зайца рвет – по-хозяйски, не спеша. Поел, осмотрелся, и двух шагов ему хватило, чтобы раствориться в чаще. А шакал голову поднял, на полянку юркнул, кишки заячьи подобрал и дальше по следу волчьему побегал.

Эге-ге, только и пробормотали охотники, как только речь к ним вернулась. На караса мы грешили, а тут вон какая щука. Придется еще за шакалом побегать, да не губить проклятого, пока на волка не выведет.

День гонятся охотники – шакал знай себе удирает, а волка все не видать. И второй день в погоне проходит, и третий, и пятый. И хлеб весь уже съели охотники, и воду всю выпили, да все ягоды с кустов пообрывали, а собаки, кажется, рады бы и кишки заячьи да шкуру беличью после волка сожрать, да только шакал прытче псов измученных, псов исхудавших.

Эге-ге, сказал тогда старший из охотников, и остальные потупились, соглашаясь – да, упустили мы волка, не видать больше зверя лютого, пока, избави Боже, на дома наши не набредет. Не успели горю своему как следует предаться, как видят – присел шакал, притаился, родимый, уши свои шакальи к голове прижал, на полянку поглядывает – облизывается, хотя и дрожит. Откуда только силы у охотников взялись – словно Господь наш всемогущий вдунул в них духа больше, чем в остальных смертных.

Бах! Бах-ба-бах, бах, ба-ба-ба-бах!

Рухнул волк замертво, даже удивиться не успел – какие это наглецы посмели на него, царя лесного, стволы поднять. Псы охотничьи, слуги верные, уж на что раньше людей в охоте разуверились, и те с остервенением вцепились в волчару убитого, стали его, еще кровью и паром исходящего, на куски раздирать.

И был праздник в деревне, и пили люди, и ели, и плясали семь дней и семь ночей во славу хребцево-охотников. И сделали столб высоченный, и подвесили на самый верх его тушу волчьую – для острастки, чтобы каждый зверь лесной обходил деревню стороной, подбру-поздорову.

А что же шакал? Как засвистели над головой его шакальей пули, припустился он с перепугу, да куда глаза глядят. И мчался, не оглядываясь, пока слышались крики охотников, да лай собак. А как стихло все, отдышался шакал, облизал бока да спину распрямил, сообразив: а ведь теперь я, шакал, и есть царь лесной. И все белки мои, и зайцы, и фазаны. Да не кишки, не головы, и не перья только. Мясо! Мясо нежное, горячее, свежей кровью брызжащее. А то, глядишь, и до кабана доберусь.

Так думал шакал своей головой шакальей, и сердце его радостно трепыхало, восплавав благодарностью к людям с ружьями – освободителям от ига волчьего. Это ж надо, всю жизнь падалью побирался, не мог успокоиться шакал, дрожа от ненависти к убитому зверюге.

Ох, теперь-то наемся, ох и от брюха, нетерпеливо думал шакал, завидев трусящего по лесу зайца. Припустился за косым – да куда там! Только пошел плутать за зайцем меж деревьями, как вдруг – шмяк носом. Пенек!

Лежит шакал в траве, лапой подергивает, глазами помаргивает, вместо морды у него сплошная рана кровавая. Лежит, собирает вылетевшие из головы мысли шакальи. Что за заяц такой попался, думает шакал, такой и волку, небось, не по зубам. Поскулил он, нос разбитый зализывая, как вдруг видит – бельчонок. Крохотный, несмышленый. Ладно, решил шакал, шут с ним, что мясо мало, потом найду и пожирнее. Главное – весь лес мой! Кого поймаю, того и заломаяю! Кого захочу, того и проглочу! А начну с бельчонка малого, бельчонка несмышленого. Поплатится за свою глупость, да что поделать – есть смерть как охота! Подкрался шакал к бельчонку, да как прыгнет! Шмяк о сосну, а бельчонок уже на ней, на ветке покачивается, да на шакала скулящего испуганно поглядывает.

Ох и больно! Ох и напасть-то! Ворочается шакал под сосной, траву подминает, да криком горьким лес оглашает. Скулит так, что все звери лесные затихли, да попрятались: мало ли что, думают, кабы и с нами какой беды не стряслось.

А через месяц зашевелились, захрюкали заросли лесного шиповника – то кабан дикий пришел спелыми ягодами полакомиться. Ест кабан жадно, чавкает так, что далеко слышать, – по вкусу ему ягоды лесные. Как вдруг: уиии-уииии-уиииии!!! Завизжал кабан, и пустился наутек, бежать со всех лап своих кабанных.

Смерти заглянул кабан в глаза и с тех пор обходил стороной кусты шиповника, чтобы вновь не увидеть то, что от страха чуть не разодрало сердце его кабанье – пасть шакалью, щелкнувшую зубами перед самым пятаком.

Не узнал кабан и никто из животных лесных и людей деревенских, что в самый последний раз клацнул тогда шакал зубами и издох окончательно, там же, под кустом шиповника, исхудавший и измученный, проклявший охотников метких, зверье резвое, неподатливое, да судьбу свою шакалью несчастливую.

Так давно, но не давным, уже не в Богдании, но еще и не в Бессарабии, одним словом там, где рай небесный соединяется с адом крошечным, исчезли и волки, и шакалы.

И с тех пор исчез страх из сердец молдаван и в лес они и по сей день ходят не с ружьями, а с бочонком доброго вина – отдохнуть от трудов праведных.

А если и встретят какую-нибудь зверушку – так и на ту как на чудо заморское глядят. Будь то заяц косой, белка пушистая, а то и фазан с радугой вместо хвоста.

Света ЛИТВАК

тело тьмы

меня смешило, словно я песком
бросалась, к морю убежав из школы
там тьма была, где мальчик босиком
бежал по пляжу совершенно голый

так далеко, что в платье не доплыть
глотаю воздух в лунном освещенье
он двигался и плакал, – может быть
испытывал досаду и смущенье

в тяжёлых туфлях плавать не могу
он повернул назад, с волнами споря
догнал меня уже на берегу
и протащил вперёд по кромке моря

дуря от любви и озорства
и будто бы под страхом смертной казни
он надо мной на корточки вставал
и поливал из брызгалки, проказник

с усилием вспоминая, морщил лоб
и хмурил брови, составляя фразы
простые – из набора взрослых слов
хронической лексической заразы

в излюбленной позиции – верхом
с прилипчивостью мраморной улитки
на животе сваялся в грязный ком
мой чёрный фартук, вымокший до нитки

светили звёзды, прямо над лицом
склонялся варвар, страшный и любимый
грозящие глаза отца с ремнём
с хихиканьем сестры проплыли мимо

усердье плоти, двигаясь легко
из тела тьмы взаллѣб меня кормило
меня тошнило детским молоком
штормило море с нежностью и силой

Света Литвак родилась в г. Ковров Владимирской области. В 1981 году окончила Ивановское художественное училище. Работала чертежницей на заводе, преподавателем детской музыкальной школы, бутафором-декоратором в ЦАТСА, помощником воспитателя в яслях-саде, лаборантом Симферопольской научно-исследовательской станции. Публиковалась в журналах «Знамя», «Арион», «Волга», «Дети Ра» и др. Автор нескольких книг стихов и прозы, член СП Москвы.

Купи мне южное пальто
Дай в руки мне молочный нож
И я поеду за тобой
Под именем мадам Альто

Купи мне мяса и вина
Дай в руки мне билет, а то
Я не поеду ни за что
Под именем мадам Нина

Купи мне это или то
Дай в руки то, что сам возьмёшь
И я поеду хоть куда
Под именем мадам Никто

Живу одна. Претензий нет
Одета кое-как, зато
Здесь никакой системы нет
Одно монгольское лото

мерзавец проходимец посетитель гостиниц
столько ущипнул больших и маленьких задниц
многих чужих женщин любовниц

под пагубным влиянием табака алкоголя
на должность полотёра или роль самострела
сам себя назначил в постели

вытирал на коврике подошвы от грязи
резко выдыхая очищал нос от слизи
вынимал из пальца занозы

с брошюрой Кама Сутры с сигаретой без фильтра
провокаатор абортотв и виновник фальстартотв
на обувть намотал километротв

дорогу указал указательный палец
вдоль каменных мостов пустых бульваров и улиц
любимец беспризорниц и пьяниц

по ходу элемент социально-опасный
прогулку завершал на краю гулкой бездны
и смеясь показывал дёсны

а в номере хмелел от беспардонного трёпа
от найденного в зарослях шарахался трупа
на пристани пижонил у трапа

остриженный под ноль или наоборот бородатый
на следующей неделе всеми напрочь забытый
с вечностью сражаешься где ты

не выйдешь замуж но и не ударишь наотмашь
такого негодяя не любить невозможно
и страшно и смешно и нарочно

мне в голову пришло бессмысленное слово
эпитетом любым оснащено условно
невидимой рукой шлифованный болван
скрывающий внутри неведомый изъян
верчу его во рту, покуда не замечу
пригодность для письма и разговорной речи
я облачу его в наряд случайных фраз
пустой высокомер, смешной своеобраз
невыгодная дрянь, полученная даром
поточная деталь на выкате стихарном
работа на износ даёт блестящий стиль
закончив нудный текст и сдав его в утиль
в укромном уголке подсчитывая прибыль
лишь только поняла, что порвана на сгибах
захлопнута обложка книжки записной –
нелепой новизной смущая ремесло
бессмысленное слово в голову пришло

и розгой секли и в пучину ввергали и
ругали же их и предостерегали их
цикады трещали над ними секомыми
пали их жарой и садни насекомыми
 куполюдная лупоглавая
 семечки-чесмены
влачились полями одними свекольными
к Москве подступая путями окольными
 жирносольная хлебожадная
 кума-якиманка
как будто в столице воздастся им благами
ютится надежда всегда с бедолагами
 простовласая стенобитая
 кинешмы-мнишки

всё время желали напитков и кушаний
крутых кипятков и баранок насушенных
солёных грибов и капусты заквашенной
ну, где же Москва, покажи, где Москва же, ну
 прежнебрежная грязноснежная
 женщина-сенеж
исполнены веры, украшены доблестью
подвержены страсти, идут за верстой версту
 крутоперсая кольцоперстая
 рдищево-дурища
не плачь, не рыдай, с ними не разговаривай
горючие слёзы смывает Москва-рекой
 вертоглазая златовратая
 витюкли-лютивли

Константин КОМАРОВ

Однажды мы проснёмся утром,
возможно, в домике с трубой,
в пространстве правильном и мудром,
перемешавшем нас с тобой.

И ты расскажешь мне подробно,
не упустивши ни аза
о том, что видят исподлобья
твои пытливые глаза,

куда счастливая монетка
вчера пропала без следа
и кто этот нектарный некто,
определивший нас сюда,

и что нас раньше отделяло,
и как объединило нас
одно большое одеяло –
широкое, как парафраз.

И в рамках сумрачного жанра,
в который вписан этот стих,
без страха штампов и пожара
одну закурим на двоих.

И вспомним – были одиноки,
в воздушной прятались броне.
И страх, который эти строки
сейчас нашёптывает мне.

Константин Комаров родился в 1988 г. в Свердловске. Выпускник филологического факультета Уральского Федерального Университета им. Б.Н. Ельцина (бывш. – УрГУ им. А.М. Горького). Автор литературно-критических статей в журналах «Урал», «Новый мир», «Вопросы литературы» и др. Лауреат премии журнала «Урал» за литературную критику (2010). Лонг-лист премии «Дебют» в номинации «эссеистика» (2010). Участник Форума молодых писателей России и стран СНГ в Липках (2010, 2011). Стихи публиковались в журналах «Урал», «Бельские просторы», «День и ночь», других журналах, сборниках и альманахах, на сетевом портале «Мегалит». Автор трёх сборников стихов. Член Союза российских писателей. Живёт и работает в Екатеринбурге.

Среди равнин всё реже взгорья,
мне эта местность не нова,
беспечно зреют в подмозговье
провинциальные слова.

И мил мне, как резной наличник,
их тихоструйный перешёпт,
когда сию я без наличных
и никуда не перешёл –

ни через Рубикон, ни через
ребристый времени порог,
и чёртовы скрипят качели
(раскачиванье – не порок,

нет, лишь невинная забава
для одинокого ума).
Мне жаль, что раньше я взаправду
считал, что мир – это тюрьма.

Нет, мир – это свердловский дворик,
его обычен колорит.
Здесь пьёт палёнку алкоголик
и с небесами говорит,

здесь по заведомым дорожкам
идут неведомо куда
сплошные люди. И нарочно –
висит. Не падает звезда.

Къ Дулепову

Так чисто выбрился, что впору застрелиться
В. Дулепов

Небрит настолько, что почти бессмертен:
так часто бриться – это не моё.
Я здесь, как посторонний перевертень.
Изнаночный привет тебе, Маёр.

Но временами выходя из мира,
читай – из бытового забытья,
я вижу: у меня «чутлива шкура»
написано на креме для бритья –

«чувствительная кожа» по-хохлацки,
как тайный знак, откуда я такой –
и эти лихорадочные цацки,
и бритвенный вот этот беспокой,

и водка-пиво-водка-водка-пиво –
хотим тонуть мы или не хотим –
пластайся, коли шкура столь чутлива
без права нарастить на ней хитин,

который у иных вовсю нарощен,
но посреди избыточных вещей
я постараюсь быть немного проще...
Пойду побреюсь что ли вообще...

Чужие взгляды бьют под дых,
но твой невыносимо точен,
и эмбрионы запятых
сменяют безысходность точек.

Кипит письмо и стынет чай,
пока приказывает слово
не уточнять, а утончать
приметы счастья бытового,

не умерять, а умирать,
вовсю разменивая силы
на то, что вымолвить пора,
на то, что произносимо.

Но клапанов сердечных шум
взял аритмическую ношу,
и я её произношу
и каждый раз себя итожу.

Смотри же на меня насквозь,
чтоб под твоим предельным взглядом
во мне заветное сбылось,
не обернувшись личным адом.

Не столько правда, сколько просто свет,
обычный свет глаза с утра мне колет,
и сердце колет – да – от сигарет,
а – нет – не от трагической юдоли.

И я верчусь стыдливо на пупе
и чувствую себя, как муха в супе,
как будто едешь с молчуном в купе
да плюс ещё с печальным трупом вкупе.

Чьей силой, написав свой первый стих,
я из пространства мирного был выдран
и погрузился незаметно – псих –
в округлую тоску вселенских рытвин?

И метафизика зачем мне портит кровь,
а рефлексия засоряет лимфу?
Где тот момент, когда ушла любовь,
когда я променял её на рифму?

Ничьей. Нигде. Ничто и никогда
неизъяснимо в этом слове плоском...
...И падает фанерная звезда
над мутным, непроснувшимся Свердловском.

ДВОРОВЫЕ ИГРЫ +

*Записки о том, что было самым важным, и оттого, что безвозвратно ушло,
важности не потеряло*

От автора

Замысел этих записок возник еще в ту пору, когда наша дочь была маленькой. Мы с женой давали ей и ее друзьям-подругам советы, во что бы поиграть, вспоминая дворовые игры нашего детства. Съедобное-несъедобное, классики, вышибалы, колечко-колечко, фантики, сыщик-ищи-вора, казаки-разбойники, испорченный телефончик, картошка, садовник, прятки, жучок, ножички, крутить и прыгать... Вспоминались не только правила, но и товарищи по этим и другим играм, и истории, с ними связанные. Стало понятно, что всё это может быть интересно другим людям, и стоит записать какие-то из воспоминаний.

Делая первые заметки, я в устной форме стал пересказывать их разным знакомым. И каждый раз они подхватывали, рассказывая, в чем были схожи и чем различались игры в наших дворах. В беседах при этом происходили очевидные изменения: в речи и жестах, выражении лиц проступало что-то мальчишеское или девчоночье. Всем было действительно интересно. Разговоры заканчивались наказом: «Пиши». Однако от возникшей в этот период идеи включить в записки чужие истории впоследствии пришлось отказаться. В Ленинграде, Рыбнице, Москве, Одессе, Свердловске и даже в разных районах родного Саратова были свои особенности. К тому же детство «респондентов» приходилось на разные отрезки 1950–1980-х годов. К тому же поиски в интернете дали вал описаний правил дворовых игр, воспоминаний о них как обычных пользователей, так и мемуаристов из числа писателей, музыкантов, артистов. К этому надо добавить книжные и журнальные публикации с результатами исследований социологов, этнографов, психологов, историков, посвященные детским играм, а также специалистов по изучению детских игр на основе междисциплинарного подхода.

Свести все эти «данные» в одно повествование не представлялось возможным. Но помимо того, что я уже не мог, записывая собственные истории, не принимать эти сведения во внимание, знакомство с различными ресурсами и источниками имело естественное последствие: стало совершенно ясно, что записки нужно делать таким образом, чтобы читатели, познакомившись с ними или даже с отдельными эпизодами, захотели бы вспомнить о собственном опыте дворовых игр, а еще лучше – рассказать о нем в любой удобной для них форме. Поэтому данная публикация – это своего рода приглашение к соавторству. Одновременно с ней открывается страница в Фейсбуке по адресу: facebook.com/DvorovyeIgrы, где будут выкладываться интернет-версии публикуемых и не вошедших в публикацию записок и где можно оставлять собственные заметки, посты, комментарии по заинтересовавшим предметам.

И, разумеется, мои благодарности Марине и Евдокии, без участия, советов и поддержки которых работа над записками была бы куда более сложной, а также всем тем, кто выслушивал мои истории и рассказывал свои. Отдельное спасибо участникам акций по мотивам этих записок – коллегам-литераторам и коллегам-политологам: *колечко-колечко* в Выползово, *спички* в «Авторнике», *лапта* в Пахре, *фантики* в Широком Буераке, *ножички* и *крутить и прыгать* в музее Павла Кузнецова.

Сергей Рыженков родился в Саратове в 1959 году, с 1995 года живет в Москве. Проза, стихи, статьи и заметки о литературе публиковались в журналах «Вестник новой литературы», «Волга», «Новое литературное обозрение», «Митин журнал», «Остров Борнгольм», «СП», «Черновик», альманахе «Последний экземпляр». Книга стихотворений **речи бормочущего** вышла в издательстве «Арго-риск» в 2000 году. Является также автором многочисленных политологических работ (исследования российской политики), опубликованных в России и за рубежом; читает курс «Политическая регионалистика» на факультете истории, политологии и права РГГУ.

ФАНТИКИ И СЕКРЕТЫ

Все эти фантики, обертки...
Лариса Миллер

Фантики: битки, лунки; простые и ценные. – Секреты: ямки, стёкла, чудеса.

Когда в фантик завернута конфета, то *Раковые шейки* выглядят как непонятные красные полоски, а расправишь, разгладишь, проутюжив ногтем смятые места, получится вареный рак. Даже *Мишки*, что на *Севере*, что в *лесу*, которые всегда наверху конфеты и целиком, становятся после расправления как настоящие картины. В завернутом состоянии круглый холмик *трюфеля* – это скомканная пестрая бумажка (ну почти что), а распрямишь – как разноцветный серпантин: желтые, черные, белые и красные полоски начинают рябить и, переплетаясь, улетают за край обертки.

Фантики

По материальной части – игра вроде девчачья: обертки от конфет и шоколадок девчонкам больше подходят. Но она такой не считается, даже несмотря на то, что девчонки часто участвуют в ней наравне с пацанами. Потому что немного в другом виде в эту игру играют не просто большие пацаны, а *старики*. Называется это *лунки*, играют в нее на деньги, и в роли фантиков там настоящие рубли, трешки, пятерки и даже червонцы. Правда, чаще играют на мелочь. А так фантики и лунки одно и то же.

Кон – лунка с четверть глубиной, делается перочинным ножом, вычищается дощечкой. Земля вокруг лунки утаптывается и подметается. Почва выбирается твердая, чтобы края у лунки во время игры не осыпались. На расстоянии от трех-пяти до десяти шагов от лунки располагаются игроки. В начале каждого кона все опускают в лунку по одному фантику (монету или купюру у больших), затем поочередно бросают в лунку битку. При удачном броске битка оказывается в лунке и попавший забирает все фантики, что лежат в ней. Все снова кладут по фантику в лунку, вернее, все, кроме попавшего – он, вынимая выигранные фантики из лунки, просто оставляет в ней один, и начинает новый кон. Промазал – клади в лунку еще фантик, а бросать будет следующий игрок.

Иногда битка, попав в лунку, выпрыгивает из нее. Это часто происходит, когда лунка оказывается доверху плотно набитой фантиками. Такое попадание не засчитывается. Битка может сначала удариться о землю рядом с лункой, а потом прыгнуть или скатиться в лунку – такое попадание засчитывается. Но главный *кейф* заключается в чистом попадании: когда битка входит в лунку, даже не задев ее края.

Различие между нашим и взрослым вариантами заключается, помимо материальной части, в том, что лунка у *стариков* чрезвычайно узкая, ее отверстие чуть шире металлического рубля, а расстояние до нее такое, что вечером, когда начинается игра, отверстие скорее угадывается, чем видится, несмотря на подсветку из окон. И битки у *стариков* профессиональные: их делают на заводе, специально уравнивавшая и добываясь нужного веса.

У нас битки попроще, но чтобы сделать нормальную, надо потрудиться. В сараях за гаражами, куда не только малышам, но и нам запрещается ходить, на одной из многочисленных помоек отыскивается старый аккумулятор и раскурочивается. Между кирпичами разжигается костер, на кирпичи устанавливается консервная банка со сложенными в нее кусочками аккумуляторных решеток, заранее оббитых от заполняющих их глинистой грязи, и болтообразных клемм. Вскоре свинец начинает плавиться, но сначала это заметно только по тому, что куски сверху, вздрогнув, начинают плавать в банке, а затем слегка рыжеть и оседать. И вот из-под серо-рыжих осевших свинцовых кусочков появляется голубовато-серебристая лужица. Банку встряхивают, беря ее двумя палочками или специально сделанным проволочным хомутом, кусочки оседают ниже, а лужа становится всё больше и больше, и вскоре отдельные совсем уже мелкие кусочки плавают

в зеркально блестящей на солнце большой свинцовой капле, с закруглением по краю, отчего она кажется именно цельной каплей. Банку снимают. Перед разлитием свинца в формы железкой или дощечкой убирают плавающие наверху несвинцовые соринки. В заранее выдавленные в твердой сыроватой земле формы заливается свинец. Застывая, он мутнеет как надышенное зеркало, между формами падают мелкие капли и тут же застывают, с самих биток натекают заусенцовые сосульки. После того, как битка остывает, ее очищают от земли и обтачивают напильником нижней и боковую пупырышковые от земли части, проходятся еще шкуркой или кирпичом. Пока не получается битка с пятак в диаметре и в четыре-пять пятаков толщиной с закругленными краями.

Играют от двух до сколько угодно человек. Фантиковая зараза вспыхивает в течение трех-четырех лет на неделю-другую пару раз за лето, хотя бывает, что начинаем, когда еще не весь снег сошел.

Фантики собираются не только от купленных конфет, но и на улице, для чего устраиваются специальные поиски. Обычно командой в три-четыре человека отправляемся к большой дороге – проспекту Энтузиастов – и ищем у продовольственного и промтоварного магазинов с заходом в скверик между ними и к булочной. Собираются чистые фантики, лежащие на тротуаре или на земле, урны не трогаем. Кто быстрее увидит – тому и достается, правда, тут, самой собой, без *жилинья* не обходится. Спорим, кто больше найдет, кто найдет самый ценный. Мятые фантики после сбора разглаживаются и хранятся прозрачном полиэтиленовом мешочке. За одну игру уходит, если не везет, от пятидесяти до сотни фантиков, поэтому считается, что иметь их надо раза в два-три больше.

Иногда, когда интерес к игре пропадает, фантики все равно собираются, причем не столько на будущее, сколько ради состязания в количестве и качестве. В этот период частные собрания фантиков очищаются от многочисленных одинаковых и простых: игровую ценность они имеют, но их большое количество является минусом коллекции. Ценится, напротив, чтоб разные, и особенно – чтоб не как у всех. На фольгу из-под фантиков не играют, но тем не менее, если фольга попадалась какого-нибудь необычного цвета, формы или размера, ее тоже распрямляют ногтевым способом и кладут в коллекцию.

Фантиками обмениваются во время игры, разменивая крупные на мелкие, и в периоды собирания и коллекционирования. Полупрозрачные с неярким рисунками маленькие фантики от ирисок, сосательных и карамелек служат минимальной единицей, сами по себе в наших глазах они почти ничего не стоят. Во время игры подкалывают над теми, кто старается положить фантики похуже или неохотно кладет, например, гусиные лапки за два простых: – *А трюфельную зажал*. Подкалывают, правда, и наоборот: над отдающим трюфельную на 7 простых, мол, на фиговку разменивается, хотя это нормальный обмен.

Когда победитель кона выгребает добычу из лунки, то, если там только мелкие фантики, проигравшим не так обидно. А вот когда берешь с кона одновременно шоколадку, *А ну-ка отними и трюфельную*, то обзавидуются. Естественно, на кон стараются ставить именно простые фантики. Но, когда они кончаются, приходит черед ценных. Ставишь большую шоколадную – берешь четыре штуки сдачу простыми.

Запастись таким количеством простых фантиков, чтобы не трогать ценные в принципе можно, но никто этого не делает, потому что в этом нет никакого *понта*. К тому же ты проигрываешь в соревновании коллекционеров и становишься жмотом, над тобой подкалывают в игре, и это ее для тебя портит. Даже если жмоту иногда везет, ведь всем всё равно совершенно ясно, что сильный, хороший игрок не может быть жмотом. Лучше умеренно шиковать, хотя разбазаривание ценных не поощряется почти также, как жмотничество.

Итак, за два фантика от ириски, сосательных или карамелек дают две *Раковых шейки* или *Гусиные лапки*. Маленькая шоколадка (*Сказки Пушкина*, например, с петухом на шатре), *батончик* (лиловато-розовый большой, как с шоколадной конфеты), простые шоколадные идут за три простых. Шоколадные большие – те же *Мишки* или *А ну-ка отними* стоят четыре-пять простых фантиков; средняя шоколадка (типа *Алёнки*), *Гулливер* или трюфельная стоят шесть-восемь про-

стых фантиков. Дороже всего – от восьми до десяти простых фантиков в зависимости от картинки – ценится большая шоколадка (*Юбилейный, Гвардейский*), их даже на кон ставят условно, не кладя в лунку, где они могут помяться и испачкаться.

Игра чаще всего идет с переменным успехом. Выдающихся игроков не припомню. Просто обычно лучше играют те, у кого и в другие игры лучше получается: Дудик, Гора, Лобан, Коваль. Иногда кому-то вдруг начинает так везти, что становится ясно: *слово знает*. Правда, действует оно, как известно, не всегда, а только на какое-то время. Когда однажды стало везти мне, я точно знал, что это не из-за слова: просто я вдруг понял, как держать битку, как ее бросать, чтобы все время попадать. Но почему-то уже на следующий день получаться перестало. Вроде все делаешь, как запомнил, а мимо. Значит был какой-то момент при броске, который я сначала понял, а потом забыл и, как не напрягался, так и не смог вспомнить.

Секреты

Фантики используются также для *секретов*. Считается, что, сделав секрет, через какое-то время на его месте можно обнаружить деньги. Однако, возможно, что это мальчишеская версия игры, у девочек секреты, кажется, имеют самостоятельную ценность. Еще по одной версии предполагается, что деньги здесь не причем, а все дело в том, что желание, загаданное при делании *секрета*, должно исполниться.

О местонахождении твоего секрета вроде никто не должен знать. На самом деле, ты мог свой секрет кому-нибудь показать. Это значит, что тот, кому ты его показал – твой друг, или ты хочешь, чтобы он таковым был (в первом случае он тоже должен показать тебе свой секрет). Это и проverka: разболтает или нет, или, что еще хуже, раскопает или нет?

Делается секрет так. Берется осколок бутылочного ли баночного стекла – зеленый, коричневый, голубоватый – и яркий фантик. Роется ямка глубиной больше *четверти* (*лилипутками*, то есть длиной стопы, измеряется всё, что на земле, *четвертями*, то есть расстоянием от кончика большого до кончика безымянного или среднего пальца, максимально разведенными друг от друга). Фантик тщательно расправляется и укладывается на дно. Он накрывается стеклом так, чтобы плотно прижаться к нему. Затем ямка закапывается. Откопав секрет по меньшему диаметру, чем первоначальная ямка, владелец секрета мог увидеть нечто таинственное и загадочное: так как края стекла уходили в стенки ямки, то виден был только круглый «глазок»-картинка, загадочно поблескивавшая в полумраке ямки, стекло изменяло цвет и рисунок фантика.

Секретов у каждого может быть сколько угодно. Часто они не отыскиваются: или место забываешь, или кто-то подсмотрел, случайно наткнулся, а то и воспользовался доверчивостью показавшего, и перепрыгал. Секрет иногда показывается и понравившейся девчонке или девчонкой папану. Тот, кто пристаёт, *покажи свой секрет*, считается придурком. Правда, иногда тот, к кому пристаёт, начинает торговаться: «А ты мне что за это?» Причём, ответный показ секрета заведомо не удовлетворяет.

Время от времени возникают истории о каких-то фантастически прекрасных секретах, но из-за секретности секретов никто точно описать их не может. Однако существование таких историй заставляет от секрета к секрету добиваться более красочного эффекта, чтобы когда-нибудь попасть в легенду:

- Я такой секрет сделал.
- Он такой секрет сделал.
- Говорят ты такой секрет сделал, может, покажешь?

Поскольку существуют специальные места для делания секретов в песке или в земле, иногда можно на них наткнуться. И вообще, секрет делается не в условиях секретности. Лишь изредка кто-нибудь делает свой секрет в удалении от основных мест, чтобы уж точно никто не увидел. Большинство либо делает свои секреты в присутствии тех, кому доверяет, но при том, чтоб они не лезли: – *Что ты там копаешь, а не секрет ли?* Либо секрет делается практически на виду у всех, но быстро, и копанье ямки маскируется под какую-нибудь другую земляную или песочную игру.

Однажды, выследив секретчика, мы заменили фантик рублевой бумажкой. Интересно, что обманутый сразу понял, что его разыграли и ожидаемого эффекта – рассказа о чудесном превращении – не последовало. Подначки с целью спровоцировать такой рассказ привели к тому, что тот, кого разыграли, вычислил нас. «*Руть верни!*» Для вида поломавшись, он вернул рубль (5 порций пломбира с горкой!), понимая, что закроить себе дорожку выйдет.

ГОРКА

*А горка изо льда меж липок городских,
Смех девочек-подруг, стук санок удалых,
рябые воробьи, чугунная ограда?
О сказка милая, о чистая отрада?*

Владимир Набоков

Деревянная горка: лед, фанерки; поезд, волчок... – Горка на склоне: санки, ящики из-под молочных бутылок. – Горка в овраге за школой.

Деревянная горка

Горка стоит посреди двора на бугре, который летом был клумбой. Горка деревянная и раскрашена в синий и красный цвета. Сбоку ступеньки лестницы, ведущей на небольшую площадку с перилами и крестовинами. Спуск вниз, тоже с боковыми перильцами, но совсем маленькими, с ладонь вышиной. Лоток спуска натерт картонками и штанами до лакового блеска. Он переходит в ледяную дорожку, спускающуюся до деревьев у желтого дома.

Фанерку под жопу и вниз. Потом бегом вверх. И так полдня, пока не позовут обедать. Штаны в сосульках – когда трясут над ванной, они позвякивают. Потом их на батарею. После обеда вторые, запасные штаны, тоже с начесом, и снова на горку.

К штанам с начесом – пальто ершиной раскраски с черным воротником из искусственного меха, с крючком у горла, и еще шарф поверх, завязанный назад. Черная круглая с ушами, но еще не ушанка, шапка из искусственного же меха, с завязанными тесемками. Валенки.

Вообще-то, горка перебегала с места на место. Два года она стояла на месте клумбы. Столбы, на которых она держалась, летом становились футбольными воротами. К концу второй зимы не только крестовин на площадке вверх, но и перил, и половины ступенек не осталось, не говоря уже о перильцах на спуске. Потом она зиму стояла между нашим и шестым домом, и скатывались прямо к калитке детского садика №42. А еще раз она оказалась между шестым домом и садиком, причем соорудили ее поперек склона, так что разъезженная ледяная дорожка загибалась вниз и заканчивалась всё там же – у калитки сорок второго.

Дальше и быстрее всего было катиться с клумбовой горки. Если хорошо разгонишься и фанерка нормальная, то катишься и дальше деревьев у желтого дома – до самой ограды между ним и третьим домом. Главный кейф был в том, чтобы еще и в проход в ограде проехать, и там еще, если не до витрин ателье, то почти. При этом там нужно было не врезаться в прохожих. Орать бесполезно: они не понимали, что от них хотят несущиеся прямо на них пацаны и девочки. Поэтому как повезет: если никто не идет – хорошо, если идет – тормози как и чем можешь, сворачивай.

Фанерки (реже, и в основном взрослые, говорят *дощечки*) были дефицитом. Идут разные. Трехслойные от посылок, на которых, если не расплывалось в зеленое пятно из-за того, что химическим карандашом, можно было прочитать в левом верхнем углу «куда» и «кому», а в правом нижнем – «от кого». Более солидные и по толщине, и по площади – как от лопат для уборки снега, а то и действительно от лопат – неустойчивые из-за погнутости. У тех, у кого отец или мать, или ещё кто работают там, где что-нибудь из дерева делают, фанерки почти идеальные: многослой-

ные, правильные по размеру (жопа плюс немного). А идеальные без почти – текстолитовые: крепкие и тяжелые, из каких-то специальных слоев особо прочного дерева с пластмассой, склеенных между собой мгновенно застывающим *мертвым* клеем (то есть таким, который, если случайно попадет на руку и склеится пальцы, то потом можно только хирургическим путем их разделить), сдавленных под очень сильным прессом, расплющивающим в принципе все, что под него попадает. Встречается и ДВП, она едет нормально, но сильно гнется и быстро ломается. На крайняк годится и картон, который, разумеется, быстро мочалится и рвется, но его всегда откуда-то много. Его куски вечно валяются вокруг горки, так что, если ничего другого нет – хватай и катись.

Просто на жопе ездить не то – не из-за того, что, как родители говорят, штанов не напасешься, а потому что не так быстро. Можно и на корточках, но тут уж всё зависит от того, какие подошвы: валенки с галошами – вообще с места не сдвинешься, без галош – как на жопе без картонки, ну, может, чуть быстрее. На подшитых – другое дело. Кто повзрослее иногда показывают класс, съезжая на ногах.

Я долго и безуспешно выклянчивал у матери деревянный «кружок» для резки (в кавычках, потому что он был прямоугольный, но все его так называли), хотя, наверно, выйди я с ним, надо мной бы, скорей всего, подкалывали – из-за ненадлежащего происхождения снаряда.

Нельзя кататься с горки на санках, на молочных металлических ящиках, хотя на них-то и можно было уехать не то что к витринам, а к самым дверям ателье, если не вообще к молочной кухне. Но они жутко царапают деревянный спуск, а ледяная трасса зазубривается. Совсем уроды могут съехать на палке – от хоккейной клюшки либо от лопаты или метлы – на манер Бабы Яги. После санок и молочных ящиков можно было быстро развездить, а борозды от палки – только снегом набивать, поливать, а потом ждать, когда застынет. Дураков хватает – не уследим, поборемся большого пацана, и вот уже мчится, козел, с ослиным воплем. А то папаша дитё свое на саночках спустит – и слышать ни фиги не хочет, когда ему объясняют. Или поздно вечером здоровые придурки порезвятся... Знаю, что говорю, сам потом таким стал.

Горку, которая поперек склона между шестым домом и садиком стояла, так вообще по весне, под последний снег, большенькие уже, мы попросту раскурочили. Треснула крестовина, отвалился кусок. Стали помогать. Такое бывает, когда ржешь, все ржут, и что не сделаешь, только больше. Вроде как *ведет*. Ножонкой ткнешь, как случайно, и другая крестовина хрясь. Ой, извините, я не хотел. Ха-ха-ха. Конечно, одновременно и понимаешь, что что-то не то делаешь, а как надирает. И вот уже соревнуемся, кто на ходу ногой бортик наподдаст. Потом, когда уже «веселье» пошло на убыль, появились Соболев и Харлам из шестого. Возник напруг.

– Чё с горкой?

Отвечать надо было. Кулёк:

– Ой, домой пора, – и сдригнул.

– Не знай, – кто-то из нас.

Они в пространство, так, никому, посулили яйца оторвать. Стало ясно, что проговариваться нельзя. Вдруг сообразилось, нечетко, но внятно: это у Горы родители – менты, старший брат собирается по их стопам, старшая сестра – в медицинском институте. У меня – маленькие начальники, старшая сестра – в педагогическом, а у Лобана – инженеры какие-то все. Отец Ковалев страшно пьет, но с высшим образованием, мать, кажется, бухгалтер. В шестом же сплошь работяги, а *старика* все отсидели. Вот и, получается, что для нас горка – баловство, а для Соболева с Харламом – сооружение.

Нас, конечно, сейчас больше, не страшно. А потом? Есть желтый дом, который всегда с шестым. Есть их и наши *старика*. И если придется разбираться, наши впрягаться за нас не станут. Мы все это тогда, не сговариваясь, поняли. Правда, переигрывать в своем вранье не стали: несуществующим мудакам ничем грозить не стали. Пацаны из шестого точно что-то просекли и даже дали понять, что просекают, но ничего не предприняли сразу. Потом, когда поспрашивают, мы снова с этим подкатить, видать, решили. И жить-то все равно рядом.

Короче, снег совсем растаял чуть ли не на другой день. Какая, на фиг, горка?

Кататься, съезжать с горки приходится чаще всего в тесной очереди, быстро, один за другим. Просто взлететь по лестнице, а затем спокойно сесть на краешке спуска и оттолкнуться не выходит, да и без разгона как? Надо с ходу, приседая на первом шаге на спуске, на втором подсовывать под себя фанерку и вперед. Бывало, что и занесёт: лестница сбоку, под прямым углом от спуска, и не впишешься. В бортик, в другой – и считай никакой езды, лучше сразу вбок отвалиться и снова в очередь на лестницу.

Ездим и поездом, на ходу организуя сцепку. Это не обязательно, но часто заканчивается *кучей малой* – по ходу или уже в самом конце. Кстати, все время следим, чтоб там не получился непреодолимый уступ, который выбивается пятками, каблуками. «Не тормози так! – кричим, – ноги, ноги поднимай!» Как глубокая ступенька получится, останавливаем катание, чтобы фанерками и ногами разбить и поправить.

Есть еще такая сцепка: первый едет на фанерке, а за ним, держась за плечи, на ногах другой. Если падают так за девочкой, а та не ругается, то, считается, это что-то означает.

Классно крутиться. Съезжаешь с деревяшки и почти сразу, договариваешься заранее, тебя за плечо, но так, чтобы не погасить скорость, дергают в обратку, и дальше едешь, крутясь волчком. А можно вбежать вверх по спуску, почти наверху развернуться и поехать как обычно – получается без очереди, но если никому не мешает, то все в порядке. Рискованно, но на фанерке можно и рыбкой, на животе, съезжать, выгнувшись назад, чтоб не тормозить.

Нельзя врезаться друг в друга. Доехал, быстро встаешь и ушел со льда. Видишь, что впереди уйти не успевают, развернись, чтоб не ногами врезаться. Но врезались. И больно. В том числе и специально, из вредности. И падали. Носы разбивали. Потом показывали темные пятнышки на снегу – это такой-то из третьего дома нос разбил.

Горка на склоне

Горка – это не обязательно сколоченная из бревен и досок. Весь склон до желтого дома – тоже горка. Одну зиму – ближе к третьему дому, другую – прямо посреди двора. Тут уж не фанерки, а санки. Нормально обычные покупные – легкие с разноцветными планками. Но самое то – тяжёлые самодельные с чугунными полозьями. Они очень быстрые и катятся аж во двор желтого дома, а если там не успевали всю дорогу расчистить и появлялся наст, то и двор желтого дома проскакивали насквозь. Правда, обычно дворники срабатывали четко, и надо было даже на покупных санках сворачивать, чтобы не выскочить на асфальт. Только на чугунных сделать это из-за скорости намного трудней. Откуда их привлекали? Куда эти санки потом исчезали? Но когда появлялись, катались весь день по очереди, по заслугам или по дружбе с тем, кто их притащил.

Плюс ящики из-под молочных бутылок. Они из толстой негнущейся проволоки. Берем их у молочки. Когда там просекают, что ящики куда-то деваются, выставляют грузчика охранять. Но у нас их уже полно. Ящик ставится набок, держась за него руками, разгоняешься и после четырех-пяти шагов прыгаешь на него, как в седло. Одна нога в угол с открытой стороны, другая – пяткой – в ячейку с другой стороны. Можно и сразу оседлать, а потом разгоняться, толкаясь ногами. Между прочим, ящик сам по себе сразу едет плохо, его надо раскатать, двигая туда-сюда по снегу. И потом чем больше катаешься – тем больше раскатывается и лучше едет.

Через пару дней надоеет – ящики валяются кучей вниз, дворники их относят ближе к черному пятну от костра из новогодних елок недалеко от угла третьего дома.

Один раз Генка Косой припер на целую неделю откуда-то огромные сани, почти такие, как прицеплялись зимой к лошади, на которой возили пустые ящики из-под бутылок. На санях катались кучей малой. Кто-то садился, кто-то раскатывал и запрыгивал на ходу. Управлять санями было почти невозможно, хотя когда садился сам Генка, он умудрялся как-то выставлять сбоку ногу так, чтоб ее не сломать, и сани немного поворачивали и ехали не на заасфальтированную площадку перед желтым домом, а вдоль забора детского сада по покрытому снегом земляному бугру, уже немного вверх. Это тормозило ход, и сани останавливались до столбов для белья, меж-

ду которыми на веревках всегда чьи-нибудь замороженные простыни висели. А так надо было прыгивать, пока сани не выскакивали на асфальт у желтого дома.

Большие пацаны тоже катались, со взрослыми девчонками, поздним вечерам, крича и визжа совсем как мы, но по-другому.

Горка в овраге за школой

Еще одна горка – в овраге за школой. Туда ходим без спросу. В отличие от довольно пологого склона нашего двора, это крутая горка. Вернее, раскатанных спусков несколько – поположе, покруче и с трамплинами. Можно и на фанерке, но тут и на корточках даже на обычных валенках тебя несет вниз и лихо подбрасывает на трамплинах. Тут уже никакой кучи-малы – пока не уйдет снизу съехавший, лучше самому не катиться.

Но крутиться тут! Пару раз съедешь – и мотаешь, когда встаешь и бежишь вверх. А кто дальше пробежит вверх по льду? И, естественно, кто быстрее, кто выше прыгнет на трамплине?

На этих горках появляются и большие пацаны, и сами мы туда, став такими же, ходить будем. Девчонки опять же. Одна беда: между нашим поселком и соседним микрорайоном, разделенными этим оврагом, именно на этой горке иногда начинались всякие разборки, не раз и не два заканчивавшиеся драками. А одна, в которой лихо досталось спокойному и тихому Ковалю и кому-то с другого конца нашего поселка, переросла на следующий день в настоящую войну – с толпами бегущих по оврагу и его окрестностям подростков с кольями и арматуринами.

ЛАПТА

*Играл на бесхозном дворе
с потомками красных в лапту.*

Юрий Кублановский

Куда зафигачивали. Поле, кон, снаряжение. – Правила и хитрости.

– Не вижу не фига! – орет Дудик с дерева.

– Вон, вон. Правее... – Снизу ему. – Теперь левее. Вон ту ветку потряси... Осторожней!

Дудик действительно уже на предпоследней развилке вяза, что между первым и вторым подъездами. На этой высоте ствольные ветки гнутся под тяжестью тела и раскачиваются от любого движения, а если раскачивать ветку, она запросто может треснуть. Дудик стоит на ней одной ногой, другая в развилке, держась руками за совсем тонкий хлыст вверх.

Сначала даже не поняли не то что, на каком дереве, а на дереве ли вообще. Ходили, искали у второго, у первого подъездов, потом аж у третьего дома. На земле ничего. А наверху в листьях просто не видно. Трясли наугад, то есть в ствол по-каратистски ногами били, да без толку, тополь, что потоньше, еще вздрогнет, а вяз и не шелохнется. Наконец, самый мелкий – младший Багаев – увидел. На высоте второго этажа: желтоватый бочок теннисного мяча.

Попробовал залезть Лещинин. Залезть – залез, но ему высоко не подняться – большой слишком, ветки не выдержат. Полез Дудик, потому что самый лезучий, и по деревьям, и вообще: залезть в форточку, если ключи забыли, даже на втором этаже, по газовой трубе, вывернуться на любом пятачке – что в крысы там, жмурки, футбол-хоккей, мотаться на пожарной лестнице, как на турнике, и всё такое. У меня, например, при одном виде того, как на выскальзывающей из пальцев – а внизу в двух метрах тупой асфальт – тонкой железной нижней поперечине пожарной лестницы кто-то переворачивается, от затылка по всему телу взрывался большими холодными мурашками электрический ток. Дудика посадили к первой развилке, и вот уже он, мячик, руку протяни, потряси. Протянул, но чтобы достать, нужно верхнюю ветку отпустить. Потряс – сам

чуть не свалился, а мячик так по-дурачки засел, что и не пошевелился.

– Сейчас палку найдем.

Пока ищем, Дудик слез, надоело там торчать, и лезть больше не хочет. Большие пацаны уговаривать. Ни в какую. Грозить стали – домой сдернул. Кто полезет? Полез Тетёня. Он того же роста, что Дудик, то есть почти на голову меньше нас, и такой же худой, его подсаживать легче, и ветки выдержат. Только если Дудик жилистый, то Тетюня костлявый, один как обезьяна гуттаперчивая, игрушка такая, другой – как пластмассовый кукл, у которого не везде, где должно сгибаться, сгибается, а то и не туда. И это сразу видно. Дудик с нормальной канадкой, такой нагло вато презрительный или насмешливый, по обстановке, взгляд, но если надо «а чё я? я ниче» (у взрослых почти у всех почти всегда так). Тетёня – белобрысо-конопатый, под чубчик, с кукольными же моргалками, безотказный. Его еще Зюзей и Хрюпелем кличут.

Это Лещинин зафигачил. Именно он, большой пацан, спортом занимается, в прошлом году, отчертив клёчной палкой перед собой линию кона, подбросил теннисный мяч и с размаху этой палкой по мячу ударил. Мяч пролетел до середины дворовой площадки, ударился об землю, взлетел и поскакал за клумбовый круг (клумбу в том году не разбивали). Стали пробовать. Клёчной круглой палкой ни у кого не получалось. В лучшем случае чиркало, и мяч летел куда-то вбок. Попробовали палкой от ящика из-под бутылок, стало получаться – она широкая, но легкая, и держать неудобно – мячик еле-еле летит.

Потом Лещинин психовал, что правила и вообще как играть, не понимали. Быстрее всего поняли, что лучше вообще не бить, чем бить как попало: ударишь тихо и не в землю, мяч попадет в руки первого из другой команды – *матка*, – и теперь вам маяться. Но и пропускать удар, не бить, было нельзя. И так как имелось три попытки у каждого, то малышня символически махала раз, два, а третий раз прикоснулся палкой к мячу, зажатому в другой руке, и отпускают их, и мяч, и палку, так, чтобы упали по ту сторону кона. Попытка засчитывается, и никакой опасности. Стой и дожидайся, когда Лещинин или другой большой пацан пробьет, а потом беги.

Кон делался на уровне четвертого подъезда. Линия чертилась во всю ширину площадки, параллельно у клумбы – задняя линия. Справа, глядя от кона, игровое поле ограничивал бордюр. Слева – невидимая линия от угла кона до доминошного стола. Если при подаче мяча он еще до задней линии перелетал за боковые, то попытка считалась неудачной.

Играют две команды: одна подает мяч, другая ловит – *мается*. В каждой команде от трех до бесконечности людей. Подают по очереди. У каждого по три попытки. При удачной попытке все, кто уже до того неудачно пробил, должны добежать до задней линии, точнее забежать за нее, и вернуться на кон. Тогда у всех вернувшихся снова появляются три попытки.

Команда в поле располагается так: в малом составе (три-четыре человека) выстраиваются друг за другом по всей длине площадки, а если народу много, то двое-трое становятся по бокам от центрального ряда. Задача – как можно быстрее после удара завладеть мячом. Если удастся поймать *матку*, то есть мяч слету после подачи, команды меняются местами. Мяч, пойманный от земли, можно отправить на кон. И если никто из подающих не добежит до середины (определяемой на глаз) поля, то им нужно возвращаться. Если же мяч отправляется на кон, а кто-то уже пересек середину поля, то ему можно спокойно идти за заднюю линию и оставаться там, ожидая такой подачи, чтобы успеть вернуться на кон.

Но, поймав мяч от земли, его можно и не отправлять на кон, а попытаться попасть им в кого-нибудь из бегущих к задней линии или пытающихся вернуться из-за нее. Получилось – отмаиваетесь. А вот промах, особенно в направлении желтого дома, – беги за мячом, прыгающим под горку, а противники уже за задней линией, если вообще не вернулись.

Главное было понять, что это не крысы мячом: не нужно пытаться бегать с пойманным мячом за шурующим к задней линии или возвращающимся и тем более не нужно надеяться попасть в них издали. Если мяч пойман за задней линией или попал тебе в руки после отскоков где-нибудь в стороне, – брось его или прямо тому, кто ближе всего к бегущим, или, если он далеко, – тому, кто между вами, а он уже перебросит дальше. С двух метров не промахнешься. Хотя и

бывали случаи, когда с метра не попадали, но это что-то совсем невероятное. Гора, прыгнувший, как козел, с каким-то диким гиканьем чуть ли не на полтора метра вверх – и мяч пролетает под ним. Камнем упавший на живот Коваль – и мяч пролетает над ним...

На сильного бьющего строй растягивается: кто-то, лучше двое, должны были быть за задней линией. Потому что мяч почти наверняка полетит туда. Могло повезти. Правда, только тому, кто в принципе мог поймать быстролетящий маленький мяч, и дальний ловил матку после сильного удара. Нет – так все равно бежать за мячом меньше, даже если он допрыгает, докатится до третьего дома.

Но нужно помнить, что подающий может, замахнувшись якобы для мощнейшего удара, просто сложить палку с мячом у самого кона, как это делает малышня, а сам рвануть. Так что пока первый толкнет мяч за кон, подавший уже будет за серединой. Попытаться попасть в него мячом бессмысленно: пока подбежишь к кону, поднимешь мяч, повернешься, бросишь второму или третьему, подавший уже за задней линией. Правда, такое не срывает, если подающий – последний, у кого есть попытки, и все на кону, ждут, что их *выручат*. Тут надо бить со всей силой. Впрочем, если часть команды или хоть кто-то в этот момент уже за задней линией, рискнуть можно: ты окажешься за задней линией, а твой партнер вернется. Тут нужно мяч за кон не бросать – вдруг уже кто-нибудь из возвращающихся за серединой. Взял мячик, развернулся и жди: он на тебя несется, вправо-влево уворачивается. Выходи на него вплотную и даже не бросай – вотри ему мячик в грудь или спину.

Выручения не просто ждут, а орут хором: – *Вы-ру-чай! Вы-ру-чай!*

Хитрость с тихим ударом может быть и в более трудном для маящихся варианте. Также избравшая, что собираешься пробить нормально, не просто складываешь палку с мячом у кона, а тихим ударом направляешь мяч вдоль кона, но с таким расчетом, чтобы он не выкатился за боковую границу. Еще вариант, когда боишься, что сильный удар не получится, а первый готов к любой хитрости, – это свечка от земли. Но она должна быть очень высокой, потому что за время, пока мяч взмывает и падает, ты должен быть если не у задней линии, то готовиться к прыжку за нее, – налету ты неприкасаемый.

Сначала подают малыши. (А на лапу приходили с других домов нашего конца поселка, даже малыши, потому что играли в нее только в нашем дворе.) Складывают палку с мячом на кону, как описано выше, или бьют в землю. При удаче, если первый пропускает такой удар, малыш мог со своей подачи забежать за заднюю линию. Но чаще ничего такого не происходит. И он(а) ждал(а) на кону хорошего удара. Можно сказать, что для малышей (как и во многих других играх) существует *бег*, а *бей* только постольку поскольку.

Позиция первого в команде, которая мается, хотя и ставят на нее обычно не самого сильного, чрезвычайно важна. Именно ему достается большинство *маток* от малышни или после срезок. Первый должен успеть решить: ловить или уворачиваться, потому что мяч может лететь так, что все равно не поймашь, а если попадет в тыкву... Но главное, чтоб не зажмуриваться и не уворачиваться от любого удара, а то и на простой *собачке* (в смысле ложного замаха) можно поймать: скрючится – а тут тихий повторный удар, пока очухается, уже поздно.

После малышни идем мы. Тут как сложится. Любый может запендюрить, а может и просрать все три попытки, то есть вообще не попасть по мячу. Подающему орут: «Не маши, бей в землю!» Но ведь ясно, что пару раз потренируешься – третий раз получится. Иногда получается. Иногда нет.

Последними бьют большие пацаны. Палки уже исключительно клёвные. Мяч о-о-очень высоко подбрасывается, и с большо-о-ого замаха о-о-очень сильно отправляется в полет. Кстати, на кону можно стоять только по левую руку от бьющего, поскольку палка из рук может выскочить, и не ближе, чем шагах в пяти, потому что размах офигенный. Случаются и неудачи: банальные промахи, или бабочки, когда мяч летит высоко и даже далеко, но легко ложится в руки третьего или четвертого номера. Обычно же мяч либо прорезает площадку насквозь по низкой траектории, но фиг поймашь, либо взмывается и летит в район первого подъезда. После клумбы полет делается ниже, мячик начинает скакать, а потом катиться по земле, и деревья не помеха, особенно если

было отклонение влево (от бьющего), там деревьев нет. Находились шутники, которые после таких ударов демонстративно шагом, а то и два раза, переходили поле.

Но с той стороны тоже большие пацаны есть. В растянувшейся цепочке даже второй (почти у клумбы) мог поймать летящий как ядро мяч, не говоря уже о третьем или четвертом, ловящих высокие мячи. Правда, чаще всего третий или четвертый ловят уже прыгающий по земле мяч, быстро и точно перебрасывают его второму, который оказывается лицом к лицу с перебежавшими.

Все большие лупят так, что игра иногда превращается в сплошной базар: те, кто маются, пытаются сбить руку подающим. Иногда, довольно редко, мяч застревает в кронах деревьев, и не ближних, где все видят, куда он сел, и доставать насобачились. А где-то в районе первого подъезда. Таким ударам завидовали и помнили их. Но из-за них игра часто прекращалась. Второго мяча не находилось (кто-то мог и зажимать, опасаясь, что его мяч последует за засевшим).

Поиски и спасение засевшего могут продолжаться целый час, особенно вечером, когда уже смеркается, играть за это время расхачивается. И когда Дудик или Тетёня палкой и чуть не грохнувшись сбивают-таки мяч с дерева, игроков остается три с половиной, и игра стопорится. Даже если начинаются споры, вроде что отмаиваться же нужно.

– Что я один за всех маяться буду?

По идее, это и правильно было бы, но никакого кейфа.

ПРИКОЛЫ

...за испуг, конечно, «саечка».

Сергей Русских

Сорок один – ем один. – За испуг – саечку. – Слива. – Жопа к стенке. – Сто грамм огуречков. – Правый карман. – Велосипед, пьяная лошадь, крапива...

Выходя на улицу с куском, жующий может заявить: *сорок один – ем один*, и никто не может у него попросить куснуть. Но его могут опередить, выкрикнув *сорок восемь – половину просим*. И тогда он обязан поделиться. У меня в семье считается, что с куском выходить нехорошо, и я ни *сорок один*, ни *сорок восемь* не ору. Поэтому, наверно, так помнится маргариновый вкус какого-то сухого самодельного печенья, буквально вставшего поперек горла, от которого мне, преодолевая брезгливость (казалось, что все оставляют на этом куске слюни), пришлось откусить, поскольку вышедшему с этим куском Кульку, кто-то прокричал *сорок восемь – половину просим* с добавлением *на всех*.

За испуг – саечка

В *за испуг – саечка*, если считать это игрой, принимают явочным порядком – новенький может и не знать, что он *игры*, пока на него вдруг кто-нибудь не замахивается, а когда он отшатывается или закрывается руками, раздается:

– *За испуг – саечка!* – и саечка пробивается.

Сама саечка, выполненная формально, без интереса, представляет собой даже не удар, а так – тычок снизу и вскользь по подбородку, выполненный полусогнутым указательным пальцем. Но не дежурная, принципиальная саечка пробивается иначе: указательным и средним пальцами правой руки, сложенными вместе, но немного крючком и в последний момент подсекая. А еще если левой рукой оттяжку сделать – двойная перевернутая *пиявка* получится! (Если кто вдруг не знает, *пиявка* – это высшая форма щелбана: на голову кладется ладонь правой руки, средний палец оттягивается назад левой рукой и отпускается, с силой бия по тычке.)

Что считать испугом? Если строго, то испугом считается даже моргание, неизбежное, когда тебе ни с того ни сего пытаются засветить кулаком по носу, останавливаясь в последний момент.

Но обычно моргание испугом не считается, а только вздрагивание, втягивание головы в плечи, отскок (в случае коленом по яйцам или кулаком в солнечное сплетение), выставление рук, перекосебливание рожи.

Спорным может оказаться и то, как саечку пробивать. Можно так, что челюсть после двух-трех саечек начинает отваливаться. Между своими это может закончиться если не дракой, то почти, с запоминанием обиды, чтобы потом при случае отыграться. Но обычно это делается по отношению к более слабым. При том, что свалить считается позорным, лучше терпеть. Но еще хуже не выдержать и расплакаться, и в этом случае лучше уж свалить.

Примерно то же самое со *сливой*, но ее делаем реже. – Что это у тебя за пятно? Или просто: – А что это у тебя? – И указывается на грудь. Жертва непроизвольно скашивается вниз, за что и полагается слива: нос зажимается между указательным и средним пальцем и оттягивается, иногда так, для проформы, а иногда по-настоящему, до посинения и еще фиг вывернешься. В последнем случае, если это не большой маленькому, драка становится почти неизбежной.

Жопа к стенке и сто грамм огуречков

Два этих прикола часто сочетаются. Тебя хлопают по жопе, произнося: – *Жопа к стенке*. Ни с того ни с сего, между делом, между другими делами. После того, как хлопнут, надо найти для жопы защиту – прислониться к стене, дереву, сесть на лавку, в крайнем случае – на траву или на асфальт или хотя бы закрыть половинки ладонями. Иногда всё быстро заканчивается, так как все упорно стоят жопами к стенке, и становится неинтересно. Но кто-нибудь начинает подначивать: отходит от своей стенки (стены или дерева), провоцируя других на нападение. Если это удастся, то следует серия хлопков, уверток, новых хлопков... Сила и точность ударов перестает контролироваться и все может тоже закончиться обидой, дракой или близко к тому.

Другой вариант продолжения: после начала игры, когда все становятся *жопой к стенке*, начинают *сто грамм огуречков*: прямо стоящего спиной у стены и ничего не боящегося пацана хватают пятерней за его огуречик и сдавливают, крича: – *Сто грамм огуречков*. Впрочем, чаще всего это действие просто обозначается. Защитой может быть только прикрытие ладонями. Собственно весь кейф, видимо, в том, чтобы сделать такую живую фигуру: народ стоит у стены, дерева или ограды беседки, закрывшись рукой, держа одну ладонь на жопе, другую на огуречке, и пытается одновременно нападать на других. Если все это начинается вообще с *без покрывишки не ходить* – подзатыльника по голове без фуражки – либо доходит до того, что любой даже самый небольшой неприкрытый участок означенных мест подвергается нападению, всё становится очень серьезно, и, как в настоящей игре, все надо делать шустро и точно. Вдруг в самом разгаре кто-то совсем неожиданно начнет еще и *за испуг саечку* или потребует *правый карман*, на самом деле имея в виду дать под это дело подзатыльник, заехать по жопе или схватить за огуречик. Что тут честно, что по правилам? – разборкой на эту тему все, как правило, и заканчивается:

– *Поджопник нельзя!*

– *А у меня закрыто все!*

– *А ты по носу, а не по голове попал!*

Совсем по-другому все выглядит, если вдруг девчонки. Собственно девчонки просто ни в чем таком не участвуют. «*Дурак!*» – если кто пытается, и – без визга, сматываются. А то и молча, но та-а-ак посмотрев. Если девчонка побольше, то можно и напоротся – получить в лоб. И надо или драться – с девчонкой, что в принципе невозможно (да еще есть такие, что с неясным исходом), или как-то выкручиваться на словах – обзывалками и пугалками, которые тоже не факт, что проканоют.

Правда, однажды, на полянке во время ловли майских жуков большая Валька из четвертого подъезда в ответ на чей-то хлопок и тут же попытку сделать ей *сто грамм огуречков* ответно вцепилась в огуречик начавшему, злобно смеясь на его оторопелое: «Пусти, ты чё, дура». После, как пишут в романах, короткого замешательства, две другие девчонки поддержали ее. Пацаны встали к деревьям и закрыли свои огуречки. Девчонки чего-то обидное приговаривая, насакивали, про-

воцируя раскрыться. Наш ступор можно понять: к такому повороту никто не готов, и постепенно доходит, что есть во всем этом какая-то несправедливость: у них-то огурчиков нет! И никто не придумал, как переиначить (например, «сто грамм помидорчиков»). Одновременно приходит осознание, что уже похоже на *глупости*. И уже хочется, чтобы девчонки схватили тебя за огурчик. Но это надо как-то так, чтобы не догадались, что специально прокололся. Пока думаешь, кто-то уже побежал за жуком, кто-то кричит *неигры*, кто-то *харе*, и всё заканчивается.

Правый карман

Упоминавшийся выше *правый карман* не имеет, несмотря на непосредственную близость к огуречкам в смысле расположения, ничего общего со *ста граммами* или *глупостям*. Это просто спор на содержимое кармана, не обязательно правового – карман может быть левым, нагрудным карманом рубашки или даже пистончиком в шортах. Пари заключается по обычным правилам. Спорящие пожимают руки, а третий разбивает их, в этот момент произносится: *правый карман*. Или левый, или, если осенью, внутренний; может быть и у одного один, у другого другой, – это как предварительно договоритесь: например, левый против правого. После этого всё, что находится в соответствующих договору карманах, после слов «*такой-то карман*» становится собственностью другого. Надо все время помнить, что в спорный карман ничего нельзя класть: в любой момент может последовать такой-то карман, и ты расстанешься с парой гривенников, перочинным ножичком, стопкой фантиков, биткой или заложками. Исключение делается только для ключей от квартиры: их не берем, но считается, что это ошибка положившего их в карман, и можно требовать одно прощение, то есть, в случае, если потом ловится выигравший ключи, ему один раз прощается.

Спорить дважды на один карман с разными пацанами считается обманом. Поскольку споры перекрестные, то в результате приходится все свое имущество носить в одном кармане, так как все остальные поставлены на спор. Как-то у Кулька, спорящего не только на карман, а на всё на свете, остался только один карман – нагрудный на рубашке, он был набит и оттопыривался как *буфер*, что ему сразу и продемонстрировали, коллективно *замацав*.

Вообще, поймать кого-нибудь на кармане трудно. Хотя, с другой стороны, практикуется взять на пушку: кто-то может забыть, на какой карман с кем поспорил и, не имея возможности ничего доказать (например, в случае сговора со якобы свидетелем), вынужден расставаться с содержимым неправильного кармана, обещая, как водится, отомстить накольщикам.

Спор может продолжаться неделями, пока кто-то из его участников не скажет *харе*, а другой согласится. Так что пара спорщиков могут, если идут на принцип и в других делах, тянуть месяцами, а все следят за ними и даже болеют за того или другого из противников.

Иногда *правый карман* – это форма *угнетения*. Кто-нибудь из больших пацанов или из тех, кто просто посильнее, без всякого спора объявляет вдруг кому-то из мелкоты: *правый карман*. И если тот не находит защиты у двора (например, всех достал чем-нибудь, или ему мстят за что-то, или никого, кто может заступиться за него, во дворе нет) либо другого большого пацана, то силой подвергается обыску и, если что в кармане находится (или даже в карманах вообще), всё отнимается. Впрочем, иногда угроза пожаловаться родителям (своим или обидчика), несмотря на то, что это осуждаемый всеми ход, срабатывает, и вещи возвращаются с издевательствами в адрес маменькиного или папенькиного сынка и, бывает, даже объясняется, что это понарошку: «*Я пошутил, а ты развонялся тут...*» Однако запоминается, что вот этот может себя так вести и ему ничего, а с обиженным, оказывается, так можно, и кроме как родителям пожаловаться ему некому. Да кто себя при этом как из присутствующих ведет, так же, как при любом *угнетении*, откладывается.

Нарваться ради

Наряду с описанными, в том числе жестокими, приколами, похожими на обычные игры, есть и такие, чтобы просто сделать кому-то больно, обидеть или унижить кого-то.

Велосипед. Подходишь сзади и, крепко схватив за мотню, резко поднимаешь жертву вверх. Естественной его реакций будет вращение руками и сучение ногами для удержания равновесия.

Скамейка. Один незаметно подбирается к жертве сзади, встает на четвереньки, а другой толкает ее в грудь: падение неожиданное и неотвратимое. Правда, есть риск, что, заметив подкравшегося и делая вид, что не замечает, тот, под кого пытаются подсесть, возьмет и вроде случайно лягнет ногой, а потом:

– Ой, извини, не заметил! А что это ты тут ползаешь?

Совсем тупые вещи.

Дать поджопник, если кто-то нагнется, просто так, или ударить тыльной стороной расслабленной кисти, но так, что обожжет, по жопе. При этом обязательно говорится: *Эх! По натянутой не грех!*

Просто пальцем нажать на ключичные впадины. За шиворот насыпать песку, налить воды, запустить жука или гусеницу. Подойдя сзади, схватить рукой за горло и при этом еще другой рукой рот и нос заткнуть – *снять часового* называется.

Есть еще одноразовые, потому что второй раз никто не попадётся, приколы. Спрашиваешь: «Показать, как пьяная лошадь (вариант: крокодил) кусается?» – И не дожидаясь ответа, как можно сильнее хватаешь за ляжку прямо над коленкой и сдавливаешь всей пятерней со всей силой. То же самое, в смысле не дожидаясь ответа: «– А давай крапиву покажу!» – И сжимаешь двумя руками руку жертвы сразу за запястьем, делая проворот в разные стороны с сильным нажимом: рука у попавшегося после этого красная и горит.

И помнить надо, что во всех этих случаях вполне нарваться можно. Даже заведомо более слабый может так взорваться, что мало не покажется.

ОБ СТЕНОЧКУ И ПРОБКИ

*Тут играют в деньги
Маленькие детки.
Прыгают от стенки
Звонкие монетки.*

Олег Григорьев

Об стеночку: на деньги, на шелбаны; накладка, чок, дотянуться; кровь на асфальте. – Пробки: сплющ, бросай, выбивай; профессионалы из шестого дома.

Наши *пробки*, и *об стеночку* – варианты блатных игр. Пробки – это *денежка* или *деньга́* (по-разному называли), а *об стеночку* – общее название.

Об стеночку

Блатные играют на деньги, а мы играем на шелбаны, очень редко тоже на деньги, но по копейке, иногда – на заложки. Монетой ударяют об стену. Она отскакивает и падает на асфальт. Следующий старается ударить так, чтобы его монета попала на уже брошенную монету. И лучше всего, чтобы она так и осталась лежать на ней. Получается *накладка*, стоящая три или пять базовых ставок (как договоримся). Если же после попадания в монету твоя монета отскакивает, то это *чок*. За него полагается отдать две или три базовых ставки. Но даже не попади монета на монету, ты выигрываешь, если можешь, растянув пальцы четвертью, коснуться обеих монет, хотя бы еле-еле зацепившись за их ребристые краешки: базовая ставка твоя. После *чока* также, когда монета отлетала не больше чем на четверть, к чоку приплюсовывается *дотянуться*.

Играют и не по базовой ставке, а на монеты, которые в игре. Вернее, эти два принципа сочетаются. Скажем, играем треугольниками или пятаками, а также двадцувульниками, которые только

цифрой и цветом отличаются от трюльников (легкими и маленькими копеекой и двульником, равно как гривенником отскок и точность меньше), в принципе можно было и пятнадцать копеек. *Дотягиваясь*, брали из твоей монеты копеечку, *чокнув* – две или три, при *накладке* можно забирать трюльник (или пятак) целиком, прямо с кона.

Кон ограничивается куском стены с границами по бокам – обычно пара-тройка метров. Кроме того, по высоте нельзя бить ниже колена, а то и пояса (как договоримся). На земле, вернее, на асфальте, границ нет: монета может лететь куда угодно. Правда иногда договариваются, что дальше тротуара нельзя, попал туда – монета переносится на заранее определенное для таких случаев место, обычно близко от стены, штраф такой.

Сам удар об стеночку может быть каким угодно. Можно отойти на три шага от стены и бросить монету об стенку с ладони. Можно встать правым боком (левой во дворе нет) вплотную к стене и, почти поглажив штукатурку, отпустить монетку. Но в любом случае надо бросать прицельно. Точнее всего получается после удара ребром монеты с близкого расстояния об стенку – с рассчитанной, разумеется, силой и под нужным углом – зажатой между большим и указательным пальцами (остальные не поджаты, а расправлены петушиным гребнем) монетой. Но при лежащей у самой стены монете стоит попробовать второй из названных вариантов, а при улетевающей, упрыгавшей, укатившейся черт знает куда – лучшим может оказаться первый вариант.

Теперь представьте, что играют пять, а то и семь человек. Сколько возникает сочетаний, возможностей выбора, случайностей, расчетов. Чего стоит, например, вариант, когда у тебя *чок* с одной, после которого *накладка* на другую, а ты еще *дотягиваешься* сразу до трех монет! А потом бьет попавший под твою *накладку* – и почти все отыгрывает...

Играем до того, как кончатся деньги или заложки, а займы уже не дают. Или пальцы и лбы начинают болеть, а то вдруг просто уже никакого кейфа. Многое зависит от того, как договаривались: рассчитываться после каждого кона или вести счет до конца игры. При игре на деньги разница чувствуется слабо, а на щелбаны, да еще если пять щелбанов можно заменять на *пиявку*, – ой как ощутима.

Так или иначе, выбывает один, другой, третий... Победитель может собрать копеек пятьдесят, наколотить сотни три щелбанов (при расчете после каждого кона). Но чаще всем в какой-то момент просто надоедает, и если все остаются примерно при своем, то большинством решают: *харе*. И жилить тут бесполезно. Не насильно же заставлять, а если уж так охота – играй вдвоем, или вообще сам с собой – тренируйся.

Преимущество, конечно, у тех, у кого четверть больше. Но *дотягиваться* тоже надо уметь. Рассказку нужно постоянно тренировать. Рассказывалась история, что, когда у блатных судьбу червонца решал буквально сантиметр, то, чтобы *дотянуться*, игрок ножом надрезал себе кожу между большим и указательным пальцем. Он тянулся, рана становилась шире, хлестала кровь... Иногда, рассказывая эту историю новеньким, показывали то самое место – с темным пятном на асфальте.

Пробки

В *пробках* на начерченный на линии кона кружок устанавливается стопка бутылочных пробок по числу играющих (у блатных, опять же это, это деньги). Пробки заранее подготавливаются для игры: прокладочная пленка вынимается, края сплющиваются. Делается это половинкой кирпича (молоток из дома не вынесешь). Пробки с надписями, тиснением или рисунком были тогда редкостью – от чешского пива, например, поэтому особо ценились. На кон их не ставили, и можно было выменять одну такую на две или три обычных.

Пробки устанавливаются *лузом*, то есть сплюсненной стороной, вверх. В стоящую на кону башенку из пробок надо попасть биткой – свинцовой, можно той же, что и в фантики, но некоторые делают специальную: больше в диаметре и тоньше. Бросают шагов с пяти-семи по очереди, которая определяется предварительным коном. Попавший в пробки идет к кону и забирает себе все, которые перевернулись, а затем начинает *выбивать* – переворачивать оставшиеся на *спи-*

не, ударяя в них биткой. Каждая новая перевернутая становится его. Если он мажет – буквально бьет мимо пробки или пробка не переворачивается, либо, перевернувшись, не оказывается пузом вверх, то выбывает следующий по очереди. Кон длится, пока все пробки не выбиваются.

В пробки (и, видимо, в *денежку*, проверить не получилось как-то) больше играют в соседнем шестом доме. Я это понял, когда, оставшись дежурить в школе после уроков (то есть подметать в классе), Лёник, Васёк и я из нашего дома и Соболев из шестого затеяли сыграть в пробки (то, что пробки таскали с собой в портфеле, означало не их популярность, а просто то, что начинается весна и высох асфальт). Соболев дергался, жилил – чуть в драку не полез, когда кто-то в шутку перевернул пробку рукой. Потом они с Харламом стали ходить к нам, и в пробки всегда выигрывали. Может, и поэтому пробки как-то заглохли – ну не шло, чего позориться?

ВЗРОСЛЫЕ

*На четвертом этаже
Пожилая женщина...*

Игорь Холин

*почти вспомнил
бабушку
подругу моей бабушки*

Иван Ахметьев

Этот непослушный мяч. – Бабки на скамейке. – Жорик-обжорик и его защитники. – Как поймали Кузю. – Порка ремнем, кручение ушей...

Нас гоняют и нам иногда достается. Из-за окон, сохнувшего белья, ради защиты чад, из вредности. Мячи не всегда летят туда, куда направляются. Пыль и гам. Есть маменькины сынки и папенькины дочки, а также злобные тетки, мужики и бабки. И они знают, что большинство родителей предпочитают простейший воспитательный метод, и поэтому как что бегут к ним, если у самих не получается схватить, поймать, надавать.

Окна, сохнувшее белье, бабки на скамейки и мяч обыкновенный

На площадке у пятого подъезда два окна по сторонам от пожарной лестницы, нижний проем которой служит нам кольцом при игре в баскетбол, но это казенные покрашенные белой краской окна – сначала детской поликлиники, потом женской консультации. Зато следующее окно справа (если смотреть от нас, с площадки) – окно кухни Доценок. Либо одна из двух взрослых дочерей, либо жена Любезного целый день торчат в этом окне. Каждый раз, как мяч оказывается за водосточной трубой, которая проходит между окном женской консультации и их окном, они начинают грозить нам в окно, кричать в форточку, а если мяч, что случилось за все время три-четыре раза, попадает – всегда под углом, почти вскользь – в стекло, то они выскакивают во двор и пытаются, опять же оря, отнять мяч.

Вообще, за все время ни одно окно, ни здесь, ни за футбольными воротами разбито не было. Возможно, конечно, именно потому, что нас этим так доставали, что мы, даже не задумываясь об этом, подсознательно, старались в опасном направлении бить и бросать пореже и потише.

Самые опасные – правые (если смотреть опять от нас) окна третьего и левые – четвертого подъезда, так как штангами футбольных ворот при игре в одни ворота являются два тополя, растущие напротив этих окон. Между полем и стеной дома идет дорога, затем грунтовая полоса с деревьями и узенький тротуар вдоль стены, но всё это не гарантирует от попадания в окно: рас-

стояние все-таки небольшое, к тому же под окнами третьего подъезда не самый густой вяз, а под окнами четвертого – вообще хилый тополь. Окна подъездов разделяет водосточная труба. Слева и справа от нее окна коммуналок – соответственно комнаты Красновых и их общей кухни с Барановыми в третьем и Борьки-малыра с матерью и их общей кухни с Кузнецовыми в четвертом. Все они относительно тихие. Барановы позже, впрочем, станут немного шуметь, а борькина мать как когда.

Нам, можно считать, повезло, потому что левее подъезда за окнами комнаты Шуры-футболиста, *старика*, игравшего за заводскую команду и запросто игравшего с нами во дворе, окно его с Кульковыми коммунальной кухни. Мать Кулька, которую все зовут Манькой, не дала бы нам и ногу отвести для удара в направлении ее, пусть и коммунального, окна. Так что футбол в одни ворота со штангами-деревьями именно потому и был возможен, что это окно находится не за ними, а в стороне.

Таким образом, хотя, как считается, мы со своим *футболом* (кстати, взрослые футболом называют не игру, а мяч, игра – это «гонять футбол») опасны прежде всего для окон, на самом деле это не так. Куда серьезнее вопрос о белье. Оно в разные годы сушится в разных частях двора. Нас больше всего устраивают столбы между первым и вторым подъездом. Но однажды они приблизились к теннисному столу – и сразу проблема. Белье простыни, пододеяльники, наволочки, разномастные рубашки, майки, кофточки, салатные, розовые, голубоватые лифчики и трусы! Дело не столько в том, что можно угодить мячом прямо в, но больше в том, что поднимается пыль от нашего беганья, и, кроме того, всегда существует вроде бы невероятный, но вполне реальный вариант попадания мячом в деревянную дырну, стойку, которая поддерживает провисающую под тяжестью мокрого белья веревку, протянутую между столбами или между столбом и деревом. Дырна может покачнуться от удара, перевалиться справа налево и продолжать поддерживать веревку. А может перевалиться и, наклоняясь под тяжестью мокрого белья, потерять устойчивость, заскользить, хотя внизу у нее гвоздь, по земле, и веревка провисает, а белье начинает полоскаться нижним краем по земле. И это дважды случалось! Что потом бывало – рассказать не могу, потому что мы исчезали, и не просто исчезали, а на пару недель перебирались к ателье мод играть на асфальте, откуда нас тоже гнали ательевские, спасая свои огромные витрины. Или даже забывали про футбол, бегая во что-нибудь в гаражах или на *второй полянке* – в парке у завода. «Перестеривать» – это было одним из самых ужасных причитаний наших матерей.

Еще клумба, когда ее засевают и она расцветает собачками, мелкими фиалками и ноготками, обрезают двор, но случается это не каждый год. Тетки ее оберегают, но все-таки не так строго, как собственные окна и белье.

А самый кошмар – это скамейка напротив четвертого подъезда под угловым, самым старым и большим вязом во дворе. Тополь-штанга от нее буквально в двух шагах. Эта скамейку иногда целыми днями занимают бабки. При игре в одни ворота мы в этом случае автоматически сдвигаемся на одно дерево, ближе к третьему подъезду. Для нас это хуже, так как ворота получаются шире и штанги не на одной линии. Если же и скамейку напротив третьего подъезда занимают бабы помоложе (что, правда, редко бывает), то в одни ворота не получается совсем. Но как не сдвигай и как не крути футбольное поле, застраховаться от случайного попадания в скамеечник невозможно. Попадаем, увь, и в ноги, и в плечо, и в голову, и порой неслабо.

Старушечий скамеечный актив делится на две неравные части. Группу тихих составляют горбатенькая бабушка и моя бабушка. Звери – это дворничиха Колосова из моего шестого, ничья бабка из третьего, бабка Палашенко и Жоркина бабка, а бабка Васька Голованова готова их всегда поддержать, как и мать Борьки-малыра.

Помимо голошения, часто переходящего в перепалки с нами, главное их оружие – жалобы нашим родителям и поимка мяча. Мяч ловится только в том случае, когда попадает прямо к старушкам. Попытки прямо из игры извлечь мяч или, ха-ха, кого-нибудь из нас сцапать, заканчиваются какими-то каракатицевыми сценами, где в главной роли – растопырься полураком – выступают Жоркина бабка или Колосова.

Схватив мяч, они тащат его домой, и только к вечеру, после долгих унижительных просьб, часто при участии нормальных родителей, мяч возвращается, при условии, конечно, что мы будем уходить куда-нибудь играть, а то следующий раз мяч порежут. И пару раз резали! Поймав мяч, бежали за ножом и не где-то там на кухне, где брался нож, а во дворе, у нас и у всех на виду мяч вспарывался. И бросался нам под ноги. Резиновый, естественно, восстановлению не подлежал, а надувной – зашивалась крышка, заменялась камера, – и мяч снова в деле.

Если тащить пойманный мяч домой бабкам лень, а вспарывать – не тот градус, то они за-талкивают его под лавку и «хоронят», если говорить их языком, в ногах под своими длинными темными юбками. Мы начинали переговоры-уговоры, и иногда под честное слово, что уйдем, мяч возвращается – и мы уходим. Если переговоры долго ничего не дают, то имеется подвошный вариант. Выстраиваемся у лавки полукругом и, клянча хором, на самом деле отвлекаем внимание от подкрадывающегося сзади Петьки Багаева, или другого маленького и шустрого пацана. Он хватает мяч из-под юбок или выбивает его ногой сзади к нам. Чаще всего в этом случае мы на-зло продолжаем играть, но стараемся снова не вляпаться: если кто, заводившись, приближается к скамейке, кричим ему: «Не нарывайся!», «ушел оттуда!». А большие пацаны могут запросто попридержат старушку и даже замахнуться на нее, пока мяч выуживаем.

Что касается крика-ругани, то все стандартно и примитивно:

- Идите отсюда играть.
- Сами идите.
- Вы тут носитесь как скаженные, а мы никому не мешаемся.
- Нам мешаетесь.
- Чем это мешаемся?
- Вот расселись тут.
- А куда же нам идти?
- На кладбище.
- Хулиганье. Мало вас родители лупят. Да, что с ними разговаривать. Родителям сказать и дело с концом.
- Напугали.
- А это чей? А я его знаю!
- А вас бог накажет, что вредные такие, сами не живете, и другим не даете.
- Паразиты! негодники! паршивцы! Драть вас некому. Держи, держи вон того!
- Ух, как страшно.

Только в двух случаях мы признаём нашу полную неправоту. Это когда всё-таки в окно, пусть и не разбивая. Правда, если не поднимается хай, можно и не срываться, а продолжать, как ни в чем не бывало. А вот когда прямое попадание по тылке кому-нибудь из бабок и раздается как сирена: «Убили!» – тут остается только хватать отскочивший мяч и молча и быстро сматываться.

Рекордсмен по вышибанию старушек и попаданию в окна – Лобан. Он здоровый, отлично играет в нападения, очень сильно бьет по воротам, но так же сильно может лупануть куда угодно.

Оттягивают на нас не только за футбол и прочие резкие игры с мячом, но и из-за того, что *лазим по деревьям* – причем боятся одновременно и что сломаем, и что разобьемся; за *березовый сок*, *вышибалы* у стены – потому что стучим мячом в стену, *костер* во дворе, ближе к детскому саду – особенно с шифером, который раскаляясь, лопается, и осколки разлетаются далеко вокруг. Кажется только за *чапаевцев* (если кто вдруг не знает – это выбивание шашек противника собственными шашками, производимое посредством щелчков-щелбанов) не достают, да и то, видимо, только потому, что в них мы во дворе играем редко. А вот в домино (в *козла* и *паука*) и карты (помимо *дурака* в *козла* же, *веришь-не-веришь*, *девятку*, *трыньку*, *буру*, *говно*) режемся часто – и это тоже всем по фигуре, потому что никому не мешаем. Правда, тут тоже есть проблема, и решается она без вариантов: приходит время мужиков забивать и резаться, и они нас со стола сгоняют.

Погони и поимки

Обычное дело, когда взрослые заступаются за своих чад, пытаются наказать обидчиков. Под постоянной защитой находится *Жорик-обжорик*. Кличку ему даже придумывать не надо было. В обеденное время на весь двор раздается: – Жорик, обедать! – Но это не значит, что он должен бежать домой. Наоборот: во двор выносятся табуретки, тарелки с едой, и бабушка Жорика кормит его с ложечки прямо во дворе. Некоторые из малышни принимают приглашение жоркиной бабки присоединиться, и им что-то перепадает. С ее стороны это хитрый ход: в компании Жорик хоть что-то съедает, а так, видимо, совсем ничего не ест. Действительно – «видимо», в смысле зримо: Жорик – настоящий дистрофан.

– А кому эту ложечку? – бабка делает вид, что подносит ее одному, другому, но не дает им, а торжественно провозглашает: – Жорику! – и быстро сует ему ее в рот, резко поднимая ручку ложки вверх, чтобы внуку ничего не оставалось, как проглотить щц. Во время этой кормежки грех не поорать хором: – Жо-ра-об-жо-ра!

Жорика долго берут в игры, только если уж совсем некому играть, и бесцеремонно выгоняют из игры, если он чего-то не понимает или у него что-то не получается, и он мешается. Ему остается только с малышкой играть. Иногда он огрызается на наши издевательства: молча отбегает подальше, но так, чтобы успеть, если что, к своему подъезду раньше нас, и оттуда начинает кидаться в нас камнями.

Однажды, когда мы, как всегда в таких случаях, стали отстреливаться, я попал ему камнем в голову и, как потом выяснилось, разбил ее до крови. Все участвовавшие в перестрелке сразу рванули кто-куда, как только Жорик заорал. Бабка и мать Жорика погнались за нами. Бабка отстала у *первой полянки*, а мать гналась за нами до середины второй. Она кричала, угрожала, и мы не сомневались, что, попадись ей кто-нибудь из нас, она бы растерзала его. Но никого ей поймать не удалось.

Вернувшись во двор, я из-за угла (благо, подъезд крайний) проскользнул домой и запросился спать. Родителям эта хитрость была известна: или заболел, или что-то натворил. Не успел я залечь, как в дверь звонят. Это мать и бабка Жорика, они требуют моей выдачи на расправу. Покричав, довольствуются обещанием родителей обязательно меня серьезно наказать. Во дворе известно, что это значит: порка. Но меня только ругают, хотя отец, приехавший на обед, и демонстрирует готовность применить ремень. Но, наверно, мой рассказ о том, что Жорик первый начал, и как за нами гналась Жоркина мать и «хотела убить», впечатлил родителей, в смысле выходило, что я уже наказан испытанным при погоне страхом.

Гонялся за нами и отец Жорика. Мы дразнили Жорика, а из окна с их третьего этажа высунул его отец и стал на нас орать, защищая сына. Небольшой кавказский акцент плюс его орлиный профиль (он был рыжим – что нами по недомыслию дополнительно расценивалось как смешная ненормальность: с Кавказа, а рыжий) сподвигли нас на форму ответа: мы стали орать: «Асса!», а кто-то изобразил лезгинку.

Ржем, естественно. В тот, кажется, миг на крыльце подъезда возник Жоркин отец. Впоследствии утверждалось, что в руке у него был огромный кухонный нож, тесак. Он секунду осматривает двор. С рыжей растрепанной гривой, в салатной майке и синем трико, похожий, когда прыгнул с крыльца и бросился за нами, на льва. Рвём кто куда. Я – за дом со стороны нашего подъезда, большинство – тоже. Это дает возможность выбора: бежать вокруг дома, через дорогу в гаражи и сараи, к детскому садику. Главное, чтобы были повороты и препятствия: на прямой взрослый мужик догонит пацана. Хорошо также, если есть куда заныкаться. Никто тогда не был пойман и «зарезан». Почему-то жоркина отца хватило только до угла за дом. Тут все рассыпались по указанным направлениям, а он так и не выбрал себе жертву и, что-то прокричав, вернулся во двор. Возможно, конечно, это была такая тактика, и он рассчитывал, что, как только увидит в окно, как мы возвращаемся, втихая выскочить во двор и уж тут. Но в таких случаях никто во двор не возвращается, и даже на следующий, и позаследующий день самыми интересными играми остаются те, в которые играют как можно дольше от дома.

Капец всё-таки случился, полный. В беседке, которая пару лет стояла у песка, в начале спуска к желтому дому, кто-то – потом выяснили сами между собой, кто, да и что, собственно, произошло, но так и не выяснили – то ли толкнул, то ли как-то еще уронил старшего Багая. Младший – Петька – был вроде как сын двора, малыш еще совсем, веснушки, вздернутый нос, носится во всё как заведенный, только что не искрит, встречается на полном серьезе в наши разговоры, и это никого не напрягает, а наоборот, прикалывает. А вот его старший брат Витька – немного тупорылый, что ли: худой с бесцветными глазами, ни во что толком играть не умеет, помалкивает, но может и ругнуться, и случайно вроде по ногам заехать. У них есть еще старшая сестра – рыбообразная девица, никак в дворовой жизни не проявлявшаяся. Об их отце, внешне похожем на уголовника из фильма, говорят, что он действительно сидел. Потом он еще сядет – и будут говорить, что за изнасилование падчерицы: братьям он был родным отцом, а их сестре – отчимом.

Итак, старший Багай падает в беседке, скулит, все ржут, а он убегает домой. И вдруг видим: к беседке идет его отец, а Багай ему что-то говорит и рукой на нас показывает. На лице у отца всё написано. Не сговариваясь, рвем когти. Кто куда. Папаша приклеивается сначала к группе, которая рванула через сорок второй садик. Потом бросает их, и – к булочной. Прямо на нас вырывается: Толька Бочкарев, Кузя и я – на площадке, где летом по субботам фильмы вечером показывают. Кроме как к врагу за школой к врагу бежать некуда. Под строящимся мостом тормозим: вроде оторвались. Возвращаемся, немного выждав. На углу у продуктового кого-то из наших встречаем. «Да все уж», – говорит, в смысле багаевский папаша ловить нас перестал.

Фиг-два! У вторых дверей продуктового – народ там шастает, поэтому не сразу увидели, – буквально нос к носу сталкиваемся с Багаем-отцом. Пригнулся, руки расставил. Назад? Всё по прямой придется. И – Толька рвет по левому краю, вдоль дороги, я по правому – вдоль станы у магазина. Он на меня. Еле удаётся почти под рукой проскочить, а там за угол – и опять во дворы. А Кузя за мной полез, ну и попался. Извивается в татуированных руках. Волоком его через сквер во двор батаев папаша тащит. Мы за ними – на безопасном расстоянии.

– Это не он, – кричим.

– А кто?

Молчим. Может, за нами бросится, а Кузю отпустит? Нет, доволоч. Сдаёт Кузю родителям. Отец его ремнем порет нещадно. Но Кузя никого не заложил. И никто из нас, чтоб друга спасти, виновником не объявился. Героем, разумеется, Кузя не стал: во-первых, попался, во-вторых, как ныл, когда волокли, все слышали. А то, что не заложил – так, может, не знал просто, кого?

Мне тоже однажды досталось, но если Кузю, как и всех его пятерых братьев и сестер, родители лупили постоянно, то со мной это было не просто первый, а вообще единственный раз. В начале зимы какая-то незнакомая девчонка из третьего дома упала, поскользнувшись на только что затвердевшем льду. Лед треснул, девчонка оказалась в грязной луже, а я рядом. На ней была белая пушистая шубка. Она орала, ее подняли и вытащили, в том числе я. Лет мне было тогда было всего ничего: в школу только осенью идти.

Вдруг сзади кто-то хватается меня за плечи.

– Этот тебя толкнул? – девчонка кивает. Я выворачиваюсь из рук ее папаши:

– Врет она! – возмущаюсь.

– Кто родители? Где живешь? – крепко держит.

Я молчу. Ничего, думаю, что он мне сделает? И я же не виноват.

– Пошли. Веди меня к ним.

Я ни с места. И он поволол меня. Я поджимаю ноги. И он начинает мне ухо крутить – раньше такого мне испытывать не приходилось. Я заорал. Одной рукой за шиворот, другой за ухо он волол меня в наш двор. При этом ухо продолжал именно крутить – вою, как у зубного. Почувствовав, что ухо сейчас оторвется, я запросил прощения. Наверно, это было расценено как признание, и он начал драть мне второе ухо и пинать ногами.

Начинаю верить, что толкнул девчонку. Мы стоим на бугре от клумбы. Я вижу наш подъезд. Кто-то говорит, где я живу. И меня доставляют к дверям квартиры. Когда мой палач звонит в

дверь, я понимаю, что сейчас это всё закончится. Родители защитят меня (это было воскресенье). Как бы не так! Отец слушает, что ему говорит всё еще заведенный мужик, а потом зажимает мою голову между колен и хоть через штаны, а больно, и дико обидно, несколько раз с силой бьет меня ремнем.

Отпускает, и я бегу в нашу комнату. Плачу, прижавшись к бабушке, а в дверях стоит мой родитель, и орет, объясняя, что бьют меня не за сам проступок, а за то, что вру. Но к этому моменту я уже абсолютно не верю, что я в чем-либо виноват.

Лет пять спустя история почти повторилась. Мы играли в *крысы*. Я настигал маленькую Вальку из из четвертого подъезда, она поскользнулась на льду, упала и завопила. Мы все бросились к ней, подняли. Рука у нее не двигалась. Мы повели ее к подъезду. А там уже стоял ее отец, который сам всё видел, в смысле, как я ее толкнул. За что я тут же получил оплеуху, от которой чуть не упал, а в глазах потемнело. Потом все их семейство пыталось меня гнобить. И дуболомный отец, и визгливая мамаша, все вечера резавшиеся в козла и лото соответственно, чуть что обзывались, прям как дети. Тогда я первый раз оказался евреем – идею, что никем другим я, темненький и коварный, быть не могу, впрыскивала мамаша в форме риторических вопросов и предположений, вроде: а они, там в шестом подъезде, все евреи?

Было, конечно, и другое. Родители покупали нам мячи, велосипеды, игрушечные машины, конструкторы... А мой отец, например, как-то организовал у себя на работе изготовление палок для клёка для всего двора. Сначала на *мазике*, а потом на «Татре» катал нас сразу по трое-четверо, заезжая к нам пообедать, дядьВитя, и обязательно раз за лето привозил во двор полмашины песку. Да, что там говорить: лет до шести я заставлял и отца, и мать после работы играть со мной в хоккей, не говоря уже о семейных выездах на Волгу и в лес и о поездках в деревню ко другой бабушке!

И вообще, взрослые в наши дела не слишком лезли. Считали естественным, что мы сами чем-то там занимаемся. У них же работа. При этом несмотря на то, что они, обычно вспоминая о своем детстве как о трудном, голодном, предвоенном или военном, когда не до игр было, признавали-таки, что играли много. Правда чаще всего эти признания были в том духе, что «мы тоже играли, когда маленькими были, но не так же!» – в смысле громко, дико, опасно для себя и окружающих.

КРЫСЫ, КОЛДУНЧИКИ, ПТИЧКИ НА ДЕРЕВЕ

*На поприще сей жизни склизком
Все люди бегатели суть...*

Гавриил Державин

*...Куда мы во всю прыть
несемся? В догонялки,
в колдунчики да салки...*

Наталья Горбаневская

– Кры-са! кры-са! – Крысы мячом, крысы на одной ножке, крысы в воде и т.п. – Крысы ногами. – Колдунчики: заморочка с правилами. – Птички на дереве, собачки на земле

Ноги все меньше касаются земли, будто какая-то паутина, прорастая в тебя, держит тебя, и вот рвется, особенно в правом боку. Второе дыхание (а есть, есть еще и третье!). В какой-то момент ты вообще отрываешься от земли. И неподвижный воздух внезапно превращается в ветер, прохладный ветер посреди знойного дня и быстрыми волнами бьется о лицо и холодит руки. А если остановиться – сразу весь вспыхиваешь и горишь, и будешь пылать, пока снова не побежишь, не разгонишься, не полетишь.

Крысы (догонялки)

Крысы, наряду с футболом и клёком у пацанов, прятками у всех, почти никогда не надоедают, и если ни во что не играется, то начинаем в них. Крысы – это всё равно, что салочки, горелки, догонялки, но таких названий мы не знали.

Крыса (водящий) должен догнать одного из играющих и коснуться его рукой, и тогда тот становится крысой и пытается догнать кого-нибудь из играющих. Обычное правило: открывший некоторое время и игры, чтобы отбежать подальше от новой крысы. Играем по всему двору, но иногда ограничиваем поле, например: «За клумбу не забегать!» Главное – умение быстро бегать, затем – уворачиваться и использовать деревья, столы, лавки, грибок или беседку, закруживая крысу.

Уловки стандартные, но срабатывают. Крыса может демонстрировать всем видом, что он или она в данный момент охотится за одним из игроков, а сам(а) незаметно, бочком, приближается к другому, и, когда появляется шанс, неожиданно бросается к зазевавшемуся. Редко применяющийся прием, в основном старшими пацанами, – прыжок рыбка и касание в полете с последующим падением. Это даже на песке, как пузом или ребрами по нему проедешь, все отобьешь и обдерешься еще. А просто на земле – это как было такое выражение: чеши пузо об асфальт.

Крысу все дразнят, на чём часто и попадают. Крыса может придуряться, что ее это не трогает и что он вообще никого поймать не может, так что уже самого крысу пытаются коснуться (высший шик). Тут и попадают. Самое простое дразнить: «Кры-са! кры-са! кры-са!» Долго и громко, пока на месте пацана или девчонки действительно не появляется огромная темная крыса, переминающаяся на задних лапах, шевелящая черным носом с подрагивающими усиками, стреляющая во все стороны маленькими глазами, бьющая о землю коротким толстым хвостом, ощеривающаяся частоклоом острых зубов с блестящей на них на солнце слюной. И вот она бросается сразу на всех. Будто распадаясь на несколько меньших, и от этого очень быстрых, крысят. – А-а-а! – вырывается, почти безнадежное, в предчувствии неминуемого. Вот крыса несется за спиной, и нет мига, чтобы оглянуться, может быть, именно этот миг и решает, жить тебе еще или умереть сейчас. Это-то и значит: жопой чуют! Куда бежать, как и когда извернуться, чтобы уловить пустой хлопок когтистой лапы о воздух где-то у лопаток?

Но, вообще-то, все просто. Выносливая крыса просто тупо бежит за одним из игроков и рано или поздно настигает его. Или подворачивается кто-нибудь, потому что начинают отвлекать, понарошку подставляясь. Быстрая крыса подбирается на нужное ей расстояние и, рванувшись и выложившись в коротком рывке, ловит выбранную ею жертву. Конечно, иногда коса на камень находит. Лобан мог три круга по двору за Горой делать, а Лещинин за Дудиком – до полного изнеможения скакать через стол и скамейки, крутиться вокруг столба и деревьев.

Замаивают в крысы редко, но случается: в основном из-за разницы в возрасте. Девчонки играют с пацанами часто и почти на равных. Во-первых, пацаны начинают рисоваться, и на этом ловятся. Во-вторых, пацан-крыса за девчонками мог только как бы для хохмы бежать, пугая больше, чтобы повизжали. В-третьих, если девчонка немного нравится, специально подставляешься, но чтоб незаметно, а то подкалывать начнут, да и самой девчонке станет понятно, что специально, и обидно станет.

Другие крысы

Крысы мячом. Игра проходит по правилам крыс, но вместо поймать, то есть коснуться рукой, нужно попасть мячом (слово «засалить» мы знали, но не использовали, говорили именно: поймать, попасть). При этом, если в тебя бросают мяч, а ты еголовишь – это *матка*. Эту игру с равным успехом можно назвать вышибалами на бегу. Играют теннисным, небольшим или средним или даже большим резиновым мячом. Как в лапте, крысе тут нужно не промахнуться, чтобы не бегать за мячом, который после броска может вообще укатиться во двор желтого дома. «Отдыхаем!» – говорим в таких случаях, падая на песок, или даже, чтобы поиздеваться, начинаем в козла

между собой играть. Пару раз сыграли в *крысы мячом*, который бьется ногами. Тоска зеленая, потому что постоянно мажешь и только и бегаешь за мячом.

Классные *крысы на одной ножке!* (ногу можно время от времени менять). Долго не поиграешь, потому что все быстро выматываются так, что нога подгибается, но много ржачки. Играют в ограниченном пространстве, а чтобы подольше не выдохаться, делают место для отдыха, где уставший игрок мог (недолго, считая до пятидесяти) передохнуть, стоя на обеих ногах.

Существуют *крысы в воде*, *крысы на льду*, и даже *крысы по крышам* (сарая, гаражей), *крысы в снегу* – в глубоких сугробах, *крысы на песке* – на больших кучах на стройках, вверх по которым, а они осыпаются, карабкаешься, и с которых можно прыгать и скатываться. Была идея сыграть в *крысы на дереве*, но с подходящими ветками так и не нашли.

Крысы могут быть и на месте, без бегания. В *крысы ногами* играют в двух случаях. Зимой, если замерзают ноги. Летом, как во много что, ни с того, ни сего. Стоя на месте, нужно убирать ногу, на которую пытается наступить крыса. Руками не толкаться. Пляска такая выходит.

Колдунчики

На крысы похожи колдунчики, хотя это совсем другое. Колдунчик, как и крыса, должен догнать и коснуться одного из убегающих. Это называется заколдовать. Заколдованный застывает на месте, разводит руки в сторону и не двигается. Только может взывать: «Расколдуйте меня! Расколдуйте меня!» Это значит, что любой еще незаколдованный, коснувшись заколдованного, может снять чары. Последний заколдованный сам превращается в колдунчика. Все сразу расколдовываются. И новый колдунчик снова пытается всех заколдовать.

Правда, если последний из незаколдованных отколдовывает кого-то из заколдованных, то у него появляется еще одна жизнь, – его теперь нужно заколдовывать дважды.

Колдунчики ведут себя по-разному. Кто-то нагло дежурит у заколдованного и ждет, что попадется кто-нибудь, кто попытается расколдовать. Тут кто кого перетерпит. Все могут не рыпаться. И получается: стоит заколдованный с разведенными в сторону руками и орет, пока не надоест: «Расколдуйте...» В двух шагах, демонстративно скрестив руки на груди, торчит колдунчик. В стороне остальные.

– Ты будешь играть или нет?

– А вы будете расколдовывать? – Пока выясняют, у кого терпения больше, игра и развалиться может.

– Фиг с ним! Давай замаем! – Окружаем со всех сторон эту парочку и начинаем дергать. Чтоб белкой в колесе колдунчик начал носиться вокруг спасаемого.

– Есть! Ура! Теперь ты у нас побегаешь!

Поэтому вроде лучше по-хорошему носиться за всеми и всех заколдовывать. Ни фига! Так вообще бестолку. Заколдуешь двух-трех, а они в разных концах. Отколдовать их – раз плюнуть...

«А давайте в колдунчики!» – предлагает кто-нибудь. Всем вроде хочется, но только не маяться. После пары лет, как врубились что к чему, колдунчики стали самой замаваемой игрой. Что делать? Кто-то придумал: заколдованные должны с того места, где их заколдовали, перемещаться на клумбу (цветов тем летом не посадили). Но оказывается, что теперь можно, прорвавшись, всех сразу, кучей, расколдовать. И опять же колдунчик теперь уже вынужден почти только караулить. Попробовали еще играть команду на команду (без собирания заколдованных в одном месте). Что-то в этом было, но кон стал совсем коротким: хват-хват-хват, и все уже готовы.

А главная идея всегда тут была, не замечали просто. Когда играли в колдунчиков, обязательно находился умник-новичок, который куда-нибудь к желтому дому сыгивал. Поэтому по ходу каждый раз договаривались: за дом нельзя, к третьему дому нельзя, к желтому нельзя. Но все равно много места получалось. И вот однажды сыграли от клумбы до дороги у шестого подъезда, от дороги у дома, до склона. Самое то получилось: и заколдованных кучковать не нужно, и отмаяться можно.

Птички на дереве, собачки на земле

Водящий – *собачка* – должен поймать *птичку* – коснуться кого-либо из играющих, когда тот находился на земле. *Птичка* неприкасаема, пока стоит, сидит, висит на чем-нибудь деревянном – хотя бы на дощечке от ящика, не касаясь земли. При этом *на одном дереве две птички не сидят*. Сядешь вторым – маешься.

Постоянное сидение на одном и том же «дереве», обеспечивающее полную сохранность *птички*, правилами не запрещается, но это птичка – сыкун, о чем ей сразу, как только это выясняется, неумолчным хором доводится до сведения. Лихие птички, которые почти и на дереве-то не сидят и всё собачку клонуть норовят, даже не очень удачливые, наоборот, летают под «давай! давай!». *Собачка* тоже не имеет права (хотя правилами это не запрещается) дежурить у одного «деревя». Правда, в случае, если *птичка* сидит на настоящем дереве, обхватив голый ствол руками и ногами, и ясно, что долго она так не продержится, ожидание *собачкой* падения *птички* непередосудительно, и всем поржать можно.

ЯЩИКИ ИЗ-ПОД БУТЫЛОК

*Картина этого дня
Состоит
из бутылок
сдаваемых на приемном пункте*
Владимир Бурич

Пункт приема стеклопосуды. – Ящики. – Перевозка. – Рупь шесть.

В подвале четвертого подъезда находится пункт приема стеклотары – пустых бутылок и банок. Чтобы попасть в пункт, нужно спуститься по лестнице в подвал. Там две обшитые жостью двери: прямо – ржавая – ведет в сам подвал, где жильцы хранят свои запасы солений, варений и картошки, а также всякий ненужный хлам, выкинуть который они по разным причинам не решаются, или вещи, которые могут служить только в определенный сезон.

У нас, например, это старая обувь, какие-то слесарные и авто запчасти, ржавые гаечные ключи, старые чемоданы (в которых как раз и хранится старая обувь), две пары лыж, ласты, отношения пальто, сломанная гэдэзровская детская коляска (моя), велик. Закрученные банки, старые журналы и книги размещаются в бабушкином комоде с остатками наклеек на внутренней стороне (большой портрет царской фамилии, от которого сохранились только куски по краям, почти полностью уцелевшие картинки от мыла и чая, разноцветные кусочки уже не поймешь чего), и в полусломанной этажерке. Банки были трех, двух и однолитровые: маринованные огурцы и помидоры, клубничное, смородиновое, малиновое варенье, абрикосовый, вишневый и яблочный компоты. В отгороженном досками отсеке хранилась картошка: на зиму мы запасали 5-6 мешков.

Направо – белая дверь, ведущая в пункт. Когда он заставлен стоящими рядами под толк ящиками, в нем остается только проход, место для очереди. Постепенно пустые ящики, передаваемые по мере надобности приемщице, которая сидит в окошке за стеной, разделяющей подвал надвое, заполняются бутылками, и теперь уже там, за стеной всё забито. Пустой подвал по эту сторону оказывается огромным, больше обычной большой комнаты в нашей, например, квартире.

Есть еще момент, когда подвал заполнен наполовину, и между рядами ящиков возникают дыры. Само собой хочется это как-то использовать, но все наши попытки затеять там что-то типа крыс или минипряток тут же безжалостно пресекаются стоящими в очереди гражданами под руководством приемщицы.

Но в подвале можно спрятаться, играя в обычные прятки во дворе. Тем более, что через лоток подачи пустых ящиков с улицы можно вылезти во двор, то есть, если водящий спускается в подвал, то надо сразу лезть, как только тот покажется (заранее подставив ящик), никаких шансов у водящего в этом случае нет. Конечно, нужно еще без подозрений для очереди, приемщицы и грузчиков к этому окошку попасть: занимаешь очередь будто для кого-то, кто сейчас должен прийти с полной пустых бутылок авоськой, а потом вдруг лезешь в лоток – под крики очереди, приемщицы и грузчиков. Прокатывает иногда и просто шлангом прикинуться.

Лоток, обитый белой жестью, выходит во двор между четвертым и пятым подъездом. Он имеет створки, которые замыкаются на ночь изнутри. На этом лотке можно сидеть вечерами – помещаются двое. Остальные размещаются на пустых ящиках. Часто весь промежуток от подъезда до лотка заполнен ящиками в несколько рядов, они отделяют нас от двора. Тут рассказываются анекдоты и истории, страшные и просто, загадываются загадки, идет, в общем, треп.

Пустые ящики привозятся со двора продуктового магазина. Сначала на лошади с телегой – летом на колесном, зимой на санном ходу. Затем на мотороллере с грузовым прицепом.

Как только телега появляется во дворе, все игры заканчиваются. Мы прыгаем на телегу – и те, кто постарше, свесив ноги, малышня в середине – отправляемся через двор желтого дома во двор продуктового. Телега трясется, подпрыгивая на выбоинах. Дядя Федя, бородатый возница в потертой плащ-палатке, лысой ушанке с некогда кожаным верхом, болотных сапогах с отворотами (зимой в тулупе), чтобы доставить нам удовольствие, пускает лошадь рысью. Мы что-то кричим, толкаемся. У продуктового, спрыгнув на ходу, мы быстро загружаем телегу пустыми ящиками в три ряда и бежим наперегонки с телегой и друг с другом назад. У хлебного в желтом доме мы бросаем телегу, сворачивая, чтобы срезать угол, на площадку у ателе мод, а телега возвращается по двору желтого дома. Прибегаем мы вместе с телегой. Разгрузив ее, снова запрыгиваем и отправляемся к продуктовому. Ездил и грузовик, но на него нас не брали.

Однажды вместо телеги появляется мотороллер с крытым прицепом. Водитель – молодой мужик. Он сам разгружает ящики. Подходим, рассказываем, как раньше было, и он соглашается. И вот мы уже трясемся, сидя на корточках в полной темноте, кучей-малой, в прицепе. Угораем еще больше, поскольку больше было возможностей для приколов: можно безбидно угадывать по поворотам, где едем, а можно что-нибудь типа перекрестной *пьяной лошади* устроить.

Сам ящик примерно две четверти в ширину, чуть меньше в высоту и три четверти в длину, сколочен из прибитых к угловым брускам деревянных, плохо оструганных планок, между которыми здоровые щели. На торцах средней планки нет, чтобы легче носить. Внутри ячейки для бутылок: три вдоль, четыре поперек, которые прорезы в прорезы скрепляются между собой. Ящики не просто на гвоздях – доски стягиваются жестяной лентой, а иногда на углах наколочены жестяные же уголки. Ящики в основном дохлые, с ржавой жостью и гвоздями, и сами планки тоже как будто ржавые, темные, гниловатые, воняют селедкой, иногда очень. Но попадаются и новенькие, у них стружка в ячейках, стружкой же пахнут, а гвозди и жестяная обивка блестят. Некоторые ящики светлые и прочнее других – березовые.

Самое главное, если не считать смерти в костре и исполнения роли скамейки, что можно сделать из ящика, – это хоккейные ворота. Ящики берутся без спроса у пункта приема. Иногда приемщица или грузчик выскакивают во двор, где мы играем в хоккей, и требуют вернуть, даже если ящики бракованные – без ячеек. Даже такой прикол появился: рупь шесть. Если какую-то дорожную вроде, но только вроде, вещь кто-то что-то нахваливает, то ему издевательски поддакивают: – *Ага, рупь шесть*. Так приемщица, когда выскакивает, всегда орет (помимо мата и неисполнимых угроз): – *Они же рупь шесть каждый!*

Рано или поздно шайба разбивает планки на дне ящика. Потеряв жесткость, он перекособочивается. Очень трудно удержаться от того, чтобы сверху ногой не ударить. Бывает, что просто со скрипом сложится, а бывает, что с коротким скрежетом весь рассыпется. То же, между прочим, случается, если высоко подбросить целый ящик так, чтобы он точно одним углом упал на асфальт. Но сколько их надо покидать, чтоб удачно вышло!

Ящики с бутылками грузчики грузят на машину за домом. Там еще одно окно, на уровне асфальта, створки которого открываются, и по покатоному, покрытому будто резиной, но скользкой, настилу ящики тащат вверх специальными крюками.

Есть еще ящики железные, из очень толстой закаленной проволоки, – из-под молочных бутылок. Их зимой приносим от молочки для катания с горки. Ценятся и фанерные ящики из-под посылок. Из них получают фанерки тоже для катания с горок. А вот картонные ящики годятся только, когда фанерки нет, а кататься на чем-то надо, да для костра. Правда, как-то устроили из них что-то среднее между доспехами и роботами, сделав дыры для рук и прорези для глаз и надев их на себя. Смотрится весело, а внутри тяжело, душно, неудобно и видно фигово.

НЕНОРМАЛЬНЫЕ И СО СТРАННОСТЯМИ

Гуляет девочка дебильная...

Александр Еременко

Идиоты хорошие в общем ребята

Генрих Сапгир

Нюра-дура. – Костя-дурачок. – Люба-дура. – Доценки. – Алкаши. – Глухонемая Евстифеева. – Коля-Попрыгунчик. – Баба Акулина.

Вы дразнили психов и ненормальных? Подкалывали над всякими со странностями?

Подъезды в доме (кроме нашего шестого) моет Нюра-дура, глухонемая тетка, по-детски, так старуха. Она одевается в длинную юбку и темную, но цветастую кофту или длинное платье, тоже в темных цветах, иногда вдруг появляется опять же в цветастом, но светлом и ярком.

– Нюр, праздник какой? – спрашивают взрослые во дворе.

– М-м-м! – смеется и кивает, что поняли. Даже пытается объяснить, какой именно.

Длинные черные волосы с сединой она собирает в косы, а косы укладывает узлом на затылке. Волосы все время растрепываются и разметываются. Двигается она суматошно, резко, будто током время от времени ее бьет, размахивает руками, когда идет, и широко ставит ноги. Она мычит, и ее мычание иногда становится почти словами – взрослые ее вроде понимают даже иногда. На ее лице, сплошь в крупных и мелких морщинах, бывают только два выражения: извиняющаяся и в тоже время беззаботная улыбка и запределный гнев. С первым она ходит всегда и общается. Второе выражение лица появляется у нее при виде нас. Потому что, когда она появляется, мы хором заводим: «Ню-ра – ду-ра! Ню-ра – ду-ра!» Она сначала что-то грозно мычит, затем делает вид, что сейчас бросится за нами. Мы отбегаем и продолжаем. Тогда в ярости она действительно бросается за нами, а мы в ужасе, ловя от него кейф, убегаем от нее. Он хватает камни с земли и бросает их нам вдогонку.

При случайной встрече один на один в подъезде, на улице надо, улыбаясь, но не слишком, чтобы не подумала, что над ней смеются, как ни в чем не бывало сказать: «Здравствуй, Нюра!» – и пройти мимо. Она мычит в ответ, иногда пытаюсь, видимо, прочесть что-то вроде нотации. Если же испугаться, замешкаться, постараться проскочить незамеченным, то можно нарваться. Говорят, были случаи, когда она ловила мелких пацанов. Так как она занимается физическим трудом, то она чрезвычайно сильна. Вырваться от нее невозможно. Правда, никто не утверждал определенно, как она наказывает пойманных. То ли надирает уши, то ли лупит, то ли просто стыдит попавшихся мыком.

В третьем, четвертом и пятом подъездах всегда воняет саками. Третий и четвертый – проходные с заколоченным входом, а в угловом пятом – темная ниша под лестницей на первом этаже. Впрочем, второй тоже проходной, но там следят, что ли, лучше, и не воняет. После нюриного мытья запах не исчезает, а от сырости даже делается резче.

Про нее считается, что она богатая. Дом ее – за поселком, у железной дороги. Своему сыну,

нормальному, она купила машину. Она моет полы в целой куче домов, с утра до ночи.

Костя-дурачок живет в доме, стоящем углом к овощному. Время от времени он появляется в нашем дворе, либо мы натыкаемся на него во время шляний по поселку. Он косой, с жидким бесцветным чубчиком, ходит слегка подволакивая правую ногу, голова при этом склонена налево, трясется, руки подняты к груди, одна над другой, и тоже трясутся. То выставляет крючком указательные пальцы на обеих руках, будто пытается кого-то в чем-то убедить, то ковыряет всеми пальцами ладонь. Когда он останавливается, то ладони обычно поднимаются к лицу, и он бегаёт пальцами по подбородку, губам, щекам, носу, будто проверяя, всё ли на месте. Он мычит от какого-то вечного кейфа и пускает слюну изо рта, иногда и сопли. Его не дразнят, если не считать задавания вопросов, на которые он всегда одинаково радостно что-то гугукает. Над ним смеются – и вообще, и над «ответами». Вопросы типа «Костя, хочешь мороженого (жениться, выпить водки)?» Когда смеются вокруг, он становится еще счастливее. Но может и испугаться непонятно чего, сморщиться и захныкать, закрыть руками голову и даже, завыв, убежать.

Говорят, что он с удовольствием играет с детьми в песке, когда привыкшие к нему дети из его или соседнего двора его не гонят. Рассказывают, что он был нормальным в детстве, а потом ударился головой о батарею центрального отопления и стал дурачком. Ему где-то в районе тридцати.

Соревновались, кто точнее его изобразит. У меня вроде получалось смешней всех.

Где-то в глубине поселка живет еще Люба-дура – тихая умалишенная, которая прогуливается всегда вдвоем с матерью, мелким шажком. У нее лицо дулей, одновременно и детское, и старушечье. Мы ее не дразним, но впоследствии я узнал, что дразнили пацаны с *того конца*: «Люба-дура! Дай! Дай!»

В нашем дворе настоящих психов нет, но ненормальные, тронутые и со странностями водятся.

В четвертом подъезде вдвоем с матерью в комнате коммунальной квартиры на первом этаже живет Борька-маляр, который всегда улыбается, и может подолгу, обстоятельно и серьезно обсуждать с соседями, почему у него нет невесты, а надо бы уже.

В этом же подъезде на четвертом этаже живет безногий ДядьКоля. Трезвый, это мрачный злобный тип, подолгу скандалящий с женой и соседями, так что во дворе все хорошо слышно. В подпитии катает весь двор на своей «лягушке» – инвалидной двухместной машине с откидывающемся верхом, которую мы заполняем и облепляем, и она зигзагами, рывками, урча и чихая, подпрыгивая на люках и тычась в бордюры, едет от четвертого подъезда к первому.

Жившее напротив нас семейство Доценко тоже со странностями. Во-первых, у них все время идет ремонт – отец семейства считается мастером на все руки и делает идеальный ремонт. Он имеет прозвище *Любезный*, потому что ко всем обращается именно таким манером. Из квартиры почему-то всегда идет жуткая вонь. Во-вторых, кто-нибудь из женской половины, а то и сразу двое – жена Любезного или одна из двух дочерей – сидят у кухонного окна и целый день смотрят во двор.

Кроме дядьКоли есть еще несколько алкашей, выделяющихся на общем фоне. Тихий Ковш, сосед Дудика по коммунальной квартире, отец Верки из пятого подъезда – моего первого девчачьего друга, – его обычно приносят домой, так как он имеет обыкновение вырубаться где попало. Отец Коваля, о котором говорят, что он закончил два института, был изобретателем и вообще по части математики, но водка его сгубила.

Репутацию беспутной особы имеет мать-одиночка глухонемая Евстифеева из пятого подъезда. Однажды маленькая Оля – ее дочка – в песке повалила на себя Жорика и стала имитировать совершенно определенные, с точки зрения двора, телодвижения. Это было совершенно однозначным свидетельством глубины падения ее матери. В том же подъезде жила девушка Люда, носившая мини-юбку с капроновыми чулками, красящая глаза и губы, и вечером все время куда-то уходившая через двор с такой же, как она, подружкой из другого дома. Тут все тоже ясно.

Коля Кульков, старший брат Кулька, учится в третьей вспомогательной школе, то есть в школе для умственно отсталых детей. Он заикается и моргает. Иногда часто, иногда почти не. Случается, что к морганию и заиканию прибавляется переминанье-подпрыгиванье на месте, и голова еще дергается. При этом он начинает, если что-то хочет сказать, брызгать слюной, а кончик языка

выскакивает наружу и выходит настоящий пук. И руками как бы колени почесывает. На прозвище Попрыгунчик Коля страшно обижается и готов драться с обидчиком. Он общается с нами, хотя на три-четыре года старше, поэтому нам звать его Попрыгунчиком опасно, хотя за глаза иначе его не зовем. Пацаны постарше – его нормальные ровесники обзывают его без последствий и даже специально поддразнивают – в нашем присутствии, и тогда можно включаться и нам – под их защитой. В этом случае Коля убегает домой, сжав зубы, а потом может нам поодиночке мстить. Правда, если пойманный мстителем обидчик убедительно в смысле унизости извиняется, то Коля сразу отходит. А бить кулаками в корпус у него получается очень костляво, больно, хотя меру знает – не дай бог пожалуешься родителям, а те его родителей: Манька, его мать, конечно, наорет на жалующихся, но потом отец Кольку обязательно отлупит. Главная дразнилка простая: – Коля, где солнышко? – Дело в том, что во время своего припадка, он поглядывает и жмурится на солнце. Эти движения – потирание колен, подпрыгивание с судорожными поворотами головы к солнцу – копируются и молча, и это тоже дразнилка.

Коля играет с нами во всё фактически на равных, но он раздражителен и опасен: в футбол он куется, в клёк может засветить палкой, в хоккей – клюшкой. И не поймешь, нарочно или нет. Он не жилит, а сразу начинает толкаться: после несправедливого, по его, момента, игру лучше всего прекращать совсем или чтоб старшие выгнали его из игры. Поэтому, наверно, тоже, а не только так просто, мы его достаем.

Наиболее странная, конечно, бабушка Акулина, или горбатенькая бабушка. Она меньше всех старушек, которые сидят во дворе. И она – шептунья, знахарка. Для нас всё это означает: ведьма, колдунья. Правда, мы думаем, что ведьмы – это выдумки, и не очень боимся.

В четвертый подъезд много незнакомого народу ходит: в ЖКО, в пункт приема стеклопосуды. Кто к ней – поди разберись. Да и взрослые об этом помалкивают. Но вот по два раза на день стал туда нырять Валера из третьего дома. Красавец-парень, как все говорят, но у него страшные чирьи и экзема на спине, шее и руках. Летом он ходит в модной белой нейлоновой рубашке, но шея вся обмотана темно-синим платком. Кроме того, на руках он носит тонкие кожаные черные перчатки, как будто у него вместо рук протезы. Уже следующим летом, после того, как он стал ходить к бабе Акулине, он перестал носить перчатки и шейный платок.

А когда ее хоронили, процессия была очень большой, до конца овощного: сначала все старушки со всего поселка, и дальше уже большой хвост разных людей.

СНЕГ

Снег идет, снег идет.

Борис Пастернак

Уж ледяные свищут бомбы.

Уж вечер. В зареве снега.

В сугробах роя катакомбы,

Мальчишки лезут на врага.

Николай Заболоцкий

Снежные браслеты. – Пещеры: у гаражей, у дома. – Снежные приколы. – Обстреливать. – Снежная баба. – Снежная крепость и снежки.

Когда долго возишься в снегу – играешь в снежки, лепишь снежную бабу, строишь крепость, роешь пещеру, – то, как не притыкай варежки к рукавам, в какой-то момент обязательно появляются снежные браслеты. Запястья от пульса к щиколке-на-руке сначала обвиваются, облепляются в обе стороны невидимой изморозной чешуей. Потом начинается ёлочно-игльчатое вползание

холода внутрь руки. И вот уже все там насквозь пропитывается сосулочной, цельноледяной стужей. Кисти становятся чужими как отлеженные. Растираешь, с трудом крутя себе *крапиву*, попеременно правой и левой: возвращаются иголки, теперь больно, а когда замораживалось, только ныло, чешуя тает. А как растает, баслет становится огненным, вспыхивает и горит.

Снежная пещера

Настоящая *пещера* – это не каждую зиму. Надо чтобы намело выше нас ростом на стену дома, а убирать у дворников уже не получается, или – на торцы гаражных ниток под самую крышу. Правда, у гаражей через нитку ставятся на зиму лодки, которые всегда заносит снегом. Лодки перевернуты и стоят на опорах. Можно прокопать ход вниз и пролезть на животе внутрь. Получается тоже пещера, хотя снежная не полностью, только пол и на пару четвертей от него. Под *гулянкой* можно хоть вдесятером сидеть, под катером – троим уже тесно. Чтобы снаружи не засекли (кого-то, рассказывали, хозяин «Прогресса» накрыл, и по полной программе: за уши, к родителям, те – ремня), вход нужно заложить заранее запасенной глыбкой из слежавшегося полуледяного снега. Тогда в пещере становится темно. Поэтому со стороны гаражной стены проковыриваются дырки в снегу наружу наверх, чтоб хоть немного посветлей было. А как-то со свечей сидели. Главный кейф в том, чтоб прокопать проход, залезть и сидеть там, то есть в такой таинственности самой по себе. Ну, иногда в войну, но быстро надоедает: сколько можно «партизанам» от «фашистов» прятаться, чтоб это интересно было?

У настоящих снежных пещер хозяев, от которых надо прятаться, нет, сами хозяева. И главное, копать надо не только проход, но всю пещеру. Нанесет валом, склон должен не прогибаться к стене, а выгибаться от нее, чем круче бугор, тем более экзотическая пещера выходит. Тут, конечно, само копанье важно. Копаем попеременно или с двух сторон, навстречу (кто больше выкопает, кто первый переборку проткнет), чтобы потом один из входов заложить. Отверстие входа должно быть узким – чем уже, тем лучше. Это исключительно для понта: еле протискиваешься – зато внутри чтоб просторно! Варежки и колени быстро намокают, поэтому с одного захода пещера может и не выйти. Полчаса покопаешь – уже забраться можно или даже сесть троим, и на сегодня всё. Потом расширяем. Готовая пещера получается большой и светлой. Снег, выкинутый изнутри, осторожно, чтоб потолок выдержал, набрасывается наверх.

Когда бесполезность пещеры вдруг становится очевидной для всех, ее разрушают. Разбегаешься и прыгаешь – ногами так, чтобы провалиться по грудь, если не по шейку, жопой, проваливаясь вниз, но как с подушкой под.

Только один раз пещера обрушилась, засыпав нас. Но это особый случай. Гараж Гóры на стыке: им заканчивалась высокая часть полунитки, а потом здорово ниже был другой гараж. Как-то навалило свежего снега, и на этом стыке получился нанос. И мы стали копать, причем уже не малыши были. То ли копали безумно, то ли снег не успел уплотниться, но как раз заканчивали – все внутри, роим на коленках, и вдруг п-пух! беззвучно, но как волна воздушная от пронесшейся совсем рядом машины. На секунду темно, тяжесть, но не сильная, сверху и с боков, ровная, и не дернешься. А потом напряжешься и сразу встаешь фонтаном таким. И рожи в снегу, и за шиворотом аж до под лопаток.

Снежные приколы

Снег разный. Если пух – все снежинки маленькие и отдельно, то его хорошо с деревьев трясти или валенком направленные взрывы устраивать. Стоит народ под деревом, бац по нему ногой – снежный душ получается, самому – или отбегать, или наоборот вбегать, как захочется. Или стоит кто у сугроба – валенком резко загребешь, и сразу еще, еще – снежная волна получится. Снег под корочкой: если средняя, то такие диски получаются, которые просто в воздух запускаются (друг в друга не кидаться!) или как блины по всей поверхности, покрытой корочкой, пускаются. Если очень крепкая, то по ней ходить можно, не проваливаясь. Идешь, идешь, не проваливаешься, и вдруг бах – провалился по колено. Самое то – это когда не мокрый, но спокойно лепится. Это

значит, что пока он такой, да еще свежак падает, нужно успеть: в снежки, снежную бабу, а то и крепость сварганить, на меткость побросать – в столб или дерево, на дальность. А еще в вышину. Почему-то никогда с почти глухой стороны дома (где у нас окно маленькой комнаты) в вышину не бросаю, а прямо из двора, что чревато, потому что только у взрослых пацанов получается на крышу дома забрасывать, а мы только до четвертого этажа в лучшем случае. До первого окна, конечно, в смысле попадешь вскользь, и хоть и не разбивается, но сразу вопёж и все такое.

Обязательно вечером в сквере у продовольственного *обстреливать*: кидаться в больших чувих (и чтоб они без пацанов, тоже больших). Самое то – когда снежоп получается. Однажды засветили в «башню», – голову так тогда уже называли, но еще так специально называлось модное сооружение на голове: здоровая шишка из шиньона под мохеровым шарфом. Почти тетке, на каблуках и в дубленке. Четко, резко, крепеньким, видно. Такой причесон делается долго, лаком опрыскивается, шарф прилаживается... «Башня» набок, руками она за нее, пригибается, орет, всё разваливается.

А вообще, кто кроет, даже догнать пытается, кто с мелюзгой не связывается (всем видом это показывая), кто ускоряется, чтоб побыстрее сквер пройти. Только один раз вдруг отстреливаться стали. Три чувихи класса из десятого. И не со злобой, а как-то так лихо и весело, и попадая, главное.

Еще валяться в снегу. Просто берешь и плашмя в сугроб валишься. Или кого-нибудь валишь – и бороться. (Потом уже исключительно девочек-ровесниц валяли.)

Снежная баба

А главная программа вот такая.

Лепится? Спрашиваешь, выходя во двор. В смысле нормально лепится или не очень, потому что уже из окна понятно, что лепится. Но одно дело – долго мять-тормбовать в ладонях, а то бывает ваще – только голыми руками, без варежек, чтоб подтаял от тепла ладоней. Другое дело – когда на раз лепится. И вдобавок его много. Такое бывает нечасто. Совсем по-настоящему, может быть, лишь три-четыре раза за зиму. А уж чтоб в воскресенье, когда не надо в школу! В каникулы-то безнадёжно: всегда рождественские морозы, и, бывает, что каникулы никак не могут закончиться из-за того, что морозы не перестают, начинаются крещенские, и с первого по четвертый, а то и по шестой в школу не ходят. Случается, правда, что похолодание перед седьмым ноября, а оно постоянно бывает, приносит снег. Он падает, сначала сухой, к вечеру теплеет и начинает лепиться. Тут, что называется, лови момент. Потому что к десяти замерзает, а к полудню следующего дня начинает таять.

Сходу, не сговариваясь, начинаем катать снежный ком. Каждый свой. Вся площадка, которая зимой поле хоккейное, сплошной сугроб, почти по завороты валенок. Слепляется плотный снежок, на корточках, и гонишь его ладонями. Сначала каждый оборот делает снежок в два раза толще. Потом растёт помедленнее. Вроде все заняты своими комьями, на других не смотрят, а на самом деле – наперегонки: кто быстрее скатает, кто больше. От спешки вон у Рябчика какая-то груша вместо шара получается. Все ржут. У меня вообще пополам развалился, не здоровый еще, средний. Потому что надо все время уплотнять и обтесывать, а не как я – быстро, но рыхло, стал подправлять – он и треснул. (То же бывает, если под снегом кочка окажется, даже если ком плотный, а ты его катишь с силой для плотности.) Опять ржем. Каждый прикинул свой участок и там катает, к соседям не лезем, на всех снега хватит.

Но уже после первого кома выясняется, что фиг-два, вся площадка выкатана и вытоптана, надо на склон переходить или за клумбу. Вариант – по пропущенным полоскам или даже там, где под верхним слоем еще половина такая же осталась, катать. Не вариант, а что делать? – к соседу залезть. Но пока ругаться будешь, к тебе уже с другого конца лезут. Так что уж лучше сразу перекатываться на склон. И уже оттуда, тоже наперегонки, катить. Гора быстрее всех – а от кома четвертинка откалывается, нужно прилеплять на место и катить уже осторожнее, потому что не цельный, слепленный.

Если кто-то не рассчитал, не оставил снега у первого кома, устанавливаемого в центре своего участка, то теперь, когда второй готов, выясняется, что нужно снега натаскивать, чтобы снизу ком закрепить. Или обтесывать сильнее, чтоб кусками и крошкой закреплять.

Я не отстаю, но продолжаю катать первый, а у всех уже есть. И Рябчик все первый катает. Мой уже больше чем по пояс, катать трудно, зато он из-за своей тяжести и по второму, и местами по

третьему кругу недобранный снег забирает, иногда с землей даже.

- Давай, мой первый, твой второй! – кричу я Рябчику. Он останавливается.
- А что если на твой здоровый мой поменьше поставить? – спрашивает, как не услышав.
- Это ты здорово придумал, – говорю я.

Я качу свой на границу участка, начинаю закреплять. Буржуй подкатывает свой. Я стесываю верх и делаю в нем ямку, чтобы поставить второй. Народ врубается. Смотрят на нас.

– Давай твой на мой, – предлагает Кулёк, – а сверху Рябчика. У Кулька, по-моему, меньше, на полчетверти где-то. Он бросает свой второй, подкатывает свой нижний.

- Мой, – говорю, закреплен уже, – да и побольше.
- Нет, такой же. Но раз закреплен, давай мой на твой.

Кулёк нагибается, обхватывает ком, чуть подымает, застывает на секунду. И ком выскальзывает у него из рук. Но не раскалывается, потому что низко поднял. Пробуем поднять вдвоем. Тяжелый. Выскальзывает, гад.

Гора подгреб. Молча берется, обхватывает, поднимает... Держит, сжимая все сильнее, но вверх не идет. Все лезут, крики, бестолковщина.

- Опускаем! – выдыхает Гора.

Ставим. Бока ободраны, справа вмятина. Заделываем. Тетёня подкатил свой комок, поменьше кулькового.

- Надо, – говорит, – ступеньку сделать. Ставит свой рядом и ногой раскалывает.

В общем, сделали горку, для чего пришлось еще второй кульков раздолбать. Закатили по ней второй на нижний. Укрепили.

- Ништяк!

А голова уже готова – рябчиков комок. Прикинули, если сделать площадку на верху горки, встать на нее, то голову установить можно.

Гора с Ковалем в стороне – что это они делают? По два комка уже поставили друг к другу и еще катают. А там еще Дудик подошел, тоже большой докатывает за клумбой.

Проковыряли в голове дырки: побольше и поглубже посередке, две повыше и поменьше, внизу – длинную. Установить дали мне, и я все боялся, что потеряю равновесие и, падая вперед, свалю на фиг.

- Мордой к себе! – командуют снизу.

Тетёня погнал за дом за дорогу в сарай – головешки искать. Я пошел домой кланчить морковку. Кулёк полез укреплять.

Тетёня, чумазый, приволок два обуглившихся бревна. Мать выдала мне морковищу. Я опять лезу, снизу снег подают, закрепляю морковку. Наскребли угольков – вставляю глаза, рисую рот.

- Кейф!

У Горы с Ковалем уже второй ряд пошел... Это ж крепость!

А чего у снежной бабы не хватает? Рук! Пять минут две сардельки скатать. Горку разбили, укрепили ноги. Остальное утоптали. А прикрепить руки, чтоб держались, трудно: сильно к корпусу не прижмешь – разваливаются. (Правильно: вокруг подходящей палки руки налепить, сделать в коме отверстия и туда вставлять, а после снегом уже залеплять, это потом всегда так делали.)

Откуда-то возник старый веник от дворничихиной метлы. Его тоже к руке надо приладить. Руку на время отломали, вставили веник. Снова приделывать. Кто-то из теток (!) детское ведро принес и какой-то старый зеленый шарф. Снова ступеньки строить?

- Давай поддержи, а ты ставь, – подошел чей-то отец, поднял Тетёню с ведром и шарфом.

Смотреть собрался весь двор. Кому-то, конечно, не то, чтоб рот неровный – то ли плачет, то ли улыбается, кому-то – морковь не красная (она, действительно, рыжая какая-то, зато во какая), да шарф грязный, и метлу надо бы целиком, а не обглоданный кусок. Но какой-то малыш аж завизжал от восторга, когда подошел к родителями. Ручонкой хватает: «Дай, дай!» – требует.

Снежная крепость

Крепость тем временем уже из семи комков снизу, пяти во втором ряду. Но что-то пацанов почти никого. А-а, обедать. И варежки хоть выжимай – менять надо, и колени на штанах все

мокрые. Быстро, – главное, чтоб без тебя самое главное не началось.

Выходишь, а крепость уже готова. Но что-то никого. Рябчик появляется. Снеговика проходим, до крепости – шагов десять. И оттуда – Гора, Коваль, Кулёк – залп, сразу второй, третий – по нам. Крепость в два кома вышиной, но край неровный – три полувыступа, чтоб, значит, прятаться, не нагибаясь. По бокам заворачивается аж на два комка. Может, и сзади что есть. Выходят еще Васёк и Тетёня. Наделяем снежков про запас. На левую прижатую руку штук пять. Один в правой – и вперед. Даем залп за залпом, так, чтобы не высовывались, пацаны продолжают, а я бегу со здоровым лаптем и бросаю его, подбежав вплотную к крепости, внутрь, и еще срубаю туда же один из зубцов, и назад.

– Нечестно! – орут. Значит, достал. Мы вроде проигрывали совсем, да еще и кусок крепости вручную ковырнули. А они меняться местами предлагают. То есть показать хотят, что они тоже что-то могут. Значит, еще не показали!

Вчетвером в крепости тесно, снегу для снежков мало – на полу почти весь утоптан. Не сговариваясь, отламываем верхний боковой ком, даром что не сами катали, и ногами разбиваем, куски в снежки превращаем.

– Готовы? – кричат они нам.

– Готовы!

А они с гиканьем несутся на крепость безо всяких снежков. Мы бросаться. А они уже тут – ногой вперед! Но с ходу не расшибли! Они что думают? Мы от них рванем? Или права качать будем? Крепость-то они строили! И мы тут же ее раздалбливать вместе с ними. Это уже как в войну с воображаемыми «немцами». Через пять минут только бугры остались, а нас хоть выжимай. А еще выясняется, что уже почти стемнело.

Утром три больших бугра, отдельно зеленая тряпка и веник – все, что осталось от Снежной Бабы, только ведерка почему-то нет. Вот так всегда, сколько раз проверено: кто-то приходит ночью и ломает Снеговиков, даже таких, которые всем двором делаются.

НОЖИЧКИ

*На этом свете есть игра такая:
Очертят круг, и вот тебе земляца,
Ткнут в нее ножик, проведут границу –
И выбирай: какую половину,
Ту или эту? Эту? Перепрыгни.
Вновь ножичек метнут, ломоть отрежут:
Какую – выбирай? И так, покуда
Останется такой клочок, что даже
Двумя ногами на него не ступишь:
Качайся на одной ноге, как цапля.
Но и его измерят и разделят.*

Григорий Кружков

...Гришка с отцовым ножом.

Сергей Стратановский

Вещь. – Слоновые яйца качать. – Еще разные ножички. – Города. – Ножички (игра). – Стругать, метать... – Печальная концовка.

Во втором ящике гарнитурного темно-лакового серванта – пластмассовые коробки: розовая с пуговицами и бежевая со шпильками, иголками и булавками; транзистор «Сокол», запасные кроны к нему, фотоаппарат «Киев», трое ножниц, включая почерневшие сильно магнитящие «Зингеръ. 1912», вязальные спицы, отвертка со сменными насадками, велосипедные ключи. На

дно ящика постелена старая мамина выкройка.

И – ножичек, восемь лезвий. Два главных – побольше и поменьше, открывалки – бутылочная, она же отвертка, похожая на собачью морду, и консервная, как коготь. Ножнички. Пилка для ногтей. Это все утопышами по трем отделениям. Снаружи, в специальных ложбинках на углах боковин – штопор, бугорчато на глаз, а на ощупь как ребра у плетки из проводков, и шило, заподлицо. Боковины перламутрово-изумрудные. Секретная пластмассовая зубочистка и продолговатое кольцо с утолщенного края, в «жопке».

В землю втыкается плохо. Стругает что гладит. Завинчивать или открывать – что? Ногти подстригать? подтачивать? Шило и штопор открываются посередке, надавишь, деревяшку там продырявить, посиленей и, если чуть вкось, сразу складываются, и палец можно прищемить.

Но хоть десятый раз выносишь, все равно. Подержать в руке, взвешивая, даже к уху вроде таща как послушать: «Тяжеленький!» – это Коваль. Распопырить все лезвия, в разные стороны, держа как живого жука-носорога или рака за панцирь: «Вещь!» – Лобан. Слон выпускает два лезвия и штопор, сжимает в кулаке. Штопор высунут между пальцами, по бокам торчат лезвия. Крутит и тычет воздух. Гора прикидывает, как будет смотреться, если на шею повесить. Кулёк достает свой с двумя лезвиями: «Спорим, что...» Ну там, лезвие у тебя меньше наклонится, чем у его ножа, если вставить в трещину на столе и сгинать в сторону. Кто-нибудь ножницами или пилкой пипиську изобразит.

Из больших пацанов Булавин запросто в карман положит и пошел. Главное, не бежать за ним, не ныть «отдай, а то меня отец убьет». Но молчать тоже нельзя: смотается, а потом: «Какой ножичек? А-а, этот? Ты же мне его сам отдал». И нельзя на это что-нибудь типа: «Ты лезвие не закрыл. Смотри, яйцо отхватишь». Конечно, если другие большие есть, особенно Буланов, Баранов или Никон, то вроде как можно: заржут и все на этом. Но может начаться слово за слово. Не начнется, молча вернет – за тобой у него будет, отыграется. А свои глядят, вывернешься?

Кричишь: «Правый карман!» Хотя на карман и не спорили, и все это понимают, но сразу всем, и Булаvinу в том числе ясно, что так, как он, не делают. Уйди он сейчас с ножичком, у меня теперь есть право, чтоб другие большие заступились потом, или даже отцу (здорово попасть за такое не может) пожаловаться, не становясь «папенькиным сыном». Зачем это ему? Он же только – усекли? – подколоть хотел, все равно бы вернулся.

Сначала ломаются ножнички. Отламывается пружинка, которая, на самом деле, совсем не пружинка, а стальной усик, прикрепленный к одной ножке и свободно скользящий по желобку в другой. Потом – зубочистка, снаружи она торчит на месте, но это только видимость: вытягиваешь ее за еле заметный заусенец, а там только половинка. Потом – штопор. И грязь набивается в отделения, врастает в трескающийся и отламывающийся по кусочкам перламутр. Выносить больше нечего. Главное теперь, чтоб ножичек без шума переместился в чемодан с инструментом в ванной. Он перемещается. Никто ничего не говорит. Выносить – нечего, но носить еще можно. Затачиваешь о брусок. Но все равно туповатый. И тут большое лезвие ломается. Теперь и носить нечего. (Две коробки пистолетных патронов в чемоданчике за ванной – это интересно, но пока почему-то не просятся быть вынесенными.)

Слоновые яйца качать

На песчаной куче делается кон вроде торта в пару четвертей длиной-шириной и с полчетверти вышиной. Круг должен быть плотным, из сырого песка. Вокруг кона садимся на колени, на корточках, по-турецки. Можно играть вдвоем, но лучше человека четыре-пять.

Сначала, в пробном коне, выясняется, кто за кем будет бросать в коне основном. Каждый бросает за *жопки* или за *носки* так, чтобы ножичек воткнулся в «торт». Ошибся первым – в игре будешь последним. Первая рука у того, кто не ошибся. Остальные посередине – кто на что навтыкает.

Играют или каждый своим ножичком, или чаще одним, самым для песка подходящим: чтоб

не перегибался пополам (если складной), чтоб ручка сильно не перевешивала, а то, втыкаясь под углом, будет все время падать, но и не была легкой, а то вообще втыкаться не будет.

Первый круг бросают за *жопки* – самый простой способ: нож берется большим и указательным пальцами за конец ручки и бросается лезвием вперед. Затем бросают за *носики* – нож берется так же, но за конец лезвия, он должен перевернуться в воздухе один или больше раз и воткнуться. Бросок считается удачным, если нож втыкается в любую часть круга, и под его ручку проходят два пальца.

Дальше сложнее. Могу перепутать точный порядок и сомневаюсь в некоторых названиях, но примерно это выглядит так:

- *ладошки*: кидают с разжатой ладони, носик ножа глядит в одном направлении с большим пальцем, резкий поворот ладони – и нож летит в кон лезвием вперед;

- *трамплинчики*: могут быть передними и задними, в обоих случаях нож укладывается вдоль тыльной стороны ладони и подбрасывается в воздух; передние – лезвие у ногтей и оборот в воздухе, задние – лезвие к запястью и полоборота;

- *вилочки*: нож кладется и бросается как в *ладошках*, но с двух – указательного и среднего – пальцев, разрешается их растопыривать, мизинец и безымянный зажимаются большим;

- *рюмочки*: кисть складывается как будто крепко держишь всей пятерней небольшой стакан, и нож бросается сверху – как в *ладошках*;

- *кулачки*: то же что *ладошки*, *вилочки* или *рюмочки*, только бросок с внутренней, повернутой вверх, стороны кулака.

Потом делаются, отрабатываются части тела. *Пальчики*: нож носиком ставится на палец (по очереди на каждый) левой руки, указательным пальцем правой руки, удерживавшим его в этом положении за *жопку*, делается толчок так, чтобы ножичек начал вращаться. То же самое делается: с запястий – *щиколки*, с локтя – *локотки*, с плеча – *плечики*. Далее в качестве подставки используется большой палец левой руки, прижатый к правильному месту: с ключиц делаются *ключички*, с подбородка (пошла рожа) – *бородки*, и даже с губ – *губки*, зубов – *зубки*, носа – *носики*, щек – *щечки*, лба – *лобики*, бровей – *бровки*, ушей – *ушки*. Можно пробивать верхнюю и нижнюю губу по отдельности, также как и все, что по два. Кроме того могут включаться *реснички*, а после *волосиков* – *пупки* и *коленочки*.

Волосики (после *ушек*) меняют способ: лезвие ножа плашмя прикладывается к чубчику правой рукой, большой палец поддерживает его со стороны лба, четыре остальных с внешней стороны. Резким движением руки ножичек бросается вниз так, чтобы крутанулся полоборота.

В конце игры надо «взлетать» над полем. Сначала идут *вертолетики*: стоя и держа нож за носик, игрок на высоте груди водит его из стороны в сторону, как летая, затем с дергом, чтоб вертелся, отпускает его. Оборотов может быть много. *Самолетики*: как *вертолетики*, только наравне с головой. И дальше – *бомбочки*: нож висит в руке вниз острием, не ниже носа, и надо, чтобы в полете он прошел через кольцо у пояса, сделанное большим и указательным пальцем левой руки.

Предпоследний «ход», по которому игра называется, вот какой: держа нож за *носик*, надо водить его *жопкой* по кону, при этом приговаривая *слоновые яйца качать*. Произносится это слегка нараспев: *сло-но-о-о-вые я-и-ца ка-а-чать*. На очень коротком, подрубленном последнем слогe нож подбрасывался вверх от кона и должен, перевернувшись раз или два, воткнуться в кон.

Заканчивается все *выбиванием*: пять или десять раз подряд нужно выбить простые за *носики*.

Играть можно на шелбаны или пивяки либо просто так.

Кон после пары серий разбивается и разрыхляется, его подправляют и ухлопывают ладонями. Если нож втыкается под сильным углом – проверяется, чтобы под *жопкой* проходили два пальца.

В *слоновые яйца качать* много не намаркитанишь: попадать надо. Конечно, жият: проходят два пальца, не проходят? сбили тебе руку или нет? попадешь в край кона – это значит в кон или мимо? А чьи два пальца? Того, кто бьет? Но у Рябчика и Тетёни разница большая. Кто-то один мерить будет? Тогда кто? Что значит «сбить руку»: сказать что-нибудь под руку вообще или специально, типа «не попадешь»? Или если своей рукой махнешь, сбивая руку бросающего, – опять

же над коном или вообще? Бывает, что большинство видит все по-другому, чем вырвавшийся вперед: у него вдруг чаще два пальца не проходят или за коном втыкается, его чаще штрафуют (один «ход» назад) за то, что руку сбивает. Но это все не главное. В *клёк* вообще можно ни разу не попасть, а маяться никогда не будешь. Даже в *картошку* будешь в самом конце садиться, хотя руки не тем концом вставлены. А тут как раз все ясно – тем или не тем.

Ножичек есть у каждого пацана. Чаще всего – складной с двумя лезвиями, за семьдесят копеек. Иногда – с тремя или четырьмя (две открывалки) плюс штопор. У этих – два отделения, значит потяжелее и втыкаются лучше. Или еще проще: обточенный и заточенный кусок ножовочного полотна, изолентная ручка.

Ножичками стругают палки, вырезают свистки и фигурки, играют в ножички. Впрочем, для игры и выстругивания годятся подходящие кухонные ножи, с разрешения или без – взрослых.

Ценится прочность и гибкость, острота, размеры и форма, удобство, красота и крепость ручки.

Обычно ножички, которые годятся для стругания, плохи в игре, а красивые ножички практически бесполезны. Большие – считаются финками, финяками, и могут быть запросто экспропрированы (это слово из кино все знали и часто использовали) взрослыми.

Опробуется и оценивается каждый новый ножичек ровно столько, сколько он заслуживает.

Пятерку стоит «охотничий» – с большим главным лезвием плюс четыре или пять вспомогательных. У больших пацанов такие или похожие (если не финяк). И стругать, и кидать, и пугать. Вариант с вилкой и даже ложкой притаскивал показать кто-то из третьего дома.

Особо котируются финки – самодельные ножи с большими лезвиями, острыми с двух сторон, с наборными ручками, изготавливающиеся, говорят, на зоне, и выкидные ножи. Но большие пацаны, у которых именно такие, особо их не светят.

Города

Каждый рисует себе город – небольшой круг с воротами в виде стоящей на нем буквы «П». Города располагаются на некотором расстоянии друг от друга. Иногда далеко, но не так, чтоб на разных концах двора. Или наоборот внаглую, специально близко к соседу, показывая, что на него и пойдешь, а его не боишься. – Очень страшно! – говорит сосед, и не пытается перерисовать свой город где-нибудь подальше. Во-первых, кто мешает отправиться за ним и противнику, а во-вторых, все только и ждут, что меньшанешся.

Бросая нож поочередно (до ошибки) на расстояние, до которого можно достать рукой, игрок должен таким образом преодолеть путь от своего города до города противника и завоевать его. На месте попадания чертится стрела в виде галочки, как в казаках-разбойниках, направленной в сторону противника. Это – солдат. Если на пути попадает вражеский солдат, то он должен быть убит: ножом нужно попасть в развилку и из точки попадания перечеркнуть своим солдатом, остатки затираются подошвой. Если удастся дойти до вражеского города, обязательно при этом уничтожив всех его солдат, город окружается, ворота пятью точными бросками открываются. После 10 точных попаданий в сам город, он переходит в руки завоевателя.

Города лучше ставить (если в начале игры специально не оговаривается, что этого делать нельзя) на неудобном месте, чтобы труднее было захватить: вокруг дерева, на каменистой почве. Обычная хохма: кто-то пытается соорудить свой город на асфальте, нацарапав на нем ворота, при том, что сам город образует чугунный канализационный люк.

Помимо описанного главного варианта есть еще *города с переправами*. В этом случае города ставятся обязательно через дорогу друг от друга. И надо переправляться: перекидывать ножичек через асфальт, так, чтобы он воткнулся на вражеской территории. Естественно, в этом случае правило дотягивания не действует.

В обоих вариантах *города* не самая популярная игра в ножички. Хотя иногда и они привязывались, как зараза, и впятером-всемером играли целый день несколько конов подряд, и еще

назавтра хватало. Обычно же даже один кон *городов*, особенно с *переправами* трудно закончить. Без переправ игра чаще всего превращается в сражение между самыми сильными, а остальным не слишком интересно смотреть (в отличие от подобной, но более скоротечной ситуации в ножичках в кругу, см. дальше) за длительными осадами и отыгрышами, да как по несколько раз перерисовываются и затираются солдаты, так что трудно уже понять, чьи они, и как взрываются от миллиона попаданий города. К следующему кону уже никого не собрать. Однажды как только Гора сделал первого солдата через переправу на дереве, так игра сразу прекратилась. Все и так знали, что классно играет, а тут совсем как в боксе – за явным преимуществом.

Есть еще игра в ножички, название которой что-то вроде то ли переворотов, то ли мельницы. Ее я застал на излете. Открытый наполовину складной ножичек (получается прямой угол) носиком слегка втыкается в дощечку так, чтобы и жопкой в нее уперся, получается такая широкая буква «Л». Затем его нужно поддеть и подбросить указательным пальцем за жопку, чтобы он, перевернувшись, снова воткнулся в дощечку. Других деталей попросту не помню: видел, как играют пацаны постарше, стал пробовать – ничего не получалось. Заело – и в смысле никак не идет, и в смысле злишься, что никак. Сидишь полдня на ящиках у четвертого подъезда и стараешься. Вроде начало получаться, а что-то никто уже и не играет, подевались куда-то кто умеет и правила знает. Позже мне говорил один знакомый, младше меня лет на десять, что они играли в подобную игру, но на земле, а как называется и в чем там дело, вспомнить не смог.

Ножички

Острием рисуется на земле круг. Линия глубокая и четкая как борозда, но тонкая. Круг разбивается такими четкими прямыми линиями на равные куски от центра к краю по числу народа. Для точности разметки в самом центре круга чертится многоугольник с одинаковыми сторонами и углами, через которые из центральной точки и ведутся линии. Все выбирают себе кто что любит: с мелкими камешками или песочком, с плотной или рыхловатой землей, – и туда, и туда втыкать трудно. Большие камни и стекляшки, если оказывались в кругу, убирали, а то кончик острия запросто сломается, может и лезвие пополам. Правда, это бывает, когда сверху не видно, а сразу под землей камень или стекло. Ну и звук! Да еще как брызнут вывороченные сильным броском охотничьего ножа осколки! Кто-то не спешит выбирать землю, смотрит сначала, какие куски выберут сильные игроки, чтоб оказаться подальше от них.

Очередь хода определяется бросанием ножа за носик как в *слоновых яйцах качать*, только стоя. И в самой игре бросают также. Конечно, когда помельче были, бросали за жопки. Бросать, когда очередь определяется, надо в свою землю (так и говорили: моя земля, земля Сырка, например), чтоб без обид.

Затем первый начинает. Бывает, но редко, что больше никому так и не удастся бросить, – по правилам «ход» переходит к следующему только если бросающий ошибется: нож либо не втыкается, либо втыкается в черту, либо оказывается вообще за пределом круга. Обычно же, только сделав несколько удачных бросков и прирезав к своей земле пару кусков чужой, игрок ошибается, хотя бывает, что и сразу лажанется или промажет, и бросать следующему.

Задача, чтобы нож воткнулся в чужую противника, смежную с собственной. От воткнувшегося ножа по ходу лезвия чертится прямая линия, рассекающая территорию противника на две части. Подвергшийся нападению имеет право выбрать, на какой части разрезанной территории он останется. Важно не просто воткнуть нож, но так, чтобы со своей территории можно было прочертить всю линию. Если умудрился попасть косо и дотянуться не можешь, ход считается неудачным, но право броска не обязательно переходит дальше – ты же попал, но это как заранее договоритесь.

Что будет, если угодишь в собственную землю? Придется отрезать от нее в пользу того, в кого целился, при этом неважно – дотягивается он или нет. И тут тоже насчет того, кто теперь должен

бросать, будет как договорились заранее. Решите, что можешь продолжать – есть шанс вернуть ни за что отданную землю. Нет – значит сам себя обкарнал.

Есть два варианта правил. По больше распространенному, *на островках не живем*: отсеченной кусок твоей земли, не касающийся границы круга, не может быть выбран. Если *на островках живем*, спокойно выбирай, какую хочешь часть.

Территория, завоеванная удачным броском, может оказаться никак не соединенной с землей «завоевателя». Тогда нужно прорубать к ней *проход* (если, конечно, удастся дотянуться). Не вышло – территория остается во владениях прежнего хозяина.

Бросающий может прирезать к своей земле завоеванные участки одного соседа, может отрезать то справа, то слева от себя, или, сделав в территории соседа проход, напасть на недоступную ему раньше землю. Хочется за что-нибудь отомстить – например, за поражение в предыдущем кону, – прорубай проход к земле обидчика. А может, это твой постоянный соперник, во всем, или обидчик, как сказали бы сейчас, по жизни.

Слабой стороне, выбранной в жертву, остается давить на психику: «Чё только меня режешь?» Если поддержат (с какой радости – не важно), то «завоеватель» запросто переключится на другие куски, оставив почти полностью уничтоженному противнику шанс выжить и отыграться.

Самой маленькой территорией, с которой можно вести игру, считается такая, на которой, не затирая линий границы, ее хозяин может простоять – пусть только на *пяточке* или на *носочке* – *до пяти*. В этот пятачок завоевателю надо было попасть опять же пять раз подряд, и тогда неудачник выбывал из игры, лишившись территории. Но если выбьет только четыре, еще не все потеряно: отбей (с чужой территории) столько же, потом с цыпочки попади и дотянись – и ты снова на коне. А бывает, при выбивании угодит в свою – и тебе за бесплатно кусок прирежут.

После двух-трех серий ходов от начальной нарезки не остается следа. Вернее, именно следы только и остаются: стираются ногами прежние линии, рядом и поперек проводятся новые, которые затем снова стираются. Иногда рисунок линий чего-то напоминает: «Ребя, гли: сапог (змея, пила)».

Вопрос о том, выбивать (как в городах) или нет, и сколько раз, если выбивать, решается заранее. Игра заканчивается безусловной победой игрока, завоевавшего всю землю круга.

В отличие от *слоновые яйца качать*, в ножички в кругу играют и большие пацаны. Если это Толик Буланов, Славка Баранов, старший Чугун, Мишка Лещинин или Вовка Серебряков, то игра быстро становится дуэлью между кем-нибудь из них. Причем быстро вышедшей из игры мелко-те смотреть даже интереснее, чем играть. Что делают! Отвоевывают территорию с островка, где можно с трудом устоять на носке, с последнего выбивания. Каким-то чудом ласточкой дотягиваются до крайних точек. Начав, не дают ни разу никому бросить. Прикалывают противника так, что прицел сбивается. А как здорово живут, если ничего другого не остается!

Побеждая, они не прыгают, и сражаясь, жопу не рвут: играть в детскую игру им можно только, не превращаясь в нас. Но пару раз *толкались* – это такая фигня, после которой без драки редко обходится. Но обходилось. В общем, становилось ясно, что не по фигу, что бояться корову проиграть, хоть это не *об стеночку* и не *лунки*.

И наоборот, играют и девчонки, даже не только старшая Палашенко и Ритка из пятого подъезда, Верка из третьего и Людка Колосова из нашего, которые могут почти во всё, или большая Валька из четвертого, которая не очень может, но часто лезет, но и мелкие сестры – Лещинина, Никона и даже Васильева и Кузнецова.

Для чего еще ножички? Ножичками иногда «дрались», в смысле понарошку: брали его так, будто перед тобой противник, как в кино. Но использовать в настоящей драке никому в голову не приходило. Как-то помешались на метании: тупо целый день кидаешь в дерево или столб с трех или пяти шагов, без счета очков, но с определением, у кого лучше выходит. Просто подбрасывали ножички на обороты: у кого больше их и больше раз подряд получится. Подбрасывались и ловились и лезвием, и жопкой вперед. Ставили на указательный палец кончиком лезвия – кто долъ-

ше продержит. После румынского фильма «Даки» была короткая мода на втыкание ножа между растопыренными пальцами рук. Делалось это быстро и сильно, то с открытыми, то с закрытыми глазами. Пока половину пальцев не порежешь. Но ни во что другое никто ни разу не поранился.

Для меня игра в ножички закончилась поздно и довольно печально. Я учился по второму году в девятом классе, когда в школьном сортире (мы прогуливали урок) затеялось метание ножичка в дверь. Скучно. Решили подвеселить. Кто-то встал у двери, кинули несколько раз так, чтобы ножичек втыкался рядом с ним. Чаше не втыкался вообще. Ножичек обычный, с двумя лезвиями. Когда встал я, то Стриж, пацан на два класса младше, бросил. Нож воткнулся мне в правое плечо. Больно не было, только смешно стало: вот ножичек на пол-лезвия торчит в моем плече, покачивается. Стриж весь побелел, будто это в него попали, и сразу много крови вытекло. Мы вытащили ножичек, рану, из которой потекло так, что весь рукав пиджака потемнел и стал мокрым, зажали носовым платком. Круглый и Черный проводили меня домой. Дома никого не оказалось, а ключа у меня не было, и Круглый залез в форточку по трубе. Рука постепенно немела и начала сильно болеть. Дома Черный вылил на рану с полфлакона йода: кожа на этом месте сгорела, и следы ожога видны до сих пор. Забинтовали. Поехали в травмпункт на Комбайне. Там была очередь. Мы с моей «страшной раной» с ходу попробовали права покачать и пройти без очереди. Но смотрим: лежит в очереди человек на носилках, пара пробитых голов сидит спокойно, ждут очереди. Друг на друга посмотрели и как начнем усыпываться. Народ никак не реагирует. А мы тормознуться не можем.

Часа через два мне промыли рану, сделали противостолбнячный укол. Спрашивали, что произошло, и я рассказал, как сидели дома на кухне, я раскачивался на табуретке, а в руках ножик, так просто. Табуретка поехала, я упал, и наткнулся. Вечером того же дня я даже побывал в театре (клеился к одной девчонке, а ей все бы по театрам). Рука дня три не поднималась и была как чужая. Потом все постепенно пришло в норму.

Увы, Стриж, хотя и не тогда, а года три спустя, изрядно за это время поблатневший, перешел от холодного оружия к горячему: на заводе, где он вроде как работал, он изготовлял себе то ли пистолет, то ли что-то взрывное. Бабахнуло. Насмерть.

А ножичек – маленький, складной – болтался у меня на ключах, брелок такой, но колбасу на закусь нарезать можно, почему-то лет до 25.

УСЫПЛЕНИЯ

...мне сладко усыпление...

Евгений Боратынский

Просто кружиться. – Усыпление за грудь: на песке, у стены. – Усыпление за шею.

Кто не пробовал кружиться на одном месте волчком или быстро бегая по узкому кругу? Можно так закружиться, что потом будет мотать из стороны в сторону, а то и шмякнешься. Попытаешься встать – поведет в ту же сторону, куда крутился, да еще будто рогом землю рыть собираешься. Впрочем, если не рыпаешься, а просто падаешь, и не по собственному желанию, а из-за того что ноги подкашиваются и вырубаетесь, – при этом, главное, не тормозить, когда начинает мутить и мутит по нарастающей, – то, проскочив эту мутоту,ловишь *кейф*. С полминуты что-то вроде такого короткого бешеного сна ни о чем. Потом опять немного мутит и какой-то весь деревянный слегка.

То же самое, но сильнее и дольше бывает при *усыплениях* – и за *грудь*, и особенно за *шею*.

Усыпляют за грудь на песке – мало ли что при падении, пусть и осторожном, бывает, да и лежать на песочке усыпленному приятней, чем на земле или тем более на асфальте. Надо набрать полную грудь воздуха, задержать дыхание и зажмуриться. Тебя берут сзади, просунув руки под-

мышки, обхватывают грудь руками, сводя ладони в замок, поднимают, сколько получится, над землей, с силой прижимают к себе и так держат, считая от десяти до двадцати. Обычно на счет 16-18 усыпляемый дает знак, чувствуя, что отключается: бьет рукой по руке усыпляющего или мычит. Тебя отпускают. Если не хотят поиздеваться, то постепенно: сначала ноги встают на землю (но уже не держат), потом, размыкая замок рук на груди и поддерживая подмышки, так что оказываешься спиной или боком на земле. Падая, ты выпускаешь воздух.

Конечно, дают себя усыплять тем, кому доверяют. Но случаются подлянки. Отпустят резко, так что вырубившийся шмякается, как придется. Иногда бывает, что давят на грудь сильнее, чем нужно, или удерживают дольше. Но из-за этого какого-то особо глубокого усыпления не случается, наоборот, *кейф* ломается, потому что усыпляемый начинает дергаться, в смысле психовать, выворачиваться. Но передержать могут и из-за того, что недооговорились, до сколько считать и с какой силой жать или из-за *понта* усыпляемого, который на пяти мог потребовать, не выпуская воздуха, чтоб медленнее считали.

Понятно, что маленький большого и даже среднего таким макаром усыпить не может. Поэтому есть вариант у стенки. Усыпляемый встает спиной к стене дома, а усыпляющий давит двумя руками ему на грудь. Отключившегося надо поддержать, потому что у стены асфальт.

Однажды Тетёну, решившего погеройствовать, явно передержали. Он падает. Сначала свертывается калачиком. Потом встает. Произносит что-то совсем несуразное. Глаза при этом открыты. Опять падает, закрывает глаза и снова свертывается калачиком. Потом очухивается как обычно, поднимается. И не помнит, что вставал и что-то говорил. Хотя, конечно, тут же и высказывается подозрение, что он придурился.

При усыплениях вообще придуриются много. Может, только один раз из десяти бывает, что полностью вырубаетесь. Обычно сознание остается, хотя и не без мути. Но, наверно, сама охота усыпиться толкает на то, чтобы придуриаться, и, может, это как раз важно для того, чтобы усыпиться по-настоящему.

Усыпления за шею сложнее и считаются опасными. Их делают только большие пацаны. Надо также набрать как можно больше воздуха и не дышать, напрягая, как бы раздувая шею. Булавин, Буланов или Серебряков берут добровольца за шею и сдавливают ее ладонями, будто бы придушивая.

На такое усыпление я решаюсь только пару раз. И только после того, когда совсем уже нельзя было не решиться, после нескольких дней уклонения: то что-то вроде как со здоровьем, то просто вот еще посмотрю. То есть не так, что ни в какую не буду, а буду обязательно – вопрос времени. Вон младший Багаев, Петька, рвется, плачет от обиды, что его считают маленьким для усыпления за шею.

Народу, когда я созреваю, мало, то есть, вернее, я так специально подгадываю. Из больших есть Буланов. Толком ничего не получается. Но я делаю вид, что немного все-таки получилось. Теперь уже знают, что я через за шею прошел, и то, что не рвусь в первых рядах, никак на репутации сказаться не может. Это уже не боюсь, а просто не нравится.

А кому-то нравится. Не буду говорить кто, так вообще сам себя всё время придушивает. Надуется и душит себя за шею. А потом вырубается – правда, не понятно, понт это или по натуре.

(Окончание следует)

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

О привет, – говорит в зазеркалье своем,
В облаках никотиновых, в погребке теплом.
То ли дело железные крючья в прихожей
Детства, впрочем счастливого, как и у всех,
Кто стоял за подачкою, весь этот джаз
Выдыхая сквозь дыры картинки киношной,
Эти спицы стальные во сне вспоминая
Вместе с лужей натаившей, храм-планетарий,
Где картавое эхо над чудо-машиной.

Ночью воют хрустальные волки,
В простыню замотавшись луны,
Свет на кухне,мышь недомолвки,
Белый парус мятежной жены.

Это в облаке город Арбатов
Пролетает над поймой реки
Там, где приняли по ста на брата
Однояйцевые моряки
И заснули в нелепом сраженьи
С телом, вдруг обретающим вес,
С тихим скрежетом, без выраженья
Выпадая из скользких небес.

Поклонились козлу – нифига себе сказочка!
Собрались под дерево, а оттуда шишками...
На прицел их берет лазерная указка.
Этот стих о ком, как вы думаете?
Мы не думаем, отвечают волки серые,
Нам бы поиграться, силой померяться.
Все мы в стае – Левон Ивановичи.
Где они – козел да баран?

Алексей Александров родился в 1968 году в г. Александров Владимирской области. Публикации в журналах «Волга», «Воздух», «Дети Ра», «Новый берег», «Урал», альманахах «Улов», «Дирижабль», в антологиях «Время "Ч"». Стихи о Чечне и не только», «Нестолничная литература» и др. Живет и работает в Саратове.

Простор, каких сейчас не пишут,
Засахаренный снег куском
Лежит до наступленья теплых
И дружеских, до новых встреч.
Повтор, в связи с уходом в цифру
Заслуженного граммофона
С его слоновым нежным ухом,
Иглой сосновой, невозможен.

Но есть пути для ретирады
Под своды капельниц апреля,
Где усилительные лампы
Горят, как брошенные танки,
И это навевает мысли
О перепроизводстве звуков.
Простыл, как в сказке не сказать,
Пером щекочущее горло.

Кот и лиса растрясли буратину,
И золотые гремят за щекой –
Встретились, как города-побратимы,
Разворошили костер кочергой.
Спрячь от греха, говорят деревяшке;
Пьяные слезы негромко текут,
Словно читает стихи по бумажке
В церковь случайно попавший манкурт,
Не вынимая наушник с Кобейном.
Свернут в бумажный пакет микрофон,
Полночь стоит в аромате кофейном,
Ангел летит над горою Афон.

Мы дышим, и, что называется воздух,
Толченым стеклом заедает себя,
Всегда облегчение – кто-нибудь с возу,
И падает снег, за рукав теребя.
И речь не слышна, но дымок разговоров
Уходит с теплом, достигая высот.
Однажды в холодную зимнюю пору
Внутри закипает, как жидкий азот –
...Съезжаются, словно назначив охоту,
Костер затевают у самой реки
И ложкой мешают прозрачное что-то,
Пока не прервали дыханье курки.

Кржемилек Вахмурке никак не объяснит на пальцах,
Отчего в отечестве так остро пахнет тухлым
В рыбный день, где – с добрым утром, говорю, утешься, –
Никогда тебя я не забуду, не увижу – пели.
Мирустройства медленный подробный механизм,
Эти шестерни, они ведь до сих пор так и вращаются на даче.
Их железное жужжанье втуне пропадает, чтобы мед речей
Тёк рекой, а после сам намазывался на остывший хлеб.
Болек Лёлику молчит в ответ о заговоре почтальонов
И лечебных свойствах грязи голубой как будто...
В то же время, как их Рекс спасает живность,
Отчего мне так темно, когда навстречу ты идешь по переулку?

Киоск с ворованной мобильной –
Распалась связь времен, ага, –
Смесь снега с порошком ванильным,
И ударяется в бега
Мелодия, которой мало –
Билайновский летает шмель
Под белоснежным одеялом
Растаявшей Эммануэль.

Шаурмы необрезанный кокон,
Планетария праздничный купол,
Купишь пива и выйдешь за угол –
Там деревья в молчанье глубоком,
Будто легкие после рентгена,
Просветленные, с тихим укором.
Эта осень – лиса патрикевна,
Медсестра с бессмертным уколом.

Можно выменять шило на мыло,
Оседлать своенравного мула,
Но река к обещаньям остыла
И сбежавшую лодку вернула.
Тихо бабочка бьется о сферу,
Хлеб и мясо готовятся к смерти,
В небесах, в клочьях облака серых
Солнце с рыжей усмешкою светит.

Марина ПАЛЕЙ

ВОЛЬТИЖИРОВКА
триптих

Посвящается А. К.

Пьеса 1

Фоторобот

За столом кабинета сидит Следователь. Он молод, лет 23-х – 25-ти, – видимо, пришёл сюда сразу после вуза. В силу молодости – очень серьёзен, даже торжественен. На его столе – два телефона: красный и синий. Также: компьютер, бумаги. Сбоку от стола – большой (производственный) принтер.

Перед Следователем сидит Потерпевшая. Это тётка «без возраста» – но не такая, которая «навсегда хороша», а ровно наоборот: мы видим измочаленное, вконец износившееся существо. На голове у существа – типичная шапочка российских пенсионерок: дырьев на порядок больше, чем мохера. Старая хозяйственная сумка – на коленях.

Следователь. Так: гражданка Притуляк, Валентина Евстафьевна, проживающая по адресу: улица Партизана Кандыбы, дом 113, корпус 4, квартира 387. Данные верные?

Потерпевшая. Верные...

Следователь. Так. Меня зовут Логунов Глеб Игоревич, я – старший лейтенант полиции, эксперт-криминалист. Так. Хорошо. Осведомлены ли вы, Валентина Евстафьевна, в связи с чем вам была послана наша повестка?

Потерпевшая. Да...

Следователь. Прекрасно. (*Подвигает к ней бумаги.*) Расписываемся вот здесь, здесь – и здесь... Так... так... Очень хорошо. Значит так. Сейчас мы с вами будем заниматься габитоскопией...

Включает компьютер. На задней стене вспыхивает большой белый экран.

Потерпевшая. Что?.. чем?

Следователь. Габитоскопией. Составим фоторобот напавшего на вас преступника. То есть, в некотором смысле, портрет. Следственные органы, ознакомившись...

Потерпевшая. Он на меня не нападал!

Следователь. То есть как это? Вы что же – сами на него напали?

Марина Палей родилась в Петербурге, с 1995 года живет в Нидерландах. Многочисленные публикации в журналах «Новый мир», «Знамя», «Волга», «Урал», «Нева» и др. Одиннадцать книг прозы издано в России и восемь – за рубежом. Проза переведена на английский, финский, немецкий, шведский, японский, итальянский, французский, нидерландский, норвежский, словацкий, словенский, эстонский, латышский языки. Финалист премий «Букер», «Большая книга», им. И.П. Белкина (дважды). Лауреат «Русской премии»-2011 (роман-притча «Хор»).

Потерпевшая. Нет, он, конечно, напал, но он же в конце концов меня не ограбил..

Следователь. Никто не говорит, что он вас ограбил. (*Читает Дело*): «Изнасилование с причинением лёгких телесных повреждений». Вы же – гражданочка Притуляк?

Потерпевшая. Ну да.

Следователь. Так о чём мы говорим? Повторяю: следственные органы, ознакомившись с фотороботом, который мы сейчас составим, смогут быстрее обнаружить и обезвредить преступника.

Потерпевшая. Что значит – «обезвредить»?

Следователь. Ну, для начала назначить ему меру пресечения, а затем – наказания... в зависимости от выяснения сопутствующих обстоятельств...

Потерпевшая. Значит, будет суд?

Следователь. Если преступника поймают – непременно будет.

Потерпевшая. А меня на суд вызовут?

Следователь. Вы же потерпевшая. Конечно, вызовут. Что за вопрос!

Потерпевшая. Хорошо...

Следователь. Так, Валентина Евстафьевна, вот здесь, на этом экране, с помощью компьютера, мы будем с вами сейчас выстраивать внешнюю личность насильника. Его так сказать, личину... экстерьер, да... Подсаживайтесь.

Потерпевшая берёт свой стул и садится рядом со Следователем.

Выберите, пожалуйста, наиболее похожую форму лица. Вот здесь... вот из этих.

Потерпевшая (*глядя на экран компьютера*). Ммммммммм...

Следователь. Будьте внимательны... эта? эта?..

Выбор частей лица происходит на экране компьютера – а «примерка» и конечный результат осуществляется на большом настенном экране. (Вариант: несколько одинаковых экранов – в несколько рядов.) Этот процесс хорошо виден зрителю. Возникающие части лица, все их варианты, прыгая, как в клипе или мультфильме, ловко сменяют друг друга.

Потерпевшая. Эта... нет, эта...

Следователь. Хорошо. Теперь: тип шевелюры. Или на нём шапка была?

Потерпевшая. Не шапка, нет... У него была шляпа... Она упала... я её не очень хорошо запомнила...

Следователь. Какая шляпа? с полями?

Потерпевшая. Ну да.

Следователь. Цвет.

Потерпевшая. Красивый.

Следователь. Так. А поточнее можем назвать цвет головного убора?

Потерпевшая. Не помню...

Следователь. Так. Не помним. Хорошо. Значит, во время сексуального акта, преступник находился без головного убора.

Потерпевшая. Без... А можно я свою шапочку сниму? Жарко у вас тут...

Следователь. Снимайте.

Потерпевшая снимает шапочку. Кладёт её на стоящий рядом стул.

Так. Хорошо. Тип шевелюры.

Потерпевшая. Ммммммммм... Здесь такого нет.

Следователь. В смысле?

Потерпевшая. У него было много волос. Очень много. Такая, знаете... копна.

Следователь. Ну... Давайте тогда расширим вот этот вариант...

Потерпевшая. Нет-нет, что вы! Всё равно больше. Гуще, пышнее!

Следователь. Что же у него – дамский начёс был, что ли? Или, может, парик?

Потерпевшая. Какой там парик! Знаете, я вцепилась ему в гриву... дергала её, тянула... это не парик... Он просто натуральный блондин... да, натуральный... с очень густыми волосами.

Следователь. Интересно: откуда вы знаете, что натуральный? Практика следствия располагает множеством случаев, когда преступник, с целью...

Потерпевшая. Нет, нет! Дело в том, что к остальным частям лица этот цвет очень подходил... К коже, к глазам... к губам... Именно природный цвет...

Следователь. Это ни о чём не говорит. Преступник мог быть натурально-лысым. Таких правонарушителей, в том числе в сфере сексуального характера, сколько угодно. И вот иногда они прибегают к различным искусственным средствам, как, например, пересадка волос или...

Потерпевшая. Да что вы! ни в коем случае. Знаете, это был такой тип мужчины, который никогда не лысеет. Никогда! Только седеет...

Следователь. Седеет? Хорошо. Вам виднее. Под вашу личную ответственность. Теперь – линия роста волос. Линия роста, линия роста...

Потерпевшая. Вот... нет... вот, пожалуй... Да, вот.

Следователь. Отлично. Так. Перешли к надбровным дугам и бровям.

Потерпевшая. Эти.

Следователь. Эти?

Потерпевшая. Да... Нет, эти.

Следователь. Так.

Потерпевшая. Нет, вот эти.

Следователь. Гражданка, вы определитесь...

Потерпевшая. Я определилась: вот.

Следователь. Хорошо. Теперь нос. *(Напевая.)* Ноооос, ноооос, ноооос... на семерых рооос! Миллион, миллион, миллион алых роооз!

Звонит красный телефон.

(Берёт трубку.) Да, Коля. Занят я, занят! Старик, я перезвоню. Нет, не могу сейчас! *(Кладёт трубку.)* На чём мы? *(Перебирая бумаги.)* Да: ноооос, нооос, ноу-ноу-нооос... та-та-та... на семерых рос, одному достался...

Потерпевшая. Этот.

Следователь. Хм...

Потерпевшая. Вы удивляетесь?

Следователь. Я? Нисколько. Тыыыык-тык-тык-тыыыык... Теперь – глаза. Будьте особенно внимательны. Глаза – зеркало души... часть мозга, которую мы можем видеть снаружи... Эти?!

Потерпевшая. А что?

Следователь. Да это, скорее, женские.

Потерпевшая. Ничего не женские! Просто очень большие.

Следователь. Тыыыык-тык-тык-тыыыык... Гражданка Притуляк, я призываю вас со всей серьёзностью осознать меру своей ответственности, от которой зависит...

Потерпевшая. Я говорю: эти.

Следователь. Говорим эти, значит, будут эти. Теперь – рот. В смысле – губы.

Потерпевшая (решительно). Эти.

Следователь. Эти... тык-тык-тыыыык... И что же у нас в результате тут получается...

Звонит красный телефон. Следователь хватается трубку.

Коль, я перезвоню! (*Швыряет трубку.*) Ччччёрт!!

Выдёргивает вилку из розетки.

Потерпевшая. Эти.

Следователь. Эти так эти. Зубы все были на месте?

Потерпевшая. Все.

Следователь (ехидно). Как вы это знаете? Может, у него зубов мудрости не было? (*Оглядывая Потерпевшую.*) Судя по всему, именно зубов мудрости-то и не было... И потом: у кого в нашей стране все зубы в наличии? Только разве если челюсти искусственные... у олигархов...

Потерпевшая. У него «зубы улыбки» были... очень белые... очень...

Следователь. Так он что – улыбался?

Потерпевшая молчит.

Вы хотите сказать, что, совершая противоправные действия, преступник улыбался?!

Потерпевшая. Нет. Н-н-не так чтобы...

Следователь. Ну и при чём же здесь улыбка?

Потерпевшая. Так говорят... Вот эти восемь передних... или даже двенадцать – это «зубы улыбки»...

Следователь. Кто и где так говорит?

Потерпевшая. Врачи в платных стоматологических клиниках говорят... В рекламах зубоотбеливающих средств пишут...

Следователь. Так, хорошо. То есть мы утверждаем, что резцы...

Потерпевшая. Да...

Следователь. ...клыки...

Потерпевшая. Да...

Следователь. Премоляры...

Потерпевшая. Что-что?

Следователь. Малые коренные зубы...

Потерпевшая. Да.

Следователь. ...были на месте.

Потерпевшая. Да-да-да...

Следователь. Золотых, серебряных, платиновых зубов не наблюдалось?

Потерпевшая. Нет.

Следователь. Из прочих известных и не известных вам металлов?

Потерпевшая. Нет.

Следователь. Тыыыык-тык-тык-тыыыык... Подбородок.

Потерпевшая. Вот этот.

Следователь. Нет.

Потерпевшая. Да.

Следователь. Нет.

Потерпевшая. Да.

Следователь. Интересно.

Потерпевшая. Что – «интересно»?

Следователь. Такой какой-то неземной чувак... В смысле – совсем нездешний гражданин получается. До кучи – с этой ямочкой ещё долбаной на подбородке! – я, конечно, извиняюсь за выражение...

Потерпевшая. Он, конечно, нездешний. Только не в смысле (*неожиданно передразнивает*): «Мы люди, конечно, незде-е-е-ешние...»

Следователь (*задумчиво*). Ну да... Да-да... В человеке всё должно быть прекрасно... (*Собирается с мыслями.*) Хорошо. Чуть было не упустили. Растительность на лице! Усы, бакенбарды, борода... Прочая растительность.

Потерпевшая. Что значит – «прочая»?

Следователь. Не передёргивайте, гражданка! Прочая – значит прочая. Может, волоски какие – из бородавок, из ноздрей, из ушей...

Потерпевшая. Не было у него никаких бородавок! Усы? Усы – да, конечно...

Следователь. Тип усов: Гитлер, Ленин, Чарли Чаплин, Сальвадор Дали, тирольские фирменные, Тарас Бульба, батька Лукашенко, Эдуард Лимонов, Михаил Лермонтов...

Потерпевшая. Михаил Юрьевич Лермонтов.

Следователь. Пирсинг, татуировка, особые приметы?

Потерпевшая. Пир... пирсинга и татуировки я не видела... Из особых примет – вот она, ямочка на подбородке... и... и родинка... вот здесь...

Звонит синий телефон. Следователь берёт трубку.

Следователь. Зина, позже.

Кладёт трубку.

Потерпевшая. Вспомнила. Этот сирпинг... рипсинг... писринг...

Следователь. Пирсинг.

Потерпевшая. Да. Он у него *там* был.

Следователь. Где именно?

Потерпевшая. Там.

Следователь. Про *там*, гражданочка, меня сейчас не интересует. Зафиксирую, конечно же, ваши слова в Деле, но этот его *там* – я на фоторобот вместо носа приклеивать не собираюсь! (*Заносит запись в Дело.*) Ну, что же, Валентина Евстафьевна... (*подвигает ей бумаги*) расписываемся здесь... здесь и здесь. Органам следствия придётся нелегко, но они сделают всё возможное...

Потерпевшая. Да уж, сделайте! Постарайтесь!..

Следователь. Спасибо, можете идти.

Потерпевшая. Это вам спасибо. До свидания.

Следователь. До скорого.

Некоторое время ходит, как тигр, взад-вперёд возле портрета. С него на зрителей смотрит голливудский красавец. А на него ошарашено поглядывает Следователь. Время от времени Следователь трясёт головой. Включает красный телефон. Звонит.

Так, Логунов у телефона. Мне Прохорова. (*Закуривает.*) Колька... Коль, ты слушаешь? Ага. Не, это полный улёт! Пол-ней-ший! Помнишь, я у тебя всегда психологию на контрольных сдирал? Да. Помнишь, у меня по ней всегда трояк был? Да. Погоди ты. Погоди. Потом скажешь. Вот не понимаю я долбоёбов, хоть ты меня убей. Не по-ни-ма-ю. Ну, баб я, допустим, тоже не понимаю, да они того и не стоят...

Нервно ходит туда-сюда по диагоналям кабинета.

Вот, прикинь: мужик. С такой внешностью... с такой... как у этого... как его... ну кто там этого играл... в сериале... ещё два банка ограбил в Техасе, а потом от шерифа уёбывал... Ну. Да-да-да! Вот такой мужик, только в сто раз круче. В сто ррраз! Да погоди, ты слушай сюда. И вот такой мужик, лет тридцати пяти, от силы тридцати восьми, с такой охуенной внешностью... Что значит – «не парься»?! Ты за языком следи!! Следи, говорю, за языком, Николай Павлович! Филтруй базар!! От пидора и слышу... Ага. И вот значит... да... так вот... Погоди...

Достаёт из стола бутылку коньяка, наливает в стакан, делает несколько жадных глотков.

Да если бы мне... хоть половину от такого бы грызла... от этой будки... от этого рыла то есть... Да что там половину! да мне бы хоть треть... да хоть бы только эти буркалы его блядские... Ё-моё-о-о-о... да сидел бы я сейчас в этом долбаном отделении?! на этом лоховском окладе?! Да я бы... да я бы давно уже на Канарах или Сейшелах в собственном особняке припухал... возле олигархессы такой вдовой... Что? Ну, так я бы её быстренько повдovil, да... Возле олигархессы такой, значит, не очень чтобы старой... а хоть бы и в возрасте – так что?! Я бы... да блядь, погоди ты!..

Снова отпивает. Снова судорожно вышагивает по кабинету.

Нет, я бы уж нашёл, что мне делать! да погоди ты! нет, это ты погоди!! А этот... а этот... а этот мудила падает как очумелый на какую-то обшморганную, я извиняюсь, швабру... на швабру с тысячулетним климаксом! Причём на помойке какой-то! причём, прикинь, стрезва! – то есть сечёт про все последствия. Ну?! Я тебя спрашиваю: ну?! Я вот что не понимаю... Нет, ты погоди!! Они что – совсем сейчас обожрались уже?! Это ведь только с пережору, нах, можно таким извратом фриковым стать... Если бы мне на экзамене эта задачка попалась, я бы что ответил? Я бы ответил – это жиголо, альфонс долбаный, живёт с олигархессой, взбесился от пресыщения...

Пауза. Напряжённо слушает.

То есть как – о ком? Да вот об этом, от тебя Дело принесли. *(Пауза.)* Что значит – не то Дело?.. *(Пауза.)* Что значит – перепутали?... Так ты поэтому мне звонил? Погоди, погоди. Дело номер две тысячи шестьсот тридцать два, Б. Потерпевшая – Притуляк В.Е. Тыбыык-тык-тык-тыбыыык... Ну. Всё правильно. Так почему – не нужен фоторобот, фотокарточка что ли есть? а что...

Пауза.

То есть как это – «в маске»? Какая, нах, маска-шмаска?

Пауза.

То есть как – «преступник действовал в глухой балаклаве»?

Звонит синий телефон.

(Хватает трубку.) Зин, потом! Потом, я сказал! *(Резко кладёт трубку.)*

В чёрном непрозрачном чулке?.. Ага. Ага... Агусеньки. И какого же хера мне эту туфту сюда приволокли!! Что – «звонил»!! Кто звонил?! Ах, тыбыы звонил!! Лично тыбыы... Ах, по ошибке... Запомни: весь ваш отдел – полностью музозвоны. Пол-но-стью!

Берёт Дело, перелистывает, находит нужное место, читает.

Так... страница семь... страница семь... «Преступник, ростом приблизительно один метр шестьдесят сантиметров, тучный мужчина, на протяжении всего полового акта оставался в маске, полностью скрывавшей лицо...»

Продолжает – с оттенком самоиздёвки.

«В этой же маске он и скрылся с места совершения противоправных действий, что подтверждает пенсионерка Свинохвостова Н.А., проживающая по адресу: улица Пехотинца Василия Каме-нюки, дом 201, корпус 1, квартира 47, наблюдавшая за сценой сексуального физического насилия со своего балкона (2-й этаж) через военно-полевой бинокль...»

Звонит по синему телефону.

Зина, мне кофе, как обычно. *(Кладёт трубку, возобновляет чтение.)* «...наблюдавшая за сценой сексуального физического насилия со своего балкона, 2-й этаж, через военно-полевой бинокль, принадлежащий на тот момент её зятю, майору в отставке, гражданину Лопате Б.К., который также, совместно с гражданкой Свинохвостовой Н.А, наблюдал с балкона 2-го этажа за процессом полового акта по одностороннему принуждению (на всей его протяжённости), однако же, в отличие от технического оснащения гражданки Свинохвостовой Н.А., без привлечения каких-либо оптических приборов».

*Смотрит на портрет красавца. Снова трясёт головой.
Тихий стук в дверь.*

Зина, давай без стука, я говорил!..

*Входит Потерпевшая.
Максимально долгая пауза.*

(Почти жалобно.) И чего? И что мы конкретно хотим, женщина?

Потерпевшая. Ох, извините, пожалуйста. Я свою шапочку забыла...

Следователь *(не вполне трезвый)*. И что же теперь, мммм?

Потерпевшая. Можно забрать?..

Пауза.

Следователь. Можно, отчего же нельзя... Можно шапочку забрать, можно телефон забрать, можно компьютер забрать, принтер, стол, стулья... Забирайте всё, не жалко!

С ненавистью смотрит на портрет красавца.

Шапочку забираем, время у должностных лиц отнимаем, китайскую лапшу им на уши вешаем, делаем всё, что только пожелаем... Н-да... Так! Быстро! Взяли свою кондомку драную – и шагом марш! Чтоб я вас больше не видел!

Потерпевшая *(хватая шапочку и семена к дверям)*. Да-да... Да-да...

Следователь. Стойте... В смысле – стоять... Сто-ять, я ск'зал! Смир-р-рна!

*Делает распечатку на принтере.
Показывает портрет зрителям и Потерпевшей.
Сворачивает бумагу в рулон и подаёт ей.*

Держите.

Потерпевшая *(робко берёт)*. А... а вам?

Следователь. А у нас в компьютере копия остаётся... на память...

Потерпевшая. Значит, его... *(прижимает рулон к груди)* этого человека... Ну, в смысле, его найдут?..

Следователь. Сделаем всё, что в наших силах. А теперь – крууу... гом!

Потерпевшая послушно выполняет команду.

Потерпевшая *(тихо, не поворачивая головы)*. Спасибо вам, Глеб Игоревич...

Следователь. Не за что.

Потерпевшая открывает дверь, перешагивает порог.

Следователь. Гражданочка...

Потерпевшая *(не поворачивая головы)*. Да?..

Следователь. Я... *(пауза)*.

Потерпевшая *(в той же позе)*. Да?..

Следователь. Ничего, идите.

Дверь тихо закрывается.

(Себе.) Нет, не врубаюсь я в психологию... А женскую... С женской – это вообще крадец... Вот недаром же у меня в универе по психологии всегда трояк был... Но зато... Но зато...

Наливает полный стакан коньяка.

Пьёт.

Но зато – я холостой!

Резко – непристойный жест красавицу.

Залпом допивает коньяк.

Мстительно выключает изображение.

Через пару секунд после выключения экрана на сцене полностью гаснет свет.

Пьеса 2

Рингтоны

(Цветы запоздалые)

Темнота. Краткие очереди швейной машинки. За стеной – медленные шаги. Словно из-под земли. Они неровные и словно бы деревянные. Ближе, ближе. Совсем рядом.

Пауза. Деликатный стук. Его перекрывает стрёкот машинки. Резкий звонок в дверь. Стрёкот обрывается.

Женский голос. Да-да! Секунду! Иду-иду!!! Секундочку!

Звуки нескольких падающих предметов. Слева выныривает пламя свечи. Прикрываемое ладонью, оно быстро плывёт по воздуху.

Иду-идууу!!!

Мужской голос (глухой, из-за двери). Ничего-ничего...

Маленькая пауза.

Женщина. Кто там?

Мужчина. Я от Олега...

Женщина (задохнувшись). От Олега?!!

Мужчина (тоном Деда Мороза). От Богоявленского Олега Витольдовича!..

Цепочка, крюк, засов, ключ. Дверь (справа) распахивается. Луч света освещает повесившуюся женщину. Всю в белом. Тело колыхается порывом лестничного сквозняка. Это – недалеко от окна – свисает с потолка свадебное платье.

Мужчина. Извините, я сразу хочу сказать, что...

Женщина. Ой, простите, это у нас, видно, на подстанции... После шторма... Так часто бывает...

Мужчина – на костылях, одна нога в гипсе. За плечами – рюкзак. Одет при этом в деловой костюм. Даже с иголки. Менеджер среднего звена? Берём выше.

Мужчина. Я сразу хочу извиниться за то, что...

Женщина. Это вы извините... Просто катастрофа какая-то... Вдруг раз – и...

Мужчина. Сразу приношу свои извинения, потому что я...

Женщина. Может, чайку хотите? Чайник у меня натуральный! И газ есть! Бутербродики – с сыром, с колбасой?

Мужчина. Я... подождите... А вы уверены, что это на электрической подстанции?

Женщина. Да вы садитесь, садитесь!

Мужчина бережно снимает рюкзак. Садится у стола.

Мужчина. А может, лампочки заменить? Или в самой люстре что не так?

Женщина. Да я пробки уже пыталась...

Мужчина. Да не пробки. Я же слышал, вы на машинке строчили. На электрической, наверное?

Женщина. Может, конечно, и проводка прохудилась... Дом старый...

Мужчина. На лестнице, по крайней мере, свет есть... И звонок работает. Я говорю: может, всё же лампочки попробовать? В плафонах там посмотреть?

Женщина. Да куда там! Потолки – четыре тридцать.

Мужчина. Но лампочки-то запасные у вас есть?

Женщина. Да полно лампочек! Полным-полно лампочек! Вы что думаете – у меня лампочек нет? Так вам – с сыром, с колбасой?

Мужчина. Просто чаю. Покрепче, если можно.

Женщина. Лампочки вот здесь можете посмотреть.

*Отдёргивает оконную штору. При свете с улицы виден старинный шкаф.
Открывает створки.*

Вот здесь... должны быть...

Уходит. Слышно, как в чайник льётся вода. Чайник ставится на плиту. Мужчина роется в шкафу. Перекладывает что-то. Роняет. Шебуршит – со всё нарастающим раздражением.

Мужчина (в сторону кухни). Здесь ничего нет!! (Себе.) Книги, книги... книги... (В сторону кухни.) Здесь ничего нет!..

Женщина (из кухни). Да есть, есть!

Входит в комнату.

Мужчина. Покажите.

Женщина (достаёт из шкафа). Ну вот, например... Вот... вот...

Показывает небольшие круглые предметы.

Мужчина. Что это?

Женщина. Да носки... носки свои шерстяные штопала...

Её же замешательство.

Я на лыжах люблю... часто...

Мужчина. Вы умеете штопать носки?! В жизни не встречал молодой женщины, которая умеет!

Женщина. Ну и дальше что?

Мужчина. Дальше: стремянка у вас есть?

Женщина. Да какая у меня – стремянка?

Вытаскивает из носков лампочки и выкладывает их на стол.

Стремянка, да уж! (*Напевает на мотив «Каховки».*) Стремянка, стремянка, родная стремянка! Горячая пуля летит!..

Мужчина. А табуретка у вас на кухне есть?

Женщина (*не отвечает, напевает на мотив «Тачанки».*) Эх, стремянка-ростовчанка... наша гордость и краса... А у меня, знаете, – шарманка есть... Вот...

Достаёт из того же шкафа. Это круглая детская шарманочка.

Она у меня играла только вот это (*напевает*): «Светит ме-е-есяц, све-е-е-етит ясный...» Но Олег, знаете, мне её перенастроил! Он всё умеет! Так что теперь – вот...

*Вращает шарманку. Музыка из репертуара Эдит Пиаф: «Non, rien de rien...
Non, je ne regrette rien...» («Я ни о чём не жалею»).*

Узнаёте?

Мужчина. Понятно.

Подвигает стол в центр комнаты, под двухрожковую люстру.

Ставит на него стул.

Идёт в кухню.

Приносит табуретку.

Водружает табуретку на стул.

На табуретку – толстенный фолиант из шкафа.

Женщина. Вы меня поддержите?

Не дожидаясь ответа, залезает на стол.

Мужчина молча её оттуда снимает.

Достаёт из кармана складной нож, разрезает свечу надвое, зажигает свою.

Прилаживает эту половинку к спинке стула.

Начинает взлезать сам.

Женщина. Да вы что?! Да вы что?! На костылях?

Мужчина. Без костылей и дурак сможет. Слышали, небось, сколько требуется полицейских, чтобы ввинтить лампочку?

Женщина. Ой!! Ой, боже мой!! Да вы что!!!

Мужчина. Шестеро. Один, как я, на табуретке... Затем: четверо эту табуретку вращают... А шестой – знаете зачем?

Женщина. Да знаю я. Бородатый анекдот. Ой! ой! Осторожно!.. А шестой – в противоположную сторону вращается – чтобы у того, первого, голова не закружилась...

Мужчина. Вот вы лучше и покружитесь, чем ойкать. Больше толку будет.

Женщина. Ну, вот – тот, шестой (*танцует вальс, поет*) – «Крууу-жит-ся, крууу-жит-ся шар го-лу-бой...»

*У Мужчины в кармане звонит мобильник.
Громкие звуки какой-нибудь махровой попсы
(например, «Я не могу с тобою быть!.. Я не хочу тебя любить!..»).*

Мужчина. Да, Пусик. Ну и?.. Ты в левом ящичке смотрела? А в правом? Ну, посмотри тогда в нижнем. Ну, я не знаю. Скоро. Да скоро, скоро! Уже на выходе. Одна нога здесь – другая там.

Теряет равновесие, падает.

Женщина. Боже, боже!!

Мужчина. Теперь спросите меня (*тонюсеньким голосочком*): Ар ю о'кей, дарлинг? Всю жизнь мечтал о такой ситуации... Всю свою сознательную жизнь! Ну? (*Совсем пискляво.*) Ар ю о'кей, дарлинг?..

Женщина молчит.

Мужчина (*так же*). Ар ю о'кей, дарлинг?

Женщина (*механически, в шоке*). Ар ю о'кей?..

Мужчина (*суфлирует*). ...дарлинг.

Женщина... ..дарлинг.

Мужчина. Ну вот. Процедуру реанимации можно считать успешно законченной.

*Снова вскарабкивается, уже ловчее. Ввинчивает лампочки.
Комната освещается полностью. Несколько швейных машинок.
И везде – свадебные платья.
Мужчина садится за стол.*

Так вот. Поручение у меня от Олега... Две недели не мог. Две недели! Долбаная жизнь.

*Наклоняется к рюкзаку, хочет развязать. Из мобильного – звук пришедшей эсэмэски.
Мужчина читает. Улыбается. Убирает телефон.*

(*Женщине.*) Знаете... У меня друг один...

Женщина. Олег?

Мужчина. Нет, другой. Точнее, сын того друга – такой балбесина под тридцатник уже. Сейчас вот эсэмэску прислал. (*Довольный.*) Спрашивает, как моя нога. Он мне ведь как родной. И вот звонит... это год назад примерно было... Звонит значит: «Дядь Вить!..» Меня, кстати, Виктор зовут. «Дядь Вить, я сегодня в обморок упал. Что делать? Я боюсь». А мне – мне в Штаты лететь через неделю. Контракт на полгода. Ну, думаю, нехороший у парня симптом. Не иначе как опухоль мозга.

Женщина. Боже, боже!

Мужчина. Я мысленно уже сдаю билет... Вечером с ним встречаюсь. Расскажи, говорю, как дело было.

Рингтон мобильного.

Да, Пусик. А ты в нижнем ящичке ещё раз посмотри. Да ты не в секрете, а в этой, как её... ну как её, холеру... ну, в спальне стоит, у окна, на трёх ножках... как её? с такими ещё прибамбасами... С такими наворотами, говорю, понтовыми... Я-то туда не кладу... Да я-то.... да я-то туда никогда ничего не кладу!! Мне и класть-то нечего! Это ты всегда...

Кулаком по столу.

Ч-ч-чёрт! Ещё и трубку швыряет! Курить у вас можно?

Женщина кивает.

Ну и вот. *(Закуривает.)* А что оказалось? Пошёл этот балбес на дискотеку... снял там тёлку... *(Видя взгляд женщины.)* Ой, ну познакомился с девушкой... Ну и к ней на хату – перепихнуться значит... Да! Это он так называет, не я. Уж не знаю, как перевести.

Женщина. Ммммммм... Вступить в однократный половой контакт.

Мужчина. Да, чтобы её, значит, в контакт. В однократный... Хотя – кто может знать наперёд?.. Вот так думаешь, однократный, а после... всю жизнь... Охо-хо... И наоборот: думаешь, на всю жизнь, а... *(Сокрущённо крутит головой.)* Эхххх!..

Женщина подаёт ему блюдо – вместо пельницы.

Вот значит, утречком продирает он зенки... Девушка спит... А свет утренний – такой ясный... Ну и померещилось ему, что у неё... ну, типа, от шприца следы... А она такая вся – в драконах-ие-роглифах... в кельтских крестах... во всей этой, короче, готической хрени, я извиняюсь... живого места нет... Ну он, вроде, и следы от иглы, от ширки в смысле, разглядел... А что это за запах такой?

Женщина. Это он девушку спрашивает?

Мужчина. Нет это я... Вроде, запах какой-то...

Женщина *(спохватываясь).* Ой, чайник же, чайник!! Наверно, уже расплавился...

Убегает на кухню. Через пару секунд возвращается обескураженная.

Да... Уже почернел...

Мужчина *(оживлённо).* А вот мы раньше – как жили? Раз чайник расплавился – значит, человек для разговора хороший попался! И вообще... хороший... Хоть женись на нём!

Женщина. На расплавленном чайнике?

Мужчина *(мрачно).* Да хоть бы и на чайнике.

Женщина. Ну, что будем делать-то? Давайте апельсиновый сок пить... Да?

Мужчина кивает. Женщина берёт с подоконника пачку сока, разливает по чашкам. Присаживается к столу.

А что Олег-то передавал?

Мужчина. Погодите, я доскажу. Это важно, сто пудов. Ну были там, на мочалке на той, следы шприца или нет – неизвестно, но он себя накрутил, что она *(загибает пальцы)* – наркоманка, так? – алкоголичка... прошмандовка.... главное: СПИДом больна или инфицирована – как вам букетик? – и что он *(загибает мизинец)* – от неё заразился!!

Кулаком по столу.

Женщина. И что?

Мужчина. И грохнулся в обморок. Сходу. Представляете? Пацан такой... качок... под два метра – и в обморок... Я сейчас покажу...

Женщина. Ой, не надо, не надо!

Но Мужчина – показывает.

Господи боже! Встаньте... Давайте я вам помогу! Ничего не повредили?

Мужчина. Вот видите.

Женщина. Что?

Мужчина. Вы меня подняли. Я был сугубо горизонтален, так? А сейчас я – вертикален. Я снова – прямоходящий тростник! И, что характерно, – мыслящий!

Женщина. А что сделала она?..

Мужчина. А она... Ну, она конечно, просыпается от этого конкретного грохота...

Снова хочет «показать».

Женщина. Ой, не надо, не надо!

С силой обхватывает Мужчину.

Рингтон мобильного.

Мужчина. Да, Пусик. Ну и?.. Какой ещё «запах духов»? Ты чувствуешь сквозь трубку запах духов?! (*Нежно нюхает волосы Женщины.*) А вот и нет. Это ароматизированный шампунь. Я?.. У женщины. Да! Могу я зайти к подруге Олега?.. Богоявленского! Он ещё две недели назад меня об этом слёзно просил! Две недели назад! Слёзно! Он сам не может... Да, вот представь себе, не может! Он до сих пор в Гаграх на гастролях, ты что, не знаешь? Уже три месяца там! Да ради бога! Да ставь ты свою раскладушку, где хочешь! Да, на лестничной площадке! Да хоть у себя – на голове твоей идиотской! Я сам её там тебе поставлю!

Выключает телефон.

Стеррррвоза...

Встряхивает головой. Женщина присаживается за стол. Он тоже.

Женщина. Ну и?.. что с этим юношей дальше?

Мужчина. И вот просыпается она, значит. Эта девушка с дискотеки. И видит: такой дылда, голый, в одном, прошу пардона, презервативе, лежит ничком на полу... без признаков жизни... Она каааааак – завизжит...

Женщина хватается за сердце.

Ну, он тут приходит в себя... открывает глаза...

Женщина. Слава богу...

Мужчина. Она снова – ка-а-а-а-а-ак завизжит...

Женщина. Обрадовалась?

Мужчина. Ага. Обрадовалась. Она как завизжит: да ты эпилептик!! Мудила ты, грит, припадочный!! Гондон, ты грит, с проблемами!!

Жадно глотает сок.

И – ну его на хрен – пинком, за дверь...

Женщина. Обнажённого?

Мужчина. В презервативе...

Наливает себе ещё сока, пьёт.

Ну, он стучался-стучался к ней... тихохонько так... Точней, скрёбся-скрёбся... шум-то на лестнице поднимать не хочет... А она ему из-за двери: вали, грит, урод, под балкон, а не то я полицию вызову. И вот стоит он под балконом, ноябрь, хозяйство своё ладошкой прикрывает, дрожит... А она вышла на балкон... руки – по локоть – в резиновых перчатках.... синих таких... синюшных... Мизинчик так оттопырила – и – блымс! – манатки ему сбросила. (*Задумчиво.*) Моя бы даже в перчатках не сбросила.

Женщина. И всё?

Мужчина. Ну.

Молчат.

Женщина. Ну да... что ж... дело такое... Испугались друг друга... Бывает...

Мужчина. Ага: он о ней – ах ты, шлюха, прошмандовка спидоносная! Она о нём: эпилептик долбаный, припадочный мудака! Вот такая вот вам лав стори – без киношных раскудряшек...

Женщина взволнованно встаёт, подходит к окну.

Женщина. А вот у нас с Олегом так не было... У нас – совсем иначе было! Он меня не испугался! Хотя там, в Гаграх, женщины гораздо ярче были!

Мужчина. А чего вас пугаться-то!..

Женщина. Да я... Ну кто такая – я? Бизнес средний... дела идут так, помаленьку... Точней, бизнес маленький... микроскопический даже.... дела идут средне... очень даже средне, я бы сказала... А он!.. Он мне: «Мы – небесные муж и жена. Мы – брат и сестра... Мы родились друг для друга. Мы – Изиди и Озирис...»

Мужчина (*с интересом*). Подождите... Изиди... как вы сказали? Озирис... Это что – футбольные клубы?

Женщина (*не слушая*). У меня даже компьютера нет... телефон, стыдно сказать... отключён за неуплату...

Мужчина. Ну вот поэтому он и велел мне к вам зайти... передать кое-что на словах... (*Снова тоном Деда Мороза.*) И не только на словах!.. и не только!..

Берётся бережно развязывать рюкзак.

А я сразу не смог, а потом вот – нога эта приключилась на тренировке...

Женщина. Ой, так как же вы?.. как домой-то доберётесь? Темно уже...

Мужчина. Да меня мой шофёр внизу ждёт... Ох, вы умница! Совсем забыл...

Звонит по мобильному.

Димыч, ты там это... ну, давай... ага... минут через пять-десять... да ты не парься... ага... давай...

*Только выключает мобильный – тот начинает орать:
«Я не могу с тобою быть!.. Я не хочу тебя любить!..»*

Да, Пусик. Занято? Когда? Сейчас? Я ровно пятнадцать секунд звонил! Да!! Димону!! Можешь проверить!!! (Как от зубной боли.) Ммммммм...

Выключает телефон.

Женщина. Я с Олегом на его гастролях познакомилась. Даже репетиции их оркестра видела... Какой мир! Боже, у них совсем другой мир, понимаете? Музыка, музыка, музыка, музыка... Он сам как музыка... Он и есть музыка...

Мужчина. Кстати. А давайте-ка мы... знаете что? – на моём мобильнике рингтон сменим... Жену, увы, не сменишь, так хоть музыку сменишь... (Задумчиво.) Неплохой слоган... (С удовольствием пробует на звук.) «Помирать – так с музыкой... Жён на переправе не меняют... Будь динамичным! Меняй рингтоны!» (Достаёт записную книжку, записывает.) Или прямо так: «Меняй рингтоны!» (Записывает.) Неплохо... Олег-то что там играл, когда вы познакомились... Это?.. (Меняет рингтон.) Это?.. (Меняет.) Это?..

Женщина. И это, и это, и то... А для меня – только для меня – он вот это играл... (Крутит шарманку.) Я попросила, а он играл...

Мужчина. Тэээкс... Щас-щас.... Вот! вот она! Есть!

*Рингтон мобильника и музыка шарманки сливаются.
Проходит несколько секунд...
Наконец мужчина, словно опомнившись, развязывает рюкзак.
Извлекает на свет его содержимое.*

Мужчина. Вот. Это – вам...

Розы. Белоснежное облако. Женщина топит в нём лицо...

Женщина (тихо, глухо). Боже... Боже... Боже...

Мужчина. Простите, это должно было произойти две недели назад! Две недели назад! Целых две недели!

*Женщина танцует вальс – с букетом...
Мужчина закуливает.
Смотрит.
Рингтон телефона: «Non, rien de rien... Non, je ne regrette rien...»
Заворожённо смотрит на Женщину, которая танцует теперь уже под рингтон мобильника.
Забывает, что это звуки не шарманки, а его мобильника.
То есть: включает мобильник очень не сразу.
Наконец включает.*

(Обречённо.) Да, Пусик.

Маленькая пауза. Меняется в голосе и лице.

Ой... Ну! Ха-ха. Ух ты... Ё-моё! Не, ну ё же моё! Олечка! (Женщине.) Это Олечка!..

Женщина столбенеет.

Слушай, это у нас тут, как его, магическое действие. Заклинание, блин! Мы тебя музыкой вызвали. Ага! Материализовали... Ты – ведь музыка, да? Ну. Ну. Ну – и? Так я у неё... Только сейчас вот цветы принёс. Прости, старик, ладно?.. Две недели прошло, хрен знает что!... У меня нога в гипсе... На тренировке голеностоп полетел... Сейчас лучше... А ты? И что? Что? В смысле? В смысле?

*Выходит на авансцену.
Прикрывается от Женщины всей своей спиной.*

(Почти шёпотом.) В смысле? Я у неё. Сам говори. Сам ей говори, понял? Алё! Алё! Отключился...

Делает набор. Ждёт.

Хммм. Отключил, гад.

Женщина. Что он сказал?

Мужчина молчит.

Что он сказа-а-а-а-ал?!!!

Мужчина. Сказал, что это уже неактуально.

Женщина. Что – «неактуально»?

Мужчина. Цветы. То есть.... Всё, связанное с вами, уже как бы неактуально. Сказал, что он встретил... Встретил женщину своей жизни. Что вас – благодарит за всё. Что простит простить за всё. И забыть.

Женщина молчит.

А знаете что? Минуточку... У вас серёжки такие красивые!.. Как это я сразу не заметил... И к глазам подходят. Какой это камень?

Женщина. Нет... Нет... Ну нет же, нет!! *(С надеждой.)* Нет?..

Мужчина. Так он сказал.

Пауза.

А я говорю *(пытается потрогать)*: серёжки у вас красивые...

Пауза.

Понимаете, в нашей стране у мужчин, как бы это сказать, очень, очень высокая ротация...

Женщина *(эхом)*. Ротация...

Мужчина. Вот взять, к примеру, меня: нынешняя жена у меня уже четвёртая, а я у неё – первый... Ну, не по качеству, а просто порядковый номер у меня такой: муж первый. *(Себе.)* И, наоборот, последний... доконает она меня... а где, стерва, другого возьмёт?!

Женщина. Если бы у меня был компьютер.... Если бы я сама была компьютер.... Нажала бы в себе кнопку – «Благодарю». Кнопку – «Прощаю». И кнопку – «Забыть»... Где кнопка «Забыть»? Где? Где? Где?

Мужчина. Ох, я сам забыл...

Звонит по мобильному.

Всё, старик, спускаюсь... ага... спускаюсь...

Выключает телефон.

(Женщине.) Я только прошу вас... не надевайте резиновых перчаток... никогда, ладно? И не бросайте цветы с балкона... По крайней мере, эти. И вообще... Берегите себя.

Пауза.

Женщина. У меня нет балкона.

Мужчина. Ну, окно есть. Вот... А перчатки резиновые? Главное, не надевайте никогда резиновых перчаток...

Женщина. Окно есть, да....

Мужчина. Если погаснет свет... или что ещё... мало ли что бывает... звоните... Вот номер этой мобилы...

*Кладёт на стол визитную карточку.
Смотрит в сторону подвешенных платьев.
Они свисают с платформ швейных машинок вполне безвольно.
Утопленницы.*

Хорошо?.. Договорились?..

Женщина молчит.

(Смотрит прямо на неё.) Да или нет?

Пауза.

Женщина, едва заметно, делает головой: «Нет».

О'кей. Ноу проуBLEMс. Бывайте.

Берёт пустой рюкзак – и скрывается за дверью.

(Уже с лестницы доносится его голос): Ты меня, тварь, затрахала... Сссука... Ну сссука же... Ты меня затрахала... Я не мог при чужом человеке... Я тебя, блядь, убью... размажу, блядь... Вот погоди...

*Женщина подходит к окну, открывает.
Стоит неподвижно.
Белое платье, свисающее с потолка, раскачивается.
Хлопает дверь подъезда, затем автомобильная дверца.
Заводится мотор.
Звуки удаляющейся машины.*

*Женщина закрывает окно.
Гасит свет.
Некоторое время – темнота.
Тишина.*

*Но вот зажигается свеча.
Женщина сидит на полу.
Берёт шарманку...
«Non, rien de rien... Non, je ne regrette rien...»
Крутит шарманку... крутит шарманку...
Смотрит на лежащие рядом цветы.
Улыбается сама себе.*

Занавес.

Пьеса 3

Скайп

(Ален Делон говорит по-французски)

Интернетные «окна» скайпа можно показать как большие мониторы на заднике сцены. Герои в этом случае будут, соответственно, фигурами экранного изображения. Но можно также только имитировать экраны, то есть создать два полностью разъединённые пространства, в которых будут двигаться театральные актёры. Автор считает идеальной именно комбинацию того и другого приёма. Особенности этой комбинации, т.е. переключение приёмов, – на усмотрение Режиссёра.

Однако начать Автору хотелось бы именно с «трёхмерных» актёров.

Итак: мужчина, сидящий на развороченной постели, прикладывает к условному экрану красно-зелёный скайповый вызов. Громкие звуковые сигналы.

Рядом, через перегородку, включается свет на другом «мониторе» (то есть в другой квартире).
Мы видим женщину.

Она. Привет, ластонька.

Он. Привет... Алло! Ты меня слышишь?

Она. Слышу, слышу... И что? опять ты набрался?

Он. Да я... это самое... я только...

Она. White Horse? Правильно. Ко мне – только на Белой Лошади... Без Белой Лошади – ко мне и думать не смей...

Он. Да Белую-то Лошадь я уже ночью того... Это *(показывает бутылку виски)* Johnny Walker...

Она. А, Ваня Пешков! О'кей, тоже сгодится. Главное, что ты не один. Ибо тверёзый, не обижайся, конечно... но тверёзый – ты совершеннейшая свинья.

Он. С тобой так и сопьёшься нафиг...

Она.. А что делать? Трезвый – ты совершеннейший козёл. Не обижайся, конечно. Трезвый – ты просто крыса. Гадюка. Насекомое. Гибрид всех вместе.

Он. Ну спаси-и-и-ибочки! *(Наливает.)*

Она. Не за что. *(Мечтательно.)* Зато как выпьешь...

Он. Ага, как выпью, становлюсь шёлковый... Ну что делать, я такой... Это ведь только экстрасенсы, как нахлопаются, звонят своим будущим... А я, как все... Звоню бывшим... Тебе... Потом Алёнке... *(Пьёт залпом.)*

Она. Алёнке? Какой это?

Он. Ну, Ленке...

Она. А... ясно.

Он. Я сейчас пельмени сварю, ладно? Перекусим...

Встаёт с постели, поворачивается, идёт в «кухню».
Он живёт в студии: «кухня» находится в проёме той же комнаты.

Она. Да ты бы хоть трусы надел!! Совсем с ума что ли сошёл?!!

Он. А... ну да... я забыл... Извини... А чё, тебе всё так прям и видно?

Она (*передразнивает*). «Всё так прям и видно!..» Было бы на что посмотреть...

Он. (*судорожно натягивая трусы и прочее*). Да ладно тебе... Прямо уже... это... Ты прям, как эта...

Она. Погоди! Я тоже чё-нить на кухне возьму. (*Уходит.*)

Он (*заглядывает в холодильник, кричит ей вслед*). Слушай, я пельмени без уксуса не могу! И сметана у меня.... ещё с прошлого года... какими-то кустами вся пошла... (*Выбрасывает банку в мешок для мусора.*) Подождёшь пять минут? А? Я мигом, у нас тут внизу – бар, кафе, супермаркет... всё есть... (*Выбегает.*)

Она возвращается с небольшим подносом. На нём какая-то еда, бутылка вина, бокал...

Он (*вбегая*). Ч-ч-чёрт, забыл пельмени поставить... (*Ставит кастрюльку на газ.*) Посмотришь пока? (*Вновь убегает.*)

*Пустая комната. Тикают часы. Капает вода.
На газовой плите, под кастрюлькой, горит огонь.*

Она (*заворожённо смотрит*). Как странно... Боже... Как всё это странно... (*Чуточку наливает себе, делает маленький глоток.*)

По полу его студии пробегают мышь.

Ой!..

*Снова почти тишина.
В ней – начинает тихо закипать кастрюлька.
Тикают часы... Капает вода из крана...
Звонки телефона.
Телефон замолкает.
Долгий период молчания.
Громко: звук ключа во входной двери.*

Он (*возбуждённо, запыхавшись*). Слушай, захожу, значит, в нашу «Пятёрочку», а там...

Она. А я тут сижу – как сторожевая собака...

Он. Самая лучшая в мире собака!

Она. Ты хочешь сказать – сука?

Он. При чём тут «сука»?.. Перестань... прошу тебя...

Она. Раньше только так и звал...

Он. То – раньше... Мало ли что раньше...

Ворчливо возится у плиты.

Она (*ему в спину*). А давай спать вместе?

Он. Спать?

*Молчание.
Он поворачивается, подходит к компьютеру.*

Ты сказала: вместе спать? Алло!.. Алло!..

Она. Алло! Не слышу тебя!

Он. Ты что сказала?

Она. Алло! Не слышу! Что-то со связью...

Он. Ч-ч-чёрт. Перезвони!

Свет выключается на обоих мониторах...

И – загорается у неё. Она звонит.

То есть: прикладывает к экрану красно-зелёный вызов скайпа.

Она. Алло! Сейчас слышишь?

Он. Да. А ты?

Она. Слышу... Ну... я сказала... «а давай спать вместе».

Он. Я слышал.

Она. Ну вот. Я имела в виду: есть вместе – и спать тоже вместе... Это же так просто... В смысле: ну, не будем выключать наши камеры... Проснусь вот ночью – а ты рядом спишь... Ты проснёшься ночью – а я рядом сплю... Проснёмся вместе – вместе встанем... Вместе позавтракаем, всё такое...

Он. Да уж. И секс по скайпу.

Она. Что?.. Алло!..

Он (*громче*). Я говорю: и секс – тоже по скайпу!

Она. Перестань. Ты же сам просил перестать.

Он А почему же это мне перестать?

Она. А потому что это тебе не игрушки!!

Он Почему не игрушки?..

Ставит тарелку с пельменями на столик, рядом с бутылкой.

А помнишь... как играли в «корову»? в общежитии-то?

Она. Ха! У меня Альцгеймера-то ещё нет. Я получше тебя всё помню.

Он. Лучше меня ты помнить не можешь.

Она. Почему это?

Он. А потому, что я всё ещё и записывал.

Она. Ага, Геродот и Плиний-старший в одном флаконе.

Он. Я просто уже тогда знал, что всё это накроется медным тазом.

Она. Знал?..

Он. Знал. Причём знал, что накроется очень скоро.

Она. А я вот не знала.

Молчат.

А ну-ка...

Он. Шас... (*Достаёт тетрадку, открывает, читает.*) «Вчера собирались у Ваньки Чертопрахова...» Ты помнишь, он с Шамилем всегда в одной комнате жил? Ещё до чеченской войны?

Она. А как...

Он. Да никак. Ничего не известно. Шарил по Сети – ничего. Как и не было их. Как приснились.

Она. А может, Шамиль – олигарх? Такие светиться не любят.

Он. Да нет...

Она. Что – «да нет»?

Он. Не олигарх... И вообще... нет его больше... Не хотел говорить...

Она. Когда?

Он. Лет десять уже... Это не из Интернета. Знакомые сказали.

Молчат.

(Зло.) Кинжалом себя зарезал... первый раз – неудачно...

Медленно наливает в стакан.

Пьёт.

Принимается за пельмени.

Ладно. Я про игру. Значит так... (*Заглядывает в тетрадь.*) Делимся на две группы, да? И одна группа, в коридоре, загадывает слово... Или цитату даже...

Она (*перебивая*). И один кто-нибудь должен всё это изобразить... Пантомима такая... Он входит в комнату, там сидит вторая группа. Те стараются угадать...

Он (*читает*). «А намёки можно давать только насчёт того, когда именно это было...» (*Отрываясь от чтения, показывает.*) Рукой назад – прошлое... Пальцем вниз – сейчас, значит... Рукой вперёд, как Ильич, ну, значит, фьючер... наше счастливое фьючер... И вот до того тогда друг к другу прилаженные были, что...

Наливает, пьёт.

Она. Ты бы сбавил темп.

Он. Да ладно, погоди! Вот... (*Читает.*) «Входит Серёга, показывает рукой *прошлое* – потом чего-то с полу хватает – и словно так жадно-жадно ест. А потом вдруг – ка-а-а-ак скакнёт!! Мы сразу поняли: кузнечик. Более того: поняли: Серёга – Хлебникова показывает».

Она. «Крылышкуя золотиписьюм
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер...»

Он. «Пинь, пинь, пинь! – тарарахнул зинзивер...»

Доедает пельмени.

Она тоже доедает – что-то своё.

Он. Кстати: я недавно курить бросил.

Она. Да я вижу... А помнишь, ты сам вошёл, показываешь: *прошлое*, а потом нагнулся – и рукой такие волны изобразил....

Он. И что это значило?

Она (*мстительно*). Ты же всё записывал!

Он. Ну, а это вот не записал... ну ладно тебе...

Она. Ха! Мы сразу угадали: золотое руно! аргонавты!

Он. Да это ты, наверное, угадала... больше никто...

Она.. Да нет, мы все! В том-то и дело, что мы все вместе, хором!

Он. Голос-то твой, блин, совсем близко... Вот здесь, в левом динамике... Правый не работает...

Она. Попроси Генку, он живо починит...

Он. Генка бы починил... живо... да сам-то не жив...

Молчат.

Она. Когда?

Он. Год назад...

Она. Ты не говорил...

Он. Ты не спрашивала...

Молчат.

Она. И что было?

Он. Да ничего... Элементарно спился. Я всегда думал – либо сиганёт с крыши... либо ребёнка на пожаре спасёт... либо женщину в море... либо уж менты его ухайдакают...

Она. Я тоже так думала.

Он. Вот эта версия, насчёт ментов, мне самой реальной казалась...

Она. Мне тоже.

Небольшая пауза.

А он?..

Он. А он – тихо-мирно... цирроз печёнки... Плюс, под конец уже, коронарная недостаточность... рак простаты... Никогда бы не подумал... Генка!

Молчат.

Оба наливают, пьют.

Она. Набрала в Сети – ничего. Как не было. Это Генки-то!! Он, когда на митингах говорил, вся главная площадь навтыжку стояла. Народ дышать боялся, чтоб слово не упустить... Спрессовано так стояли...

Он. Ага, как опилки ДСП... Там ведь около десяти тысяч человек помещается...

Она. А с прилегающими улицами-переулками – все двадцать... Набрала в Сети – ничего. Ковра языком слизнула.

Наливают, пьют.

Он (*уже очень пьяный*). Ты забыла деревню, затерянную в болотах залесённой губернии, где чуел на огородах отродясь не держат – не те там злаки, и дорогой тоже всё гати да буераки. Баба Настя, поди, померла, и Пестерев жив едва ли...

Плачет.

Она. Да ладно, чего ты! (*Собравшись, подхватывает.*) ...а как жив, то пьяный сидит в подвале, либо ладит из спинки нашей кровати что-то, говорят, калитку, не то ворота....

Еле сдерживает рыдания.

Он. (*уже бесстрастно, мертво*). А зимой там колют дрова и сидят на репе, и звезда моргает от дыма в морозном небе. И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли да пустое место, где мы любили.

Наливает. Делает большой глоток... Резко морщится.

Ой! Схватило чего-то...

Она.. Где?

Он. Да здесь... вот...

Она. Это поджелудочная...

Он. Да... верно... стала что-то поджелудочная отказывать... Раньше всё бабы бывало отказывали, а теперь – поджелудочная... печень... селезёнка... чё там ещё?

Она. Перестань... Ты девчонкам всегда нравился... Сам знаешь.

Он. Ну, красавчиком я, положим, никогда не был.

Она. Это неважно.

Он. Красавчиком не был, а молод был...

Молчат.

(*Тихо, словно для себя одного.*) Она читала мир как роман...

Она. ...а он оказался повестью...

Он. ...соседи по подъезду...

Она. ...парни с прыщавой совестью...

Дальше – так же тихо, вместе.

Прогул-ка в парке без до-га
может встать тебе слишком дорого...
Мать учит на-и-зусь те-лефон морррр-га...
Когда её нет дома слишком долго...

Громче.

Отец, приходя, не находит дверей!
И плюёт в при-готовленный ужин!
Она – старше, чем мааать!
Он должен стать её му-жем!

Громче, по нарастающей.

Первый опыт борьбы против пот-ных рук
Приходит всегда слишком рано!!
Любовь – это только лицо на стене!!
Любовь – это взгляд с экрана!!

Ещё громче. Наступательно. Агрессивно.

Ален Делоооон! го-ворит по-французссски!!!
Ален Делоооон! го-ворит по-французссски!!!
Ален Делон, Ален Делон – не пьёт о-де-ко-лооон!!!
Ален Делон, Ален Делон – пьёт двой-ной бур-бооон!!!
Ален Делоооон – го...

Резкий стук снизу.

Она (*испуганно*). Ой...

Он. Чего там у тебя?

Она (*шёпотом*). Мне снизу стучат... Марокканцы... у них дети...

Он. А сколько времени у там у вас?

Она (*шёпотом*). У нас – двенадцать...

Он. Так и у нас же – тоже двенадцать!..

Она. Так у вас-то – дня, а у нас – ночи!.. (*Хочет.*) Сечёшь фишку? (*Истерически хохочет.*
Проговаривает сквозь хохот.) Так у вас-то – двенадцать дня, а у нас – двенадцать ночи!..

Резкий стук сверху.

Она (*показывает вверх; шёпотом*). Мексиканцы... у них дети...

Он. Выходит снова ты – прослойка... Что тут была, что там остаёшься...

Она. Ага. Только коржи пирога здесь совсем другие. Подо мной в молодости марокканцы как-то не жили...

Он. Сейчас, кстати, всякие живут. Я в твой подъезд недавно заходил...

Она. А чего?

Он. Да так просто...

Придерживая рукой бок, осторожно допивает.

Китайцы, колхидцы... Дети Памира, сунниты, шииты... Даже по-ногайски кто-то скандалил... Я спрашиваю: это что, говорю, за язык такой? А они – ногайский. А потом: «Иды-иды, блиат, на гуйй!» В той квартире, как раз под твоей, – там профессор русской филологии жил, помнишь?

Снова накладывает пельмени из кастрюльки, ест.

Она. Ну да, да! Ещё бы... А где он сейчас?

Он (*с набитым ртом*). Да где же ему быть? В дурке, конечно. Или уж – там.

Снова наливает.

Она. Лучше уж – там. (*Пауза.*) А давай чокнемся? (*Протягивает бокал к экрану.*)

Он. Да мы и так чокнутые.

Она (*кокетливо бодает бокалом экран*). Ну даваааай! Ну? Давай. А какой тост? (*Немного трезвеет.*) Ой, тебе же нельзя... Не пей, Гертруда...

Он. Да лаааадно те!.. Поехали. (*Пьёт залпом.*)

От резкой боли сгибается пополам.

Молчание.

Очень долгое молчание.

Наконец он медленно распрямляется.

Она. А давай – шёпотом, а?.. Давай?

Она молча, едва заметно кивает.

Парни могут стараться на квартирах подруг...

Этот шёпот похож на крик.

Он. ...она тоже бывает там...

Вместе. Кричат шёпотом.

Но это ей не дает ничего!..

кроме будничных утренних драм!..

Он начинает странный, судорожный танец.

А дома – совсем другое кинооо!..

она смотрит в его гла-зааа!..

Она тоже танцует.

Каждый из них танцует сам с собой

Словно бы – внутри себя самого.

И фанта-зии вхо-дят в лоно любвиини!.. –

сильней, чем все те, кто узнают её!..

Танцуя, он постепенно сбрасывает с себя одежду.

Возвращается словно бы в своё исходное состояние.

Ален Делоооон!.. го-ворит по-французссски!..

Ален Делоооон!.. го-ворит по-французссски!..

Ален Делон, Ален Делон – не пьёт о-де-ко-лооон...

Ален Делон, Ален Делон – пьёт двой-ной бур-бооон...

Ален Делоооон!.. го-ворит по-французссски!..

Он спотыкается о кресло, валится в него – и... мгновенно засыпает.

Она долго смотрит на него. Очень долго.

Выходит. Приносит ещё вина.

Разнообразные звуки дневного города за его окном: машины, детский смех, лай собак, женские реплики, матерщина подростков...

Она. Невероятно... Невероятно... *(Себе самой, очень тихо.)* Вот если бы я... если бы я... вот если бы я снимала кино.... я бы именно здесь и пустила титры... Сценарист – такой-то... Режиссёр – такой-то... В ролях... По-русски, по-русски... конечно, по-русски... Фильм – полностью русский, без перевода...

Он спит.

Она безотрывно на него смотрит.

Звуки чужого города за его окном.

Медленный занавес.

Вера ФРЕНКЕЛЬ

Стихотворения из сборника
«Дожди. Книга городских пейзажей (1958 – 1961)»

Вместо
яблок
под деревом – листья...
– «Лись, лись, лись...»
Листья слетелись, и мы прошлись
серым шагом рокочущим – как солдаты
в сумерках – вдоль кустов красноватых.

Дымы

Плотный и белый дым.
Под ним –
крыша будто покрылась льдом...
(Голубь
дым
разрезал крылом...)
Дым
спешит – катается с крыши...
Дым – за дымом –
вниз скользят –
мчатся назад –
резвее,
от мороза
порозовели.
Разовьются
над дымом –
их развееет...

Вера Федоровна Френкель родилась в 1929 году, жила в Ленинграде, умерла в 1974-м. Поэт, переводчик со шведского, польского, немецкого и др. языков (произведения Юлиуса Векселя, Тадеуша Ружевича, Р.М. Рильке, Э. Мёрике). Собственные стихи уже после смерти печатались в журнале «Грани» (1977), в иерусалимском альманахе «Гнездо» (1998), в журнале «Арион» (2012), в книге В. Бетаки «С неводом по берегу Леты». Тексты из архива Василия Бетаки. Подготовка текста и публикация Владимира Орлова.

Беловатый, сияющий...
– Все оттенки.

Тени
тоже катаются.
– С розовой
стенки.

Стекла

Стены дома – праздничный
стол:
Стекла –
белый фарфор
(а внизу – зеленее:
мороз на щелк
попробовал –
зазвенели...)
А хрусталь – темнее
на вид,
но прозрачней
звенит
(если чокнешься)
в окнах нижних,
нежно...
Пенится снег в одном окне...
Это – наверное, кубок снежный?

3 часа ночи

Ты не чувствуешь тяжести
неба
И глубины – нет,
Только внешний и легкий
и, кажется,
Святящийся
белый
цвет.
Воздух – такой далекой
Пустоты, что видны
Все оттенки и линии,
Распадается шум на отдельные
звуки:
без заботы
не спится
птицам...

Распевают...
Тревожно крича,
(как всегда по ночам)
зовут
Пароходы...
Беспокоясь,
Простучал одинокий поезд,
И сверло самолета
вонзилось в сон...

Голоса белой ночи

Тянется
прибрежная полоса
Неба –
это песок дымится,
Незаметно течет.
В глубине осыпается
солнце,
Оно –
не печет –
Это желтый (холодный) песок,
И шуршит над Невой его голосок
Сыпучий.
Дальше – красный песок, –
зыбучий,
раскаленный песок...
На него минареты
(это –
восток)
молятся...
– «Посмотри, –
раздаются белые голоса, –
как застыли черные фонари,
а высоко,
Над зеленым – синие облака,
Темно-синие (много светлей – река)...
Помолчи...
Взлетишь без усилий...»
Приглушенно – в ночи
(не замечен крест),
над Невой звучит
указующий перст –
выпуклый луч шпиля.

Солнцу –
Нева сопротивляется.
Упрется –
отталкивает толщею ладоней
свет; и свет – не тонет –
скользит и разливается,
как ртуть...
Лощеная поверхность – это труд,
– Упругость и упорство. –
– Единоборство.
Солнца
и черной глубины.

Сумерки

Ниже
 стали мосты
и лежат
 на воде.
И стволы фонарей
слегка расплющены.
И не видно травы
под тяжелыми листьями,
там, где приземистые
 кусты...
Все придавлено будто
глуховатым уютом
сумерек...
 В гуще
еще не погасшей –
 не опавшей –
 листья –
коренастые (угольные) стволы...
И деревья
 похожи...

Это просто степенные ясени...
Это – отблеск тусклый
 на русской
 осени,
свет – не здешний, а плоский,
 широкий, древний,
докатившийся
 из голландской деревни.

Небо – теплое, беловатое,
С утра
Изнутри – согрето.
Воздух ласково обволакивает
Ветки
 (каждую),
Все – предметы.
Если над лужей склониться,
Разорвется серая сетка
Сучков и вспорхнет с ветки

Прилипшая птица...
Закачается дом...
И мы тоже – пойдем
 кругом...

Осень (скоро замкнется круг
года) свет отряхает:
и свет – упруг:
крыша – сухая,
 и он отскакивает –
не отражается...
 Снизу – серые ноги,
тонкие, длинные,
 почти упираются
в подоконники.
Ноги – в желтых шляпах...
Это – трубы. (Такие разные:
вот другие – из золота,
а шляпы – грязные...
А еще – пестрые
 ноги,
пятнистые –
 как березы...
– Только без листьев...)
Ребра
 (дома) – звонкие, острые...
(они – наточены)...
Даже можно порезаться.
 – И истечь
 кровью.

Игорь БОНДАРЬ-ТЕРЕЩЕНКО

А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО.

О неонowo-неонowo реализме Николая Кононова

Николай Кононов. Саратов: рассказы. – М.: Галеев-Галерея, 2012. – 568 с.

Рассказы Николая Кононова из книги со сложно подчиняющимся названием «Саратов», в котором поверженный сарацин, будто влекомый хазарским духом хозяйственного мыла, складывается вдвое в фабричном романсе и прячется за папиросную пазуху любовника жены, – это нечто отличное от классических «Похорон кузнечика» данного автора, и уж безусловно не двоюродное по чуть остывшему отношению к его недавнему «Фланёру». Своеобразный (и своеобразный) поэтический тьяни-толкай эротического, как водится, толка вкупе (и всуе) с невиданным левиафаном петербургского текста. Говорят, «матовый блеск асфальта после дождя – вот и вся ваша ленинградская школа», но Кононов учился в другой бурсе, нестоличной, это уже преподавал он там, где дрались на переменах и насиловали мертвых. То есть, в Ленинграде, на Петроградской стороне. Впрочем, нелегко без разбега и филологической спеси угадать с первого раза источник света в этой прозе, норовящей псом шелудивым куснуть за пятку Незнакомки. То ли электрический, по наитию, пес Петербург, то ли занавешенные картинки иных кржижановских чресел. После понимаешь – вечно юный старец Набоков, настоящий на Бруно Шульце, откуда Тадеуш из упомянутого «Фланёра» произошел. То есть, перенасыщенный раствор сглотнутых междометий, куртуазный реверанс жителя окраин и вещный диалог окаменевших структур семантически неужё(б) много бытия. Ещё? Если вы не про одноименную газету, то – крошки пепла, брызги шампанского, лязг цепочных кандалов на

лестничной клетке века-волкодава. Если и возможно вставить хоть запятую в гул этого особого времени суток, где подобная проза настаивается, словно крышон, и благоухает, как блокадная лебеда, то разве что верхом на порошковом лезвии ножа. Лучше наваха, да, ведь не бумагу же нам, в самом деле, резать этим острым языком выкидного пламени! Балетный оргазм, экстатическое чувство филологической ряби и лингвистической же атональности здесь будут неуместны, как слова «эфир», «марафет» и прочие за-предельные сладости родом из полуистлевших «Петербургских ночей» и коричневого наследия наших близких, не коммунальных соседей. Можно короче – козлоногая песнь эльфа, бархатный трафарет несуществующего, как говорят, Серебряного века, на который Лекманов разменял ласточкин раструб своего публичного пера. Что ещё? Ах да, вычурная траектория мысли автора, ускользающая биссектрисой-крысой в сырую норку последствий. Казнить нельзя помиловать – каждый, конечно, волен сам расставить малиновые шашечки отточий и препинаний, но сия проза вообще качественна в смысле неточностей произношения и прочих поэтических вольностей, поэтому не может не понравиться не искушенному факультативным чтивом индивиду. Наскучить – да, с первых же тактов латинизированных порой названий и неумемного дара рассказчика взбивать пену околлоплодного сюжета, не затрагивая струн балалаечной души, а вот отвергнуть (как отторгнуть) усталое внимание полумночных глаз – это вряд ли. Устать до рассвета можно от чего угодно, только не от соития с этой куртуазной прозой.

Иногда, вполне себе в «аквариумном» фарватере, думаешь, «летя в электрическом небе», когда же ты, сука, упадешь. Автор «Саратова», ловко смешивая стилистические контексты, иногда любит упасть на дно души своего героя, дабы оттуда пронаблю-

дать за звездами в задку притаившегося дьявола мелочей. То есть, сыграть на лингвистическом контрасте сословий, когда вдруг в балетном присутствии величая дама, только что закатывавшая глаза в пароксизме балетной страсти, припечатает вас терпким подъездным словцом. А других словечек у них для нас, читателей Акунина, нет! Опять-таки говорят, что это неудивительно – для города, издавна привыкшего к репрессиям. И о том, как выживает местная интеллигенция на обгабренном не только революционным заревом асфальте питерских мостовых, можно вычитать даже из иных куртуазных зарисовок «Саратова». Просто, выражаясь языком его автора, «там проявляются совсем другие качества объектов имущества» – городского, коммунального, общесоюзного, – которые, словно тени из имперского прошлого, таятся за штукатурной патиной бытовых отношений.

В том-то и дело, что, может быть, огней и много золотых на улицах Саратова, как поется в гимне девичьей грусти, но автор любит женатых на совсем другой прозе героев. Дворовая брань звучит у него в унисон дворцовой музыке сфер, исторгаемых ржавыми унитазами из его коммунальных подчас сюжетов. Он не тщится не замечать окружающий мир животных страстей, а вписывает его – да-да, словно «лев из цветного пенала» – в личную кассу отмененных когда-то букв и забытых слогов, сосуществуя с азбукой пролетарского величия словно нищий принц из когда-то щедрой Страны советов. Там балет любили не меньше хоккея, становясь алкоголиками исключительно из страсти к Ремарку и Хемингуэю. Литературное пьянство, гуманитарный запой всесоюзного братства имени доктора Равика, дальнейшие бродские коннотации вроде «налить вам этой мерзости? налейте» – вот откуда, на самом деле, происходит эта проза, настоящая на позднейшем открытии Кузмина и Газданова.

Вневременные подчас композиции эфирно-сценического толка и откровенно суровые мизансцены, развернутые в плакатные

сегодня – все это топографическое великолепие знаков, символов и смысловых вещей, обязательно и тщательнейшим образом синкопированных эротической метафорой, создают хрустальный мир прозы Николая Кононова. Тронь такую крепким словцом критики, и посыплется снег в шарике жаркого восприятия, и свернется ежовым клубком едва различимое чувство детского восхищения обычными, казалось бы, вещами. То есть, как это у автора устами сумасшедшей славистки? «Совершенно небесно при всей низкости, нет, низости». Вот невзрачная гостья, похожая на хитрую лису Алису, обнюхивает в чужой гостиной насаженный на вилку кусочек, вот ломкая Катя-декадентка в тунике из отдела гравюр Эрмитажа, вот, наконец, чаемые врачи-вредители, то есть, пардон, врачи-гомосексуалисты Вова и Гена. И обязательные при этом сумерки, «будто из мешочка просыпали темную пудру», и, конечно, ностальгия, как в национальных особенностях охоты на пролетающие смыслы петербургских настроений завожского автора. Неизбывный флер декаданта (знаком ли автор с местной знаменитостью Марусей Климовой?), имперское величие столового серебра на тарелке с пельменями и паленым «Абсолютом» в смутных поэтических гостях (сам автор любит не больше пары бокалов «Монтепульчано»), мистический бедлам иносказаний, мелкокалиберная точность описаний. Как это у него самого? «Вычурный правильностью язык, доведенный до акцента».

Событий в этой прозе немного, сюжет, естественно, вялотекущий, но не расплывается древом коллективной памяти о «другой литературе», главное – детали. Виньетки, записки на манжетах-гаджетах, предательски выглядывающих из-под поэтических рукавов автора. Наряду с подобными кружевами обязательным дополнением к литературной карте русского мира в нынешней словесности должен выглядеть пресловутый «новый реализм». Если бы, конечно, его адепты не были озабочены холостыми зал-

пами непрожеванных цитат из южнорусской школы прозы, где торжество честного земледелия, как у Кононова, подменено эрзацем бодрящей жизни с кислым лимоном страсти на жестких губах вышибалы. Там ведь как все устроено, помните? Мир вокруг жесток и безрадостен, а главный герой все равно счастлив без меры. Вокруг ни балета, ни томных поэтесс, а ему, извините за чужие цитаты, «так страстно и нежно живет», что порой «внутри все клокочет от радости и безудержно милой жизни», поскольку «во всем была тихая, почти недостижимая, лирическая благодать», и уже «первая ложка борща вернула вкус счастья, полноценного и неизбывного». Словом, иногда доходит до того, что «нежность к миру переполнила его настолько, что он решил устроиться наемником в иностранный легион», как сообщает иной представитель «нового реализма».

В «Саратове» все по-другому, его автор не озабочен ретивостью гайдаровской школы и не прячет грязные концы в платоновское косноязычие. Пресловутый лаконизм и командный стиль формалистских речевки и прочий модный национал-большевизм современной прозы ему чужд. Даже в сюжетном бизнес-плане о «цоколях от лампочек, люминофоре из старых кинескопов и чистой грязи из Мертвого моря в джутовых мешках», предложенном в неожиданном рассказе о современных коммерсах, Кононов избегает преступной легкости стилистического бытия. Он по-прежнему избыточно многословен, и слух его непоправимо испорчен трубными звуками оркестровых феерий. И даже в какофонии туалетного бачка он различает партитуру отношений, синкопируемых такими летучими, но неискоренимыми веществами, как ломберный дым рассказчика и вечный туман за талым подъездным окном, обязательно в стиле ампира. Классические «золотые огни на улицах Саратова» оборачиваются у Кононова болотными огоньками, блуждающими по страницам университетского курса «Петербургский текст русской литературы». Искажая и без

того анекдотическую картину ревностных отношений между двумя литературными столицами, где разница между «тротуаром» и «поребриком» возведена в ранг метафизических стигматов, Кононов подливает масла под ноги ошалевшему читателю и продолжает самозабвенно множить неуставной топографический ряд. Ну как будто бы местный житель, а не недавний варяг родом из волжского пароходства. Вот как вам, например, «история одной парикмахерши с соседней роты»? Причем милитаристский подтекст тут ни при чем, он выдохся еще в первой части до неприличия драгунского «Фланёра». Имеется в виду урбанистская организация пространства, которая свойственна исключительно северной столице. Ох, как хотелось бы в связи с подобной утилитарностью стиля оставить полный вариант подзаголовка данной заметки – «О неоновом-неновом реализме Николая Кононова, онаниста» – да ведь редактор не пропустит партикулярных уточнений. А ведь для автора «Саратова» подобное разъяснение скрупулезности его стиля – словно дотошная паспортизация данных русской классики – как для одного типа героинь, твердо знающих имена-отчества Ходасевича и Заболоцкого («скончались в 1909 и 1958 годах, в Царском Селе и Москве, соответственно»), так и для другого подвида персонажей, чей «культурный статус тонет в декабрьской мороси». Пускай даже в «Саратове» все они одинаково канут в непролазных дебрях русской литературы.

Сергей ТРУНЕВ

САМОДОСТАТОЧНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЖИЗНИ

Игорь Савельев. Терешкова летит на Марс. Роман. – М.: Эксмо, 2012. – 224 с.

Придумать название для рецензии, причем такое, которое бы отражало не только содержание текста самого Игоря Савельева, но также и мое индивидуальное его прочтение, было

сложно. В конечном счете, все описываемые события приходят как бы к началу, к некоей нулевой точке, с которой, по идее, должно начаться еще что-то. Словосочетание «самодостаточность движения» тоже не исчерпывает ни содержания, ни моего отношения к нему, поскольку даже движение на месте может быть (и является в данном случае) демонстрацией некоторой социальной позиции. А это хотя бы что-то, если мы уже не способны замахнуть на большее или если все наши усилия нивелируются косностью окружающей нас среды.

Герои романа – я имею в виду главного героя и окружающих его друзей-любимых – судорожно порой пытаются отыскать свое место в потоке жизни. Кто-то, догоняя призрачную мечту, уезжает «за бугор», кто-то старается, не потеряв себя, не выполов с корнем сросшихся с душой ценностей, реализовать в окружающем российском рынке, нелепо мимикрирующем под супермаркет.

Еще это роман о памяти поколений, равно как и о ее отсутствии. Потерявшие связь с историей, с прошлой жизнью становятся манкуртами – рабами, потерявшими память, слепо исполняющими все приказы хозяина. Главный герой и те, кто, опять же, составляет его небольшую социальную сеть, таковыми становиться не желают. Оттого порой пронзительно звучит в романе столкновение прошлого и настоящего: «Вперед! – двор высотки, странно пустой, и вторые этажи натянули непонятные неводы, ловя в железные сетки не то мусор, не то расклавшихся членов ЦК. (Ха.) Из вколотенного в стенку кондиционера вела трубочка, вода капала и капала на одну из мемориальных досок, оплакивая неутешимо безвестного Героя Соцтруда. Во всяком случае, шикарное имя Роман Кармен ничего Павлу не сказало. И все мы как манкурты». И хотя по мере повествования, оказывается – не все, однако локальный бунт, затеянный группой главного героя, представляющей часть нового поколения, ищущую что-то, помимо денег и власти, оказывается неудачным. По сути, он даже усиливает приток клиентов в авиафирму, шарлатански гарантирующую VIP-пассажирам стопроцентную безопасность полетов.

Наконец, это текст об исчезновении романтики. О том, как в течение жизни машина чудо-

вищной советско-российской действительности перемалывает людей, низводя их до состояния полуслепых домашних животных: «Пытаясь помочь, Анна Михайловна суетилась не меньше болонки, бралась за вещи неправильно, видно было, что ей тяжело. Паше оставалось только тихо изумляться тому факту, что эта слепая курица, в очках на пол-лица, как будто вверх тормашками надетых, в молодости прыгала с парашютом, едва ли не мечтала попасть в отряд космонавтов... И что от этого осталось. Как все-таки расправляется с нами жизнь».

Прошлое манит подлинностью; настоящее кажется фальшивкой. На самом деле, конечно, и настоящее не настолько плохо. Но вместе с движением жизни, вместе с так называемым «взрослением» из сознания человека выветривается мечта. И это уже не связано ни с российскими, ни с какими иными реалиями: это естественный и потому страшный процесс развития каждого отдельного человека. Однажды наступает день, когда понимаешь, что от твоего прошлого остались лишь фотографии да подшивки журналов: «Обложки и вклейки раскрашены в такие цвета, что завораживает зрение, и совершенно очаровывает персиковый тон какого-нибудь Мао. А номера года шестьдесят второго, портреты космонавтов? – волшебная же аура, в стране появились особые люди, обожаемые, совершенные – молодые, красивые, с нереально безупречными биографиями, с нереально отретушированными улыбками, – как боги спустились с Олимпа...»

Олег РОГОВ

КИНО, КОТОРОЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ. ВАШУ?

Тэв Спаркс. Кинойога. – М., 2011. – 290 с.

Зазывали в кино ночью – «Бергмана ленты!»

А крутили – из жизни твоей же моменты.

По сто раз. Кто же знал, что ночами кино арендует ад?

Елена Шварц. Элегии на стороны света (Северная)

Автор книги – известная фигура в области трансперсональной психологии, преемник Станислава Грофа и нынешний директор

его персонального тренинга. Спарксом были написаны книги «Широко раскрытая дверь» (сопоставление программы «12 шагов» Анонимных алкоголиков с путями мировых духовных традиций) и «Через грозу» (эпическая поэма на архетипическом материале), у нас они не переводились. «Кинойога» появилась в Америке в 2009 году, в России вышла в издательстве «Ганга» с помощью Ассоциации Трансперсональной психологии и психотерапии. В основе книги – многолетняя практика использования современного кинематографа в терапевтических целях.

О мифологии кино написаны сотни работ. Армии сценаристов тщательно разрабатывают сюжеты, давным-давно зная, на какие «кнопочки» надо нажимать, чтобы добиться желаемой реакции зрителя. Собственно, само «жанровое кино» (с неизбежным, впрочем, раскачиванием жестких рамок) – это своего рода линейный рецепт приготовления очередного киноблюда из востребованного на сегодняшний день меню. Основа та же (по меткому замечанию Спаркса, большинство кинолент можно свети к типовой формуле «Некто отчаянно жаждет чего-либо и, пытаясь заполучить это, попадает в неприятности»), специи и гарнир меняются в зависимости от потребностей рынка. То есть от желания зрителей. Вопрос о том, что что определяет, мы оставим открытым, ибо тайна сия велика есть.

Как бы там ни было, кино иногда нас «цепляет». На этом строит свою методу Тэв Спаркс, называя ее кинойогой. Йога в данном случае рассматривается как духовная практика вообще. Такое широкое применение термина оправдано этимологически – корень этого санскритского слова значит «соединять». Вспомним, что Лактанций так же выводил и этимологию слова «религия».

Спаркс использует известную модель базовых перинатальных матиц, предложенную Станиславом Грофом, и удачно приспособливает ее к популярному современному времяпровождению – просмотру кинофильмов. Он даже дает имена матрицам (у Грофа они просто пронумерованы) – зоны безопасности, ловушки, войны и свободы.

Каждую ступень развития плода во время беременности Спаркс соотносит, вслед за Гро-

фом, с неким состоянием, память о котором может воспроизводиться в течение жизни и определять поступки и ситуации, возникающие якобы произвольно и объективно.

Просмотр кино для охоты за такими инсайтами – удачная и почти беспроектная технология. От зрителя требуется совсем немного – освоив азы теории, поймать себя во время просмотра киноленты на сильной эмоции и ступенчато опрокинуть ее в прошлое, чем глубже, тем лучше. Потом, как это водится (и правильно водится) в подобных практиках, принять ее, признать частью себя и должным образом интегрировать, освободившись, таким образом, от привычного проецирования во фрейдовском понимании. То есть, направить процесс не по горизонтали (отношения с миром, проекции), как мы обычно это делаем, а по вертикали. Сначала окунуться в бессознательное (нижний отрезок пересечения вертикали с профанной горизонталью), выудив оттуда искомый ответ на эмоцию, а потом, во время интеграции, вступить в контакт с Самостью и целостностью (верхний отрезок вертикальной линии). Вот такая рабочая модель креста называется у Спаркса «навигационной системой осознания».

То есть, во время просмотра кино мы «осознаем и исцеляем воспоминания», которые подкидывает нам изображение на экране. В отличие, скажем, от произвольных ассоциаций психоанализа, это гораздо более мобильная и менее затратная терапия.

Любопытно, что Спаркс использует в своей методике, как правило, сугубый мэйнстрим («В поисках Немо», «Пляж», «Тонкая красная линия», «Челюсти», «Звездные войны», «Властелин колец», «Искусственный разум», «Лестница Иакова», «Криминальное чтиво», «Чужой», «Гладиатор», «Дракула», «Апокалипсис сегодня»). В предлагаемом Спарксом списке мы не найдем ни Антониони, ни Вайды, ни – еще сотня-другая фамилий.

(Спаркс иногда пишет очень странные вещи – такое впечатление, что автор живет не в центре цивилизации, а в отрезанной от мира глухой деревне без средств коммуникации. История о том, как знакомый из Испании рассказывает автору, что, мол, есть такой интересный фильм «Блудерри», но его трудно достать,

потрясает, – не бог весть какой артхаус, в конце концов...)

Казалось бы, внимательный зритель так называемого «авторского кино» может вынести из просмотра гораздо больше, чем из блокбастеров. Но «другое» кино, наверное, требует иного способа восприятия, нежели «первичные эмоции», о которых говорит Спаркс. Впрочем, и тут киноюга работает – если ты не сопереживаешь герою, а лишь наблюдаешь, то, возможно, именно в этом и состоит твой инсайт.

Разумеется, массовая культура активно оперирует сакральными образами и архетипами. Как пишет Спаркс, на киностудиях «знают, как правильно работать со священным».

Это помогает зрителю выстроить – или нащупать – личную мифологию. «Когда я посмотрел "Звездные войны", я был в двух шагах от собственной эпопеи, своего духовного пути.. Что по-настоящему потрясло меня, была Сила. Наконец в современной поп-культуре нашелся глубокий духовный принцип, который был бы доступен миллиардам. Мировые религии могли бы потратить еще пять тысячелетий, прежде чем предложить огромному количеству людей такую радикальную, одновременно безопасную и простую в использовании концепцию, как "Да пребудет с тобой Сила!" Уже не говоря о борьбе Светлой и Темной сторон, разворачивающейся прямо перед вами».

Просмотр кинофильма, таким образом, становится духовной практикой. Или терапевтической процедурой, если вас уже тошнит от слова «духовность», что вполне понятно. Трансформация возможна, «если только мы подготовим для нее сцену и как-то ритуализируем сам процесс... Именно это мы и делаем с фильмами: ритуализируем их, осознанно, с целью трансформации делаем то, что раньше делали для забавы».

Кино, как и любое искусство – это разновидность медитации с галлюцинациями, процесс вполне психоделический. Мы отдаемся восприятию потока образов, отпускаем себя на полтора-два часа. Другое дело, что это тщательно сконструированные галлюцинации, в которых мы ловим себя, себя узнаем и понимаем. В отличие от музыки, где всё происходит на более тонком уровне, кино дает возможность действительно прямого и быстрого результата.

В связи с этим, стоит упомянуть о некой тенденции восприятия, которая сформирована еще со времен Аристотеля. Нам не интересно то, что бывает после развязки. «Когда все кончено, все кончено». Удаляющаяся пара в закатных лучах или поцелуй в рамочку. Так учат на сценарных курсах. Спаркс в своей системе координат делает интересный вывод: «Генеральная линия Голливуда может быть выражена словами моего бывшего начальника на стройке: "Кончай работу, и шабаш!" ...Или существует некий блок в коллективном сознании, из-за которого мы не позволяем себе полностью отдаться и пережить подлинное завершение? Может, мы в культурной западне Ловушки и Борьбы или Войны». И еще более глобальный вопрос: «преимущественно в которой из четырех зон сейчас находится наша Земля? В Зоне безопасности, ловушки, войны или свободы?»

Конечно, встреча с собой подстерегает нас на каждом шагу. «Ты можешь пройти через смерть-возрождение, даже притормозив у ближайшего магазинчика, чтобы купить газировку». Кино – это лишь один из вариантов такой встречи, правильно организованных. Тем более приятно, что возможность духовного приключения извлекается из провинциальных голливудских шаблонов. Так что, как верно замечает Спаркс, «если вам не нравится тот или иной фильм, это еще не причина его не смотреть».

Андрей ПЕРМЯКОВ

МУЗЫКА НА ВОДЕ

Мария Маркова. Соломинка. – М.: Воймега, 2012. – 64 с.

В наши дни, при повсеместном распространении сетевых технологий, следить за творчеством любимых авторов стало совсем просто. Почти любая «бумажная» публикация теперь сопровождается онлайн-версией, а многие, и не дожидаясь выхода очередного номера журнала, выкладывают свеженарисованные тексты в своих Интернет-блогах – на растерзание, так сказать, поклонникам. В этой ситуации выход

книги делается событием интересным вдвойне: к радости за поэта примешивается удивление – что нового скажут его стихи, многие из которых читатель по отдельности уже мог видеть?

Именно так я ждал книги вологодского поэта Марии Марковой. И, скажу честно, в первый раз перелистав книгу, испытал определённую долю разочарования: некоторых любимых стихов в сборнике не оказалось. Однако при внимательном чтении чувство стало иным: издательство «Воймега» можно поздравить с очередной удачей, а Марию – с отличным дебютом. Впрочем, о дебюте здесь можно говорить со значительной долей условности: в поэзии Маркова отнюдь не новичок и круг любителей её стихов по нынешним постгугтенберговским временам довольно велик.

Книга получилась самостоятельной и смелой. Самостоятельность здесь не означает демонстративного новаторства – у многих стихов легко определить истоки, где-то – через сознательную отсылку. Например:

Но – музыка удуше,
один сплошной обман –
и дудочка пастушья,
и скрипка, и орган....

пожалуй, сложно воспринять иначе как диалог с мандельштамовским Александром Герцевичем. Или вот память, которая

только белые платица носит,
только детские песни поёт....

это, без сомнения память о «Только детские книги читать...». Разумеется, речь идёт не о подражании, но о разговоре через время. Точно так же через время идёт диалог и с другим автором, интонационно Мандельштаму противоположным – с Николаем Рубцовым:

Где ещё видишь на вырост пространство,
в огненном город венце?
После полуночи ходит ли транспорт
с бедной окраины в центр?

Вообще, молодому поэту из Вологды Рубцова естественно скорее не любить – как, например, для поэта рязанского естественно не любить Есенина. Громада затмевает горизонт, да и «старшие товарищи» слишком стараются учить, как надо делать. Но у Марии разговор

с земляком кажется вполне внятным. Хотя, опять-таки, любое сопоставление тут будет условным: всё-таки иное время, иной воздух, иной ритм дыхания. Ещё легче найти близких Марии Марковой авторов среди современников. Скажем, отчётливую близость интонации некоторых её стихов и стихов Ольги Седаковой отмечали многие.

Вот только к чему эти параллели? Мария же не зря сказала: «А мы хотели музыкой и сами». Музыкой, как известно, создаются миры, и мир этих стихов вполне осязаем. В этом мире всё одновременно. Не медленно, а именно одновременно – детство, любовь, лес, старость:

Как будто я вижу, вот тут подлядела случайно,
как падает камень, как щепку уносит, качая.
С корзиной тяжёлой идут, поднимаясь, легки,
неясные тени, забытые старики,
совсем ещё юные, гибкие – не спугни.
Они ведь уверены, что совершенно одни.

Собственно, это даже не мир, но некоторое множество частных Вселенных, принадлежащих каждая отдельной душе. Но, парадоксальным образом, такое устройство не подразумевает солипсизма – большинство миров открыты для вхождения. Только каждому, пришедшему сюда, надо понимать: он теперь и сам абсолютно открыт, развёрнут навстречу ежика, упавшего в воду. Только не в пространстве развёрнут, но во времени:

... потому что я вижу в прихожей
безмятежных людей молодых,
потому что я вижу их тоже,
но – седых.

В таком рентгеновском зрении нет ни малейшей угрозы или превосходства. Нет почти ничего, кроме музыки и жалости. И жалость эта бывает адресована не только людям, ближним своим, но порою и куда более жутким гостям:

Как рассказать – не знаю.
Не подобрать слова,
что смерть пришла – смешная,
льняная голова,
что у неё скакалка,
молочные усы
и мне её так жалко,
невыносимо жалко –
о Господи, спаси.

<...>

И вот она большая,
глядит-глядит в упор.
Ей всё вокруг мешает,
и тень моя мешает,
и жизнь моя мешает
существовать с тех пор.

Вот так. Здесь не страшно, ибо автор и не пытается нас испугать. В мире, где время неподвижно, смерть, в сущности, уже случилась и оттого не случится никогда. Этот единый образ смерти-жизни-нового рождения чаще всего запечатлён в образе подвижной реки. Приём, скажем честно, не совсем новый, вновь – его интонационное решение:

Не было, не было, и, удивись, явилась.
Но воробей, и жалко всегда до слёз.
Да, я хочу, чтобы время остановилось,
чтобы застенчиво кто-нибудь произнёс:

«Жили мы, жили и красоту проспали,
но проводить успеем её к реке».

Детское прозвище вслух бы моё назвали,
дали с собою бы сладостей мне в колушке.

Так что? Раз смерти, как вечного небытия нет, значит бояться нечего? Увы, реальность (точнее – бытийный, сущностный её аспект) куда сложнее. Вообще, «Соломинка» это книга тревожных стихов. Собственно, и сам образ, вынесенный в заглавие книги, весьма колюч, и лирического героя вечно подстерегают острые предметы: от *зелёной иголки дневного света* до осиных жал. И снова символика вполне ясна. Колючки, прежде всего, ограничивают – вспомним хотя бы колючую проволоку, не выпускающую за предел, ею огороженный. Вот этот вот страх перед несвободой, перед запертом, перед принудительной тишиной и стал вторым (условно – отрицательным) полюсом, создающим локус напряжения, где держится «Соломинка»:

Всё возможно вымерить линейкой
и пространство подвести к нулю.
Жизнь – бездарность, сводня, грамотейка –
я тебя, безделицу, люблю.
Ты меня за пазухой носила,
полумёртвой двигала рукой.
Ты меня ни разу не спросила,
хорошо ли мне с тобой такой.

Чувство любви и благодарности, кажется, ни разу не изменяет лирическому герою. Равно как и автору ни разу не изменяет музыка стиха, но иногда тот самый страх перед молчанием и ограничением свободы (а в вечном, неподвижном мире и несвобода ведь тоже будет вечной) заставляет стихи делаться чуть избыточными. Скажем, финал замечательной в целом «Пчелы Паганини» почти тавтологичен. И пример этот, хотя и один из немногих, всё же не единичный.

Проблема избыточности текста, к счастью, не стала системной и, надеюсь, таковой не станет. Способов преодоления этого автор, кажется, знает великое множество, и один из них, может быть самый интересный – появление третьего. Почти во всех случаях, когда в стихах Марии Марковой входит не тень, но живой и точно во плоти пришедший герой, вещь оказывается замечательно удачной. В начале рецензии я уже сетовал на отсутствие некоторых любимых стихотворений, так вот: они почти все такие, с присутствием третьего.

В «Соломинке», несмотря на очевидное преобладание «бесплотных» текстов (повторю: в большинстве своём очень хороши и они, замечание о многословии относится к довольно немногим), есть, например, посвящение Андрею Нитченко; невероятно живое стихотворение про Ирочку; и, может быть, лучший текст книги – Медоблако, воистину, дарующий речь безгласному:

– Поговори со мною, логопед,
небесная волнительная Тонья.
Я – мальчик Коля, двадцать семь два лет,
небрит и холост, насморк, недоед,
вот-вот утонет.

Поговори за ночь, за немоту,
Моя прекрасна речь – не оторваться.
Излык мой детский прячется во рту –
до носа дотянусь и проведу –
айда смеяться.
Кто говорил, что облака нема?
Идёт по коридору облакиня –
такая белая – зима, зима.
Спаси его, лиши его ума
незрелого и доноси, как сына...

Впрочем, советовать автору, чего ему делать, как минимум, смешно. Тем более – автору весьма интересной книги. Причём интересной не только в отношении состоявшегося уже, но

и, может быть, в большей степени – в плане перспективы. Вообще, определённый путь по этому Марией Марковой выбран, да и шагов по этому пути сделано не так и мало, но самое интересное ведь всегда прячется в развилках, в неожиданных поворотах и за переменами рельефа. Правда?

Игорь ДУАРДОВИЧ

ВСЕГДА ЖЕНЩИНА

Елена Зейферт. Верлибр: Вера в Liebe. Книга свободных стихов. – Oerlinghausen: Verlag «Deutsche aus Russland», 2011. – 186 с.

Елена Зейферт относится к особой группе авторов, в буквальном смысле существующих на границе двух культур (как минимум). Это сложное, многоплановое и крайне интересное явление, которое только начинают пристально изучать, – литература российских немцев. Писатели этой группы отличаются между собой, прежде всего на уровне языкового сопряжения. Кто-то пишет и по-русски, и по-немецки, а кто-то в основном пользуется одним языком, вовлекая второй либо для декоративной функции, либо для отражения культурных параллелей и прорыва этнических рубежей. Елена Зейферт по разработанной ею же самой классификации автор неполно (односторонне) двуязычный: «Писатель использует в своем творчестве русский язык, зная немецкий язык и прибегая к нему в переводах с немецкого на русский (Р. Лейнонен)»¹. Отсюда и все трудности самоопределения, и радость признания: «Русской крови ни капли в жилах, / А язык до восторга родной!»². Характерное для творчества российских немцев ощущение парения, планирования, зависания в воздухе над сплыванием национальных горизонтов знакомо и Е. З.: «Я сумасшедшая русская / оттуда, / где была сумасшедшей немкой»³. Елена Зейферт

– автор-универсал по природе, разножанровость в ее творчестве – это лишь раскрывшаяся предрасположенность, свойство, данное изначально. Зейферт занимается поэзией и прозой, литературоведением и критикой, художественным переводом, преподает литературу в университете (РГГУ) и редактирует журналы и книги. Поэзия Зейферт – это интуиция и высокий уровень версификации, традиция и эксперимент, сплетение разных ментальностей, темпераментов, языковых элементов (словотворчество), сближение и столкновение генетически разных слов ради новых граней преломления смыслов: «Различные начала и продолжения / встречаются / и не исключают друг друга...»⁴. Например, неологизм «Веснег», который можно прочесть как немецкое «der Becher» («чаша»), а состоящее из двух частей стихотворение «Sonne и Schnee: Солнце und Снег» уже своим названием озаменовывает столкновение смыслов, да, к тому же, отсылает нас к пушкинскому «Зимнему утру».

слово Sonne рождаясь сначала звучит как сын Sohn фланелевый мальчик упрямо встает на носки...

А во второй части:

Schnee! Мой зыбкий не выпавший Schnee это имя идет Твоим белым рукам целовавшим меня до утра
Талой влаги висков и всему что весомо во сне.

Та же особенность и в новой книге «Верлибр: Вера в Liebe», названной по одному из вошедших в нее стихотворений – термин «верлибр» происходит от французского «vers libre» («свободный стих»), но «Елена Зейферт увлекает и обнажает иные смыслы этого слова, увидев в нем соединение русской “веры” и немецкой “die Liebe” (“любовь”）」⁵.

«Верлибр: Вера в Liebe» – это первая книга только верлибров. Состав всех предыдущих был разнородным – стихи традиционные многих форм (сонет, триолет, баллада и т. д.) и неклассические (несиллабо-тоническая метрика, расшатанная силлабо-тоническая и смешанная). Новая книга отчасти билингва, в нее вошли стихи в основном последнего десятилетия, некоторые из них дополнительно

¹ Зейферт Е. Современная литература российских немцев как фактор самоидентификации.

² «Онемечить меня отчизне...» // Зейферт Е.И. Веснег. – М.: Время, 2009. (Поэтическая библиотека). С. 27.

³ «Верлибр: Вера в Liebe» // Зейферт Е., рецензируемое соч. С. 67-68.

⁴ «Различные начала и продолжения...» // Зейферт Е. И. Веснег... С. 93.

⁵ Черашняя Д. «Вечно незаконченное...» // Зейферт Е. И. Веснег... С. 190-194.

даны в немецком варианте. Но «Верлибр: Вера в Liebe» – это, скорее, и не книга, а сборник, так как внутри нет единого потока и множество маленьких разделов (минициклов), которые между собой не связаны. Правда, есть пример, когда двустилишие целиком повторилось в новом стихотворении, сделав его нюансом:

Ты не знаешь ни буквы,
Чтобы прочесть мое сердце.

(«Ты не знаешь ни буквы...»)

Ты читаешь ноты.
По воскресеньям ты читаешь молитвы.
Ты читаешь афиши, вывески, бегущую строку.
Как в книге судеб, ты читаешь судьбы знакомых.
Ты читаешь Фрейда, Локка и ежедневную почту.
Вчера захожу – ты читаешь Шекспира в оригинале
И морщишь нос от дурного классического перевода.

Но ты не знаешь ни буквы,
Чтобы прочесть мое сердце.

(«Ты читаешь ноты...»)

Порой верлибры Е. З. поражают воздушностью, то есть свободой не только от ритма и рифмы, но и от смыслового «замка» или образа-стержня. Такие стихи, как правило, рождаются из настроения, из чувства и это делает их по-настоящему женственными – вот, что значит «соединение русской «веры» и немецкой «die Liebe»:

Я не успела написать
невероятно глупое стихотворение
о том, что ты Юний, Юлий, Август.

В июне – нежный,
в июле – грозный,
в августе – опять великодушный.

Красивая женщина,
которую я вижу по утам в зеркале,
сказала, что ты ослеп в июле.

Август не наступил.

«Из теплых, тонких жил» сотканы эти стихи, они напоминают о японской силлабике благодаря картинности и лаконизму. Кстати, раздел коротеньких (три строчки) стихотворений-зарисовок так и озаглавлен: «Весенние хайку». Но есть и другой цикл, названный словом, обозначающим жанр японской поэзии: «Сенрю» (а, может, правильнее писать «Сэнрю»).

Поэзия Зейферт носит характер интимного дневника – настолько подчас откровенны признания:

Откуда ей и мне было знать,
Что я уже тогда нравилась мужчинам
И они внимательно смотрели на меня не потому,
Что я растрепана и неряшливо одета,
А потому что я маленькая женщина.
Я и себе не нравилась, чтобы не видеть этого.

Как я рада, что ни один сладострастник
Не целовал мои детские колени.
Аве, мой детский ангел.

Это естественное сочетание женской чувственности и незащищенности, напоминающей о временах детства и приводящей лирического героя в инфантильные, пограничные состояния: ребенок-женщина или женщина-ребенок. Важно то, какое начало первично. Конечно, чаще это «женщина», тогда как «ребенок» – всего лишь яркое воспоминание:

Я ярко помню,
как у меня умерла любимая игрушка –
мишка вытянулся и застыл.

Как потом выяснилось,
расплавилась его прорезиненные внутренности,
когда он лежал после ванны на батарее и сушился...

И подобных верлибров, в которых образ-стержень или образы-находки задают словам цену, определяют их количество и качество их связей, немало в книге Е. З. Это «традиционный» тип верлибра.

Женское начало в поэзии Е. З. проявляет себя, кроме всего прочего, в сострадании, в сопричастии («Я беру уроки сопричастия...»), в способности подмечать мельчайшие детали времени, которые часто неприятны, безрадостны, жестоки, из-за чего поэт склонен их гротескно преобразовать, а порой они и сами по себе гротеск:

На стеклянной витрине киоска
в подземном переходе –
нарисованный Чебурашка.

Полуслепая нищая старушка,
принимая его за продавца,
просит милостыню...

«Сынок, на хлеб...»

(«Когда сжимается сердце...»)

Елена Зейферт – поэт университетский, о чем свидетельствуют многие признаки, наложившие отпечаток на творчество: степень доктора филологических наук, преподавание в университете и знание языков – как следствие, доля филологии в поэзии, установка на эмоциональную рефлексию, усложненная строфика, игра с иностранными словами, построенная на ассоциациях или созвучиях, и словотворчество. Беда в том, что определение «университетский» сегодня понимается по-разному и нередко выставляется в мрачном, неприглядном свете. Так, Евгений Абдуллаев в статье «Большой Филфак или “экспертное сообщество”?» пишет: «И филология и поэзия – “близнецы-сестры”: и то и другое – любовь к слову. Отличие между ними порой трудноуловимо, но принципиально. Любовь-почтение к мертвому слову (филология) и – любовь-страсть, любовь-ревность к живому (поэзия). Филологическая “беглость пальцев”, позволяющая написать профессиональное “упражнение в столбик” (филология), и – стихотворение, лезущее порой бог весть из какого сора (поэзия). Диктат научности, когда любой, самый графоманский текст может стать объектом интереса, и – диктат вкуса и интуиции, отбраковывающей даже “вполне хорошее” стихотворение»¹. Видимо, русская литература еще не пережила архетип «поэта из деревни» или «человека из народа», полного страстей и дарящего экспромты пророка. Хотя страхи перед филологизацией литературы не беспочвенны. Но Евгений Абдуллаев, публикующий свои стихи под псевдонимом Сухбат Афлатуни, и сам обладает крепкой филологической культурой. Это поэт, постоянно склоняющийся от мастерской версификации, от «почтения к мертвому», к «любви-ревности, любви-страсти к живому» слову. Тем не менее, ни филологической базы, ни метания между крайностями не достаточно, чтобы называться поэтом-филологом. Поэта-филолога от просто университетского поэта (образованного, интеллектуального) отличает отсутствие интуиции и чувства меры. Что же касается Елены Зейферт, то у нее и того, и другого достаточно:

Лечила душу
поиском смыслов,
аллюзиями,
интертекстом,
авторским кино...

А оказалось, не хватило
юбки горчичного цвета...

К слову, о традиционных стихах. В качестве дополнительного примера творческого равновесия можно вспомнить «визитную карточку» поэта: «Со дна морского вышел Крым как Дом...» («Полынный венок сонетов». *Максимилиану Волошину*).

«Современные поэтессы в любовной лирике очень глубоко возводят свою поэтическую родословную: Лиснянская – от Библии, Павлова – от античности»². Думаю, что родословная Зейферт очерчена не так ясно и прямо, ее корень, как это часто бывает, разветвляется посередине, между Библией и античностью, именно по этой причине в поэзии Зейферт присутствуют «вечные образы» (Галатея, Афродита, Вавилон) и важно библейское тождество «Слово – Бог». Что Инна Лиснянская, что Вера Павлова – Зейферт они близки по необычайной откровенности самоанализа и по традиционным взглядам на семью, на мужчину и женщину. И здесь же нельзя не указать Каролину Павлову, одну из наиболее заметных женщин-поэтов XIX века, в чье творчество вошли традиции Сафо – делиться сокровенной женственностью. Так впервые в русской поэзии возник вектор «интимной жизни женщины», но естественно с оговорками для того времени. Кстати, отец К. Павловой был обрусевшим немцем, и это ей принадлежат слова: «Женщина-поэт всегда остается более женщиной, чем поэтом»³.

¹ Абдуллаев Е. Большой Филфак или «экспертное сообщество»? // «Знамя», № 1, 2011.

² Шайтанов И. Дело вкуса: Книга о современной поэзии. – М.: Время, 2007. С. 574;

³ Павлова К. К. Стихотворения. – М.: Текст, 2001.

ДВА ФИЛЬМА, СНЯТЫХ НА СВОИ ДЕНЬГИ

Иван КОЗЛОВ

Бедный, бедный Коппола... («Между», Френсис Форд Коппола)

Великий режиссер со времен «Дракулы», увы, не снял ничего более-менее адекватного его прежним шедеврам. Из пяти фильмов за последние двадцать лет нет ни одного, который хотя бы отдаленно напоминал его былую мощь. Картина «Между» тоже не стала исключением.

Лента походит на сотни (иногда кажется, что их миллиарды) малобюджетных картин, снятых за короткий срок с непонятной целью. Коппола хвалился тем, что в данном случае его не ставили в определенные рамки, и он мог снимать что душе угодно. Душе оказался удобным ужастик с тесным сюжетом, вялым действием, предсказуемым и пародийным концом.

Герой фильма – не слишком удачливый писатель, этакий стивенкинг-для-бедных, который приезжает в захолустную дыру и сталкивается там с весьма неадекватными обитателями. Писателя играет Вэл Килмер – и его тоже очень жаль. Даже больше, чем его героя.

Пишет же он всякую мистическую пургу и, в надежде сорвать аванс с издателя, хватается за расследование убийства в этом тихом городке. При этом он буквально не просыхает, что, соответственно, вызывает большие сомнения в реальности увиденного нами на экране. Впрочем, снов в фильме и так хватает. Действительность, как пел наш бард, «куда кошмарней». Плюс долгие беседы с бывавшем в этом городишке Эдгаром По, который является герою и помогает ему распутать дело, в котором зритель разобрался уже в первые полчаса ленты.

Коппола, наверное, снимает просто потому, что есть такая возможность. Как он сам заметил, нельзя быть популярным более сорока лет и конкурировать с собой же. Впрочем, надо отдать должное смелости режиссера и удивиться его гибкости. Взять, сойти с Олимпа, снимать черт знает что, планировать очередной мегапроект – на такое мало кто способен.

В интервью «Афише» Коппола сказал: «Всю жизнь чувствую себя неудачником. Так вот, учитывая этот печальный факт, мне захотелось побыть человеком, к которому относятся как ко второсортному роману Стивена Кинга, и снял «Между». Знаете, почему он так называется? Потому что я всегда нахожусь где-то посередине – между успехом и провалом, между юностью и старостью, между днем и ночью, между сном и реальностью».

Получается, что критерии «олимпийства» значительно изменились. Очередной провал не отмечает прошлых великих заслуг. Кто-то не боится «сходить налево» от большого кино, снимая фильмы разного качества, причем сознательно, как Гас Ван Сэнт или Стивен Содерберг. Или Коппола, седобородый мэтр, который еще себя покажет, несмотря на то, что разменял уже восьмой десяток.

Андрей ПЕРМЯКОВ

Цвет неба, цвет травы («1210», Арсений Гончуков)

Кинематограф, подобно большинству иных сфер человеческой деятельности, давно и прочно оброс ярлыками. Например, термин «авторское кино» с некоторых пор сделался едва ли не синонимом понятия «арт-хаус». И в фильме «1210», снятом нижегородским поэтом, режиссером и журналистом Арсением Гончуковым за свои деньги, действительно присутствуют типические признаки этого жанра: длинные планы унылых пространств, призраки умерших среди надоевшего до боли зубной пейзажа... Но это не арт-хаус. По крайней мере – не то, что ныне принято так именовать.

Увидев в аннотации слова «социальная драма», опять-таки легко заняться предсказаниями на ровном месте. Здесь жанровые признаки тоже определены давно и прочно. И

вновь предстоит ошибиться. Нет, всё на месте: плохо устроенный быт, ветераны афганской и чеченской войн, бездушные тётки-бюрократки наимельчайшего пошиба, губящие чужие и свои жизни (в фильме эта метафора явлена вполне наглядно), вороватые нищие, связанные с преступным миром. Однако и от ставшей привычною чернухи фильм далёк.

Что ж тогда представляет собой эта картина, названная будто шифром – одними цифрами? Пожалуй, ключ к ней лежит в эпизоде, когда униженный в пенсионной конторе ветеран афганской войны Николай, замечательно сыгранный давно не появлявшимся в больших ролях Робертом Ваабом, стоя на мосту над полузамершей речкой помоечного вида, произносит, обращаясь пока не известно к кому: «Это как же так? Трава зелёная, небо синее. Положено – платите...» Меж тем, трава вокруг бурая, а небо почти белое. И это нормально: на дворе 12 ноября 2012 года – действие картины укладывается в один этот день, да и то не весь.

Человеку за шестьдесят, и эти десятилетия он прожил в убеждении, что трава и небо непременно должны быть тех цветов, про какие написано в букваре. А мир-то обычно выглядит печальней. Вот и дома звать его теперь никак: идёт малопонятный процесс размена жилья. Судя по неустраенности быта, продали квартиру, въехали в малогабаритку и терпят из последних сил подле себя стареющего главу семейства, ожидая, пока тот, разобравшись с доплатой к пенсии – теми самыми одной тысячей двумястами десятью рублями, вынесенными в название картины, – свалит от них. Вроде, не обидели, причитающуюся долю вырученных за жилье денег дали. А ему ж другого надо, он так не привык. И афганский синдром тут ни при чем. И даже много лет назад погибший сын отчего-то не являлся столь часто.

В картинах, рассказывающих о несовпадении с миром людей молодых, всегда есть надежда: глядишь – подрастут, приспособятся или, паче того, изменят Вселенную под себя любимых. Даже в случае трагического финала: не эти ребята, так другие. Тут же надежды никакой. Всё, ушла та понятная жизнь. Раскололось бытие по множеству осей. Например, по гендерной линии. Недаром все акты агрессии Николая адресованы исключительно слабому полу: даже внучку вот ударил, за что и был наказан зятем-мордоворотом. И не со зла, вроде, всё, а от неумения по-другому. Непонятное рождает агрессию, а тут непонятым сделался сам процесс существования.

При этом Николай не сумасшедший, конечно, не «контуженный». Со своими друзьями-однополчанами он ведёт себя вполне адекватно, а с бандитами, позарившимися на деньги, – пожалуй, единственно рациональным образом. Санька-чеченец ему ж не из благородства решил украденное вернуть, а за безвыходностью положения: Николай жив, в лицо и по имени злоумышленников знает, вот одумается сейчас и заявит в органы. Нет, определённо отдавать надо. Только вот кому уже, оказывается...

Получается, герой картины мучит и наказывает не тех, кто виновен, а тех, кто ближе. Ну, не считать же, в самом деле, врагами тёток из фонда? Над ними другие сидят, ещё тупее. Над теми – третьи. А наверху, в министерстве, вообще органчики с механическим подзаводом. Нет, устройство общественной жизни в наших краях всегда отличалось дивным сволочизмом, пускай обычно и невольным. И Николаю ли этого не знать? Не отсюда ли все его игры в Чапаева картошкой на столе и пьяная ругань. Воздух изменился, став непригодным для дыхания многим людям.

Таким образом, у Арсения Гончукова получилась действительно социальная драма, но не в убого-морализаторском ключе: «довели хорошего человека до преступления», а куда более широкого плана. Впрочем, не у него одного. Для авторского кино режиссер Гончуков недостаточно диктатор. Актёры в этом фильме подобрались отменные и каждый, похоже, в замысел вник. Это, впрочем, как раз режиссёрская заслуга.

Вот о чём не хочется говорить, так это о прокатной судьбе и фестивальных перспективах. Кино, в сравнении, например, с литературой – искусство, конечно, гораздо сильнее связанное со временем создания, но сиюминутным его делают именно годовичные циклы фестивалей и прочая мишура. А вот о перспективах режиссёра-дебютанта поговорить бы очень хотелось. Но не буду: сглазить боюсь. Слишком уж интересным дебют оказался.

Содержание номеров за 2012 год

ПОЭЗИЯ

Наталья Азарова. «мир зримый зимородок...» и др. №7–8 (439). С. 77

Владимир Алейников. «Как едины и разноголосы...» и др. №1–2 (436). С. 138

Алексей Александров. «О привет, – говорит в зазеркалье своем...» и др. №11–12 (441). С. 173

Ольга Баженова. «Эти долгие вечера...» и др. №3–4 (437). С. 3

Светлана Бунина. Малые страны. Стихи. №3–4 (437). С. 68

Герман Власов. «которым есть разлука и предел...» и др. №5–6 (438). С. 85

Александр Дьячков. «Детский дворик похож на пустыню...» и др. №9–10 (440). С. 65

Владимир Иванов. «Аналогия» и др. №7–8 (439). С. 102

Евгения Изварина. «У чисто выметенных плах...» и др. №1–2 (436). С. 87

Геннадий Каневский. [говорят июнь] и др. №11–12 (441). С. 9

Игорь Караулов. «весна» и др.. №5–6 (438). С. 7

Михаил Квадратов. «персефона» и др. №7–8 (439). С. 72

Алексей Колчев. «другая россия...» и др. №7–8 (439). С. 22

Константин Комаров. «Однажды мы проснемся утром» и др. №11–12 (441). С. 130

Александр Корамыслов. «...и с пилами вошли мы в лес, решимы...» и др. №1–2 (436). С. 83

Виталий Лехциер. Футляр для Клио. Стихи. №7–8 (439). С. 3

Арсений Ли. «И морось, и запах влаги, и мыльный дым...» и др. №9–10 (440). С. 63

Света Литвак. «тело тьмы» и др. №11–12 (441). С. 126

Борис Лихтенфельд. «Рассеянный ум лоботряса с Бассейной...» и др.. №7–8 (439). С. 98

Владимир Мялин. «Когда в Твоём саду крыжовник розоватый...» и др. №1–2 (436). С. 136

Марина Палей. ...упраздня оболганное

«люблю». №5–6 (438). С. 3

Александр Петрушкин. «Энтомология» и др. №9–10 (440). С. 58

Алексей Порвин. «Какие чувства шуршат листвой...» и др. №5–6 (438). С. 11

Софья Серебрякова. Из цикла «Азы». Стихи. №9–10 (440). С. 11

Жанна Сизова. Мизансцены маленькой английской деревни. №5–6 (438). С. 77

Сергей Слепухин. «На станции Ко тени серебряных ног...» и др.. №5–6 (438). С. 81

Евгений Стрелков. «В поезде» и др. №3–4 (437). С. 137

Сергей Трунёв. «закроешь глаза, и как будто ослеп» и др. №3–4 (437). С. 144

Борис Херсонский. Кабы не радуга. №1–2 (436). С. 77

Наталья Черных. «Девочка» и др. №11–12 (441). С. 15

Дмитрий Чернышев. «Это кем-то навешанный морок...» и др. №9–10 (440). С. 54

Феликс Чечик. «Сентябрь» и др. №1–2 (436). С. 3

Аркадий Штыпель. «Триптих хореический» и др. №11–12 (441). С. 3

Рафаэль Шустерович. «ветреное» и др. №3–4 (437). С. 71

ПРОЗА

Михаил Бару. Навоз божьих коровок. №9–10 (440). С. 75

Андрей Белозёров. Люди до востребования. Повесть. №3–4 (437). С. 87

Валерий Бочков. Монтекристо. Рассказ. №7–8 (439). С. 26

Марина Бувайло. Тридцать шесть страниц. Повесть. №7–8 (439). С. 7

Анатолий Бузулукский. «Интервью» и др. рассказы. №1–2 (436). С. 6

Дарья Верясова. Муляка. Повесть. №9–10 (440). С. 30

Мария Галина. Ригель. Рассказ. №3–4 (437). С. 8

Денис Гуцко. Праздник. Амэ фури. Рассказы. №3–4 (437). С. 33

Сергей Дигол. Три фута под землей. Рассказ. №3–4 (437). С. 155. Старость шакала. Повесть. №11–12 (441). С. 78

Зиновий Зиник. На безрыбье, или Принцип неопределенности. Рассказ. №9–10 (440). С. 15

Вера Кобец. «Кино и книги» и др. рассказы. №7–8 (439). С. 82

Алексей Колобродов. Отец. Мемориал и мальчики. Рассказы. №3–4 (437). С. 147

Ирина Косых. Ади. Заказное самоубийство. Рассказы. №9–10 (440). С. 104

Александр Котюсов. Дело о помидорах. Сентиментальная история. №1–2 (436). С. 120

Денис Кудерин. Человек ускользящий. Рассказ. №1–2 (436). С. 90

Вадим Левенталь. Carmen Flandriae. Готическая новелла. №1–2 (436). С. 55

Леонид Левинзон. Дождь. В Тель-Авиве. Рассказы. №7–8 (439). С. 104

Владимир Лорченков. «Я любил Ваше фото» и др. рассказы. №1–2 (436). С. 20

Михаил Окунь. Каждый третий. Рассказ. №9–10 (440). С. 69

Сергей Рыженков. Дворовые игры +. №11–12 (441). С. 134

Гургам Сванидзе. Кавказская овчарка. Рассказ. №5–6 (438). С. 73

Сергей Соловьев. Барка. Повесть. №5–6 (438). С. 15

Александр Титов. Анонимус. Повесть. №7–8 (439). С. 41

Дмитрий Филиппов. Билет в Катманду. Повесть. №11–12 (441). С. 43

Наталья Черных. Язва, или русский панк 1989-го года. Рассказ. №5–6 (438). С. 60

Владимир Шапко. Графомания как болезнь моего серого вещества. Повесть. №11–12 (441). С. 21

Василий Шевцов. Ванна. Рассказ. №3–4 (437). С. 77

Алексей А. Шепелёв. Поход и гости «каннибалов». Рассказ. №3–4 (437). С. 125

Сергей Шикера. Маклер. Рассказ. №9–10 (440). С. 3

Станислав Шуляк. Праздник спертого воздуха. Шпион. Рассказы. №3–4 (437). С. 49

В СВОЕМ ФОРМАТЕ

Николай Болдырев. Три этюда о Тарковском. №3–4 (437). С. 167

Сергей Боровиков. В русском жанре–43. №1–2 (436). С. 71

Алексей Слаповский. Разнобой. №5–6 (438). С. 89

ДРАМАТУРГИЯ

М. Нилин. Дастархан. (Stück). №1–2 (436). С. 142

Марина Палей. Вольтижировка. Триптих. №11–12 (441). С. 176

Андрей Юртаев, Игорь Савельев. КТО. Безбашенный детектив. №1–2 (436). С. 155

ДЕБЮТ

Алексей Григорович. Пыльная буря. Повесть. №7–8 (439). С. 110

Ольга Гришаева. «Невеста» и др. рассказы. №5–6 (438). С. 127

Олег Демидов. Жидовочка. Рассказ. №7–8 (439). С. 164

Дмитрий Карапузов. Моя дорогая Клаудия Шлиффер. Витька. Рассказы. №5–6 (438). С. 120

Вячеслав Савин. «Лампа» и др. стихи. №3–4 (437). С. 204

Дмитрий Ульянов. Инопланетяне. Повесть про людей. №5–6 (438). С. 138

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Маргарита Голубева. «Красное платье надену...» и др. №7–8 (439). С. 170

Ольга Коробкова. «Имя твоё опустело...» и др. №9–10 (440). С. 130

Виктория Марченкова. «вы свободны...» и др. №9–10 (440). С. 132

Антон Помелов. «Все влияет на все...» и др. №7–8 (439). С. 172

Александр Романовский. «После пожара» и др. №7–8 (439). С. 167

Сергей Фомин. «Бесшумный лёт велосипедный...» и др. №9–10 (440). С. 127

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Зиновий Зиник. Беженец из собственной эпохи. О современных попытках комментирования прозы Павла Улитина. №7–8 (439). С. 174

Виктор Селезнев. «Почетный академик по разряду изящной словесности». Как А.В. Сухово-Кобылин был избран в Императорскую Академию наук. №1–2 (436). С. 183

Павел Улитин. Татарский бог и симфультор. Подготовка текста И. Ахметьева. Комментарии И. Ахметьева, О. Рогова. Переводы иноязычных фрагментов Т. Александровой, И. Ахметьева. №5–6 (438). С. 163

Вера Френкель. Стихотворения из сборника «Дожди. Книга городских пейзажей (1958 – 1961)» Подготовка текста и публикация Владимира Орлова. №11–12 (441). С. 202

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Алексей Александров. Тексты, поля и персонажи. №3–4 (437). С. 210

Николай Аржанов. Полет и поиск. №7–8 (439). С. 186

Игорь Бондарь-Терещенко. А я люблю женатого. №11–12 (441). С. 208

Сергей Боровиков. Твори, выдумывай, не пробуй! №3–4 (437). С. 206. В новом жанре. №5–6 (438). С. 228

Елена Владимирова. Любовь на ощупь и на вкус... №1–2 (436). С. 190

Данила Давыдов. Эмблематическая проза. №9–10 (440). С. 134

Игорь Дуардович. Всегда женщина. №11–12 (441). С. 216

Алексей Колобродов. Информация к поражению. №1–2 (436). С. 194. Ворошиловград и Миргород. №9–10 (440). С. 138

Борис Кутенков. В предвкушении тишины. №9–10 (440). С. 140

Олег Рогов. Эстетический калейдоскоп. №3–4 (437). С. 212. Вторая книга. №7–8 (439). С. 190. «...На книжную полку воткнут». №9–10 (440). С. 144. Кино, которое может изменить жизнь. Вашу? №11–12 (441). С. 211

Анна Сафронова. Мишку жалко. №3–4 (437). С. 211

Елена Сафронова. Свобода в скобках. №1–2 (436). С. 192

Станислав Секретов. Долгая дорога в дюймах. №9–10 (440). С. 136

Сергей Слепухин. В унисон с веком. №1–2 (436). С. 187. Читая себя изнутри. №9–10 (440). С. 142

Елена Трубецкова. Писатель для «зачеркнутых». №1–2 (436). С. 191

Сергей Трунёв. В поисках одесского юмора. №3–4 (437). С. 213. О вечных вопросах вечного народа. №5–6 (438). С. 233. Эпос Старого Оскола. №7–8 (439). С. 195. Самодостаточность движения жизни. №11–12 (441). С. 210

Андрей Пермяков. Неусталость. №3–4 (437). С. 214. Шаг на долгом пути. №5–6 (438). С. 230. Чтобы тьма не смогла переступить. №7–8 (439). С. 187. Иная мелодия. №7–8 (439). С. 192. Музыка на воде. №11–12 (441). С. 213

КИНООБОЗРЕНИЕ

Иван Козлов. Фестивальные фавориты. №1–2 (436). С. 198. Фестивальные фавориты–2. №3–4 (437). С. 218. Власть, кино и частная жизнь. №5–6 (438). С. 235. Наше. №7–8 (439). С. 198. Фреска, сказка и пиф-паф. №9–10 (440). С. 146

Два фильма, снятых на свои деньги: **Иван Козлов.** Бедный, бедный Коппола...; **Андрей Пермяков.** Цвет неба, цвет травы. №11–12 (441). С. 219

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать 14 декабря 2012 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
<http://magazines.russ.ru/volga/>

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.